



Давид Самойлов

«Мне выпало всё...»

Давид Самойлов
«Мне выпало всё...»




ВРЕМЯ



Давид Самойлов



*Поэтическая
библиотека*

СЕРИЯ
ОСНОВАНА В 1993 ГОДУ

Давид Самойлов

«Мне выпало всё...»



Москва
2000

ББК 84Р7-5
С 17

Издательство выражает благодарность
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину
за грант, предоставленный на издание книги.

Составитель и издательство выражают благодарность
Виктору Тумаркину
за содействие в подготовке книги к изданию.

Самойлов Д. С.

С 17 «Мне выпало всё...» /Сост. А. Д. Давыдов М.: Время,
2000. – 624 с.: ил. – (Поэтическая библиотека).

ISBN 5-94117-003-3

Эта книга – наиболее полное собрание стихотворений и поэм Давида Самойлова – составлена сыном поэта Александром Давыдовым. В нее включены лучшие стихи из сборников «Волна и камень», «Дни», «Весть» и других, а также стихотворения, не вошедшие в предыдущие издания. Стихотворения, подвергшиеся цензуре в советское время, восстановлены в первоначальном варианте.

ББК 84Р7-5

ISBN 5-94117-003-3

© Д. С. Самойлов, 2000
© А. Д. Давыдов, составление, 2000
© Издательство «Время», 2000

Ранние стихи
1937–1958

ПЛОТНИКИ

Плотники о плаху притупили топоры.
Им не вешать, им не плакать – сколотили наскоро.
Сшибли кружки с горьким пивом горожане, школяры.
Толки шли в трактире «Перстень короля Гренадского».

Краснорожие солдаты обнимались с девками,
Хохотали над ужимками бродяги-горбуна,
Городские стражи строже потрясали древками,
Чаще чокались, желая мяса и вина.

Облака и башни были выпуклы и грубы.
Будет чем повеселиться палачу и виселице!
Геральдические львы над воротами дули в трубы.
«Три часа осталось жить – экая бессмыслица!»

Он был смел или беспечен: «И в аду не только черти!
На земле пожили – что же! – попадем на небеса!
Уходи, монах, пожалуйста, не говори о смерти,
Если – экая бессмыслица! – осталось три часа!»

Плотники о плаху притупили топоры.
На ярмарочной площади крикнули глашатаи.
Потянулись солдаты, горожане, школяры,
Женщины, подростки и торговцы бородатые.

Дернули колокола. Приказали расступиться.
Голова тяжелая висела, как свинчатка.
Шел палач, закрытый маской, – чтоб не устыдиться,
Чтобы не испачкаться – в кожаных перчатках.

Посмотрите, молодцы! Поглядите, голубицы!
(Коло-тили, коло-тили в телеса колоколов.)
Душегуб голубоглазый, безбородый – и убийца,
Убегавший из-под стражи, сторожей переколов.

Он был смел или беспечен. Поглядел лишь на небо.
И не слышал, что монах ему твердил об ерунде.
«До свиданья, други!
Может быть, и встретимся когда-нибудь:
Будем жариться у черта на одной сковороде!»

1937

ПАСТУХ В ЧУВАШИИ

Глухой хрипун, седой молчальник
Из-за коряг следил луну.
Вокруг стоял сухой кустарник,
Жевали совы белену.
И странны, как рога олени,
Валялись корни в отдаленье.
На холод озерных зеркал
Туман влачил свои полотна.
Здесь мир первичный возникал
Из глины и куги болотной.

... И, звезд питаясь млечным соком,
Сидел он, молчалив, как окунь.
Как дым, кипели комары
В котле огромной лихорадки.

За косогоры падали миры.
И все здесь было в беспорядке.

Я подошел к огню костра.
– А сколько будет до кордона? –
Глаза лениво и бездонно
Глядели из болотных трав.
Он был божественный язычник
Из глины, выжженной в огне.
Он на коров прикрикнул зычно,
И эхо пело в стороне...
Я подражал «Цыганам» Пушкина
До третьих петухов.

Потом достигла речь кукушкина
Светлевших перьев облаков.
Коровы сбились в теплый ком,
Следя, как звезды потухали.
Шурша шершавым языком,
Они, как матери, вздыхали...

1938

ОХОТА НА МАМОНТА

Я спал на вокзале.
Тяжелый мамонт,
Последний,
шел по болотам Сибири.
И камень стоял. И реки упрямо
В звонкие
берега
били.

А шкуры одежд обвисали.
В налушнях
Стрелы торчали. И было слышно:
Мамонт идет по тропам непослушным,
Последний мамонт идет к водопою.

Так отступают эпохи.
Косые,
Налитые кровью и страхом глаза.
Под закосневшим снегом России
Оставив армию,
уходит на Запад.

Но челюсть разорвана криком охоты.
Кинулось племя. В руках волосатых
Свистнули луки, как птицы...

И кто-то
Уже умирал
на топяx проклятых.

И вдруг закричал
последний мамонт,
Завыл,
одинокий на всей земле.

Последним криком своим и самым
Угрюмым и долгим
кричал зверь.

Так звал паровоз в ледниковой ночи,
Под топот колес,
неуемно,
грозно...

Мы спали тогда на вокзале тифозном
И там же кончались
при свете свечи.

1939

СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ

Отмерено добро и зло
Весами куполов неровных,
О византийское чело,
Полуулыбка губ бескровных!

Не доводом и не мечом
Царьград был выкован и слеплен.
Наивный варвар был прельщен
Его коварным благолепьем.

Не раз искусный богомаз,
Творя на кипарисных досках,
Его от разрушенья спас
Изображеньем ликов плоских.

И где пределы торжеству,
Когда – добытую жар-птицу –
Везли заморскую царицу
В первопрестольную Москву.

Как шлемы были купола.
Они раскачивались в звоне.
Она на сердце берегла,
Как белых ласточек, ладони.

И был уже неоспорим
Закон меча в делах условных...

Полуулыбкой губ бескровных
Она встречала Третий Рим.

ПРОЩАНИЕ

Я вновь покинул Третий Рим,
Где ложь рядилась в ризы дружбы,
Где грубый театральный грим
Скрывать нет поводов и нужды.

А я готов был метров со ста
Лететь, как мошка на огонь,
Как только Каменного моста
Почуял плиты под ногой.

Здесь так живут, презрев терновники
Железных войн и революций –
Уже мужья, уже чиновники,
Уже льстецы и честолюбцы.

А те друзья мои далече,
Узнали тяжесть злой стези,
На крепкие прямые плечи
Судьбу России погрузив.

Прощай, мой Рим! Гудок кричит,
Вправляя даль в железную оправу.
А мы еще придем, чтоб получить
Положенное нам по праву!

*СЛОВО О БОГОРОДИЦЕ
И РУССКИХ СОЛДАТАХ*

За тучами летучими,
За горами горбатыми
Плачет Богородица
Над русскими солдатами.
Плачет-заливается за тучкою серой:
«Не служат мне солдаты правдой и верой».

Скажет она слово –
лист золотится;
слезу уронит –
звезда закатится.
Чует осень долгую перелетная птица.

Стояли два солдата на посту придорожном,
ветром покрыты, дождем огорожены.
Ни сухарика в сумке, ни махорки в кисете –
голодно солдатам, холодно им на свете.
Взяла их Богородица за белые –
нет! –
за черные руки;
в рай повела, чтоб не ведали муки.
Привела их к раю, дверь отворила,
хлеба отрезала, щей наварила;
мол, – ешьте, православные, кушайте досыта,
хватит в раю
живности и жита.
Хватит вам, солдатам, на земле тужити,
не любо ль вам, солдатам, мне послужити.

Съели солдаты хлеба по три пайки.
Жарко стало – скинули «куфайки».

Закурили по толстой.
Огляделись в раю.
Стоит белая хата на самом краю.
И святые угодники меж облаками
пашут райскую ниву быками,
сушат на яблонях звездные сети...

Подумал первый солдат
и ответил:

«Век бы пробыть, Мати, с тобою,
но дума одна не дает покою, –
ну как, Богородица,
пречистая голубица,
бабе одной с пятерыми пробиться! –
Избу подправить, заработать хлеба...
Отпусти ты меня, Пречистая, с неба».

И ответил другой солдат –
Тишка:

«Нам ружьишки – братишки,
Сабли востры – родные сестры.
И не надо, Богородица, не надо мне раю,
когда за родину на Руси помираю».

Не сказала ни слова, пригорюнилась Пречистая.

И опять дорога.
Опять поле чистое.
Идут солдаты страной непогожею.
И лежит вокруг осень
мокрой рогожею.

1942-1943

* * *

Баян спасает от тоски,
Но не спасает от печали.
Баян поет, как казаки
Дружка убитого встречали...

Есть где-то в мире Бах и власть
Высокой музыки над сором.
Орган, внезапный, как напасть,
Колючим восстает собором.

Когда сойдет блиндажный чад
И рощи прорастут на трупах,
Опять архангелы вскричат,
Как лебеди, в органных трубах.

И все, что помнить суждено,
От шелухи освободится
И, как отборное зерно,
В просторном сердце возродится.

Февраль 1944

В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Вот когда припомнились друзья!
Вот когда пошли терзать разлуки!
Вспомнили про души – ведь нельзя,
Чтоб всегда натянуты, как луки.

И куда помчится мой двойник
Через все пределы ожидания?
С кем он в шесть часов после войны
Побежит на первое свиданье?

Он устал... Иных давно уж нет...
Камни у разбитого Рейхстага...
В тишину, как лекарь в лазарет,
Ночь идет, не замедляя шага.

Кислой медью крыши зелены,
Ночь идет в просветы стен без стекол.
Медный труп зеленого коня
Скалится, поваленный на цоколь.

Здесь в тиши накрыт наш скромный стол.
Шесть часов... Мы празднуем победу.
Но никто на праздник не пришел,
Те, кого позвал бы я к обеду.

Где они, поэты и друзья!
Кто убит, а кто пропал без вести.
А который, может быть, как я
Пьет коньяк в проклятом Бухаресте.

Трудно в тишине дышать и жить...
И сосед сказал, вздохнув глубоко:
– Может этот праздник отложить –
Здесь ведь до Парижа недалеко...

СТИХИ О СОЛДАТСКОЙ ЛЮБВИ

Оседлое право на женщину
В войну не сыскало хвалы,
Из Киевщины в Смоленщину,
Из Гомельщины на Волынь
Мянутся солдатские тысячи.
Любовь и для них отыщется,
Но горькая, как полынь.

В наградах и ранах –
Штык да сума, –
В шинелишке драной
Он входит в дома.
И справная баба безоговорочно
Признает хозяином запах махорочный.

Наверно и мой так по свету скитается, –
Подумает бедная и запечалится.

Быть может, осудят и нас времена,
Быть может, и нас развенчают когда-то.
Но где она, хата?
А хата нужна
Для тесной души солдата.

Озябшие птицы кричат на ветле,
Туманы заколобродили.
И мнится солдату –
Он снова в тепле,
Он дома,
Он снова на родине.

Он снова в уютном и теплом
Углу, где живет постоянство...

А там, за темными стеклами,
Неприбранное пространство.
А там, за темными стеклами,
Россия,
С войною,
С бедою,
И трупы с глазами белесыми,
Залитыми водою.

И мельницы, как пугала,
Закутанные в рогожи.

И где-то родимый угол.
И дом почти такой же.
И там, почти такой же,
Солдат, усталый и черный,
Лежит с твоею бабой,
Податливой и покорной...

Я душу с тоски разую,
Закрою покрепче двери,
Чтоб мучить тебя, чужую,
За то, что своей не верю,
За то, что сто лет не бачил,
Какая ты нынче стала,
За то, что холод собачий,
И дождь,
И вороньи стаи,
И псы цепные брешут,
В ночи чужого чуя,
И реже все,
И реже
Над нами сны кочуют...

И нет! Не бредить снами,
Покуда ветры дуют
И вся Россия с нами
Во весь простор бедует.

ДОМ У ДОРОГИ

Когда-то здесь жили хозяева,
За этими стенами белыми,
А нынче потухли глаза его,
Закрыты фанерными бельмами.

И мы здесь стояли постоем,
Недолгие постояльцы.
И мы здесь вдыхали простое
Домашней судьбы постоянство.

В цветении яблонь пернатых,
В печных разноцветных разводах
Здесь дремлет домашних пенатов
Войной потревоженный отдых...

Мы вышли в тот вечер из боя,
С губами, от жажды опухшими.
Три дня рисковали собою,
Не спали три дня и не кушали.

Почти равнодушные к памяти,
Не смыв с себя крови и пороха,
С порога мы падали замертво
И спали без стона и шороха.

Так спят на оттаявшей пахоте,
Уткнувшись пробитыми лбами.
Так спят утонувшие в заводи
Слепцы с травяными чубами...

Мы спим под разметанной крышей,
Любимцы фортуны и чести,
От дома надолго отвыкшие,
Привыкшие к смерти и мести.

ДОМ НА СЕДЛЕЦКОМ ШОССЕ

Дом на Седлецком шоссе.
Стонут голуби на крыше.
И подсолнухи цветут,
Как улыбка у Мариши.

Там на Седлецком шоссе
Свищут оси спозаранок.
В воскресенье – карусель
Разодетых хуторянок.

Свищет ось – едет гость,
Конь, как облак, белоснежен.
Там Мариша ждет меня,
Ждет российского жолнежа.

Ты не жди меня, не жди –
Я давно под Прагой ранен.
Это едет твой жених –
Скуповатый хуторянин.

Скоро в доме на шоссе
Будут спать ложиться рано.

Будешь петь, дитя жалеть:
«Мое детско, спи кохано.

Спи, кохано, сладко спи.
В небе звездочка кочует.
Где-то бродит мой жолнеж?
Где воюет? где ночует?»

МУЗА

Тарахтят паровозы на потных колесах,
Под поршнями пары затискав.
В деревянном вагоне простоволосая
Муза входит в сны пехотинцев.

И когда посинеет и падает замертво
День за стрелки в пустые карьеры,
Эшелоны выстукивают гекзаметры
И в шинели укутываются Гомеры.

1944

РУБЕЖ

Свет фар упирается в ливень.
И куст приседает, испуган.
И белый, отточенный бивень
Таранит дорогу за Бугом.

Рубеж был почти неприметен.
Он был только словом и вздрогом.
Все те же висячие плети
Дождя. И все та же дорога.

Все та же дорога. Дощатый
Мосток через речку. Не больше.
И едут, и едут солдаты
Куда-то по Польше, по Польше.

1944

АТАКА

Приказ проверить пулеметы.
Так значит – бой! Так значит – бой!
Довольно киснуть в обороне.
Опять, опять крылом вороньим
Судьба помашет над тобой!

Все той же редкой перестрелки
Неосторожный огонек.
Пролает мина. Свиснут пули.
Окликнут часовых патрули.
И с бруствера скользнет песок.

Кто знает лучше часовых
Пустую ночь перед атакой,
Когда без видимых забот
Храпят стрелки и пулемет
Присел сторожевой собакой.

О, беззаботность бытия!
О, юность горькая моя!
О, жесткая постель из хвои.
Мы спим. И нам не снятся сны.
Мы спим. Осталась ночь до боя.
И все неясности ясны.

А ночь проходит по окопам.
На проволоке оставит клоч.
И вот — рассвет. Приедут кухни.
Солдатский звякнет котелок.
И вот рассвет синее, пухнет
Над лесом, как кровоподтек.

И вдруг — ракета. Пять ноль — ноль.
Заговорили батареи.
Фугасным адом в сорок жерл
Взлетела пашня. День был желт.
И сыпался песок в траншеи.
Он сыпался за воротник
Мурашками и зябким страхом.
Лежи, прижав к земле висок!
Лежи и жди! И мина жажнет.
И с бруствера скользнет песок.

А батареи месяц, месяц.
Колотят гулкие цепи.
Который день, который месяц
Мы в этой буре и степи?
И времени потерян счет.
И близится земли крушенье.
Застыло время — не течет,
Лишь сыплется песок в траншеи.

Но вдруг сигнал! Но вдруг приказ.
Не слухом, а покорной волей
На чистое, как гибель, поле
Слепой волной выносит нас...

И здесь кончается инстинкт.
И смерть его идет прозреньем.

И ты прозрел и ты постиг
Негодование и презренье.
И если жил кряхтя, спеша,
Высокого не зная дела,
Одна бессмертная душа
Здесь властвовать тобой хотела.

«Ура!» – кричат на правом фланге.
И падают и не встают.
Горят на сопке наши танки,
И обожженные танкисты
Ползут вперед, встают, поют,
«Интернационал» поют.
И падают...

Да, надо драться!
И мы шагаем через них.
Орут «ура», хрипят, бранятся...
И взрыв сухой... и резкий крик...
И стон: «Не оставляйте, братцы...»

И снова бьют. И снова мнут.
И полдень пороха серее.
Но мы не слышим батареи.
Их гром не проникает внутрь.
Он там,
за пыльной пеленой,
Где стоны, где «спасите, братцы»,
Где призрачность судьбы солдатской,
Где жизнь расчислена войной.

А в нас, прошедшая сквозь ад,
Душа бессмертия смеется,
Трубою судною трубя.
И как удача стихотворца,
Убийство радует тебя.

Уж в центре бросились в штыки
Бойцы потрепанной бригады.
Траншеи черные близки.

Уже кричат: «Сдавайтесь, гады!»
Уже иссяк запас гранат,
Уже врага штыком громят
Из роты выжившие трое.

Смолкает орудейный ад.
И в песню просятся герои.

БАНДИТКА

Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала: «Слушай, хлопец,
Я все равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зеленая горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!

Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Еще не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо».
И я сказал: «Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала».
Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.

1946

ГЕРМАНИЯ

Мне снился сон, тифозный и огромный,
Как долгий дождь, подробно, неспеша,
Как будто в целом мире от разгрома
Не уцелела ни одна душа.

И только – пятна трупов вдоль обочин,
И только – трупы вымерших коней,
И только – роща голая и очень
Просторный воздух плещется по ней.

Прошли войска по Западной Европе.
Пролязгали железные стада.
И медленно, как в сказке о потопе,
Обратно в русле схлынула вода.

И просыхают прусские долины.
И тишина объемлет шар земной.
Но где он, голубь, с веткою маслины?
Не жди его новорожденный май!

Так холодно в Германии и пусто.
По рощам ветер ходит не спеша.
Дома оглохли. И такое чувство,
Что нет души. Что умерла душа.

А в кабаке оркестр играет танцы.
Цветные юбки кружатся в пыли.
И пьют коньяк в домах американцы.
И русские шагают патрули.

Скрежещут ставни, ржавые, косые,
Тревожное идет небытие...
Как хорошо, что где-то есть Россия,
Моя мечта, прибежище мое!

* * *

Зачем кичимся мы и спорим,
Коснеем в давних недоверьях –
Одним мы выброшены морем
На тот же самый звонкий берег.

Мы оттого росли с пристрастьем,
Что, став препоной темной силе,
Была не именем пространства,
А имя времени – Россия.

Так поступайте, как хотите,
Чтоб только песни не стихали!
Для всех достаточно событий,
Пытающихся стать стихами.

И пусть попытка будет пыткой –
Любая мука будет легче,
Чем жизнь с оглядкой и со скидкой
В уютном логове залегши.

Ты прав, товарищ, – не до спора,
Когда в цене любое слово.
Быть может скоро, очень скоро
Горнисты заиграют снова.

Быть может снова полустанки
Пойдут раскачивать закаты,
И поползут на приступ танки,
Как неизбежность угловаты.

На то даны глаза поэту,
Чтоб разглядеть в крошечном быте,
Как даты лезут на планету
С солдатским топотом событий.

* * *

Ты не торопи меня, не трогай.
Пусть перегорит, переболит.
Я пойду своей простой дорогой
Только так, как сердце повелит.

Только так. До той предельной грани,
Где безверьем не томит молва,
Где перегорают расстоянья
И ложатся пеплом на слова.

Горький пепел! Он стихами правит,
Зная, что придет его черед,
Даже если женщина оставит,
Друг осудит, слава обойдет.

ЖЕЛАНИЕ

Как вдруг затоскую по снегу,
по снежному свету,
по полю,
по первому хрупкому следу,
по бегу
раздольных дорог, пересыпанных солью.

Туда,
где стоят в середине зари
дома,
где дыхание становится паром,
где зима,
где округа пушистым и розовым шаром
тихо светится изнутри.

Где пасутся в метелице
белые кони-березы,
где сосны позванивают медные
и крутятся, крутятся медленные
снежные мельницы,
поскрипывая на морозе.

Там дым коромыслом
и бабы идут с коромыслами
к проруби.
Живут не по числам –
с просторными мыслями,
одеты в тулупы, как в теплые коробы.

А к вечеру – ветер. И снежные стружки,
как из-под рубанка,
летят из-под полоза.
Эх, пить бы мне зиму
из глиняной кружки,
как молоко, принесенное с холода!

Не всем же в столице!
Не всем же молиться
на улицы, на магазины,
на праздничные базары...

Уехать куда-нибудь,
завалиться
на целую зиму
в белый городишко, белый и старый.

Там ведь тоже живут,
тоже думают,
пока ветры дуют,
по коже шоркая мерзлым рукавом,
там ведь тоже радуются и негодуют,
тоже о любви заводят разговор.

Там ведь тоже с войны не приехали...
А уже ночь – колючая, зимняя,
поздняя.
Окликается эхами.
Ночь, как елка, – почти что синяя,
с голубыми свечками-звездами.

Как вдруг затоскую по снегу, по свету,
по первому следу,
по хрупкому, узкому.
Наверное нужно поэту
Однажды уехать. Уеду
в какую-то область – в Рязанскую, в Тульскую.

На дальний разъезд привезет меня поезд.
Закроется паром,
как дверь из предбанника.
Потопают, свистнет, в сугробах по пояс
уйдет,
оставляя случайного странника.

И конюх, случившийся мне на счастье,
из конторы почтовой
спросит, соломы под ноги подкатывая:

– А вы по какой, извиняюсь, части?

– А к нам по что вы?

– Глушь здесь у нас сохатая...

И впрямь – сохатая.

В отдаленье

голубые деревья рога поднимают олени,

кусты в серебряном оледенении.

Хаты покуривают. А за хатами –

снега да снега – песцовую тенью.

– Да я не по части...

– А так, на счастье...

Мороз поскрипывает, как свежий ремень,

иной на ресницах,

ветерок посвистывает –

едем, едем. Не видно деревень,

только поле чистое.

И вдруг открывается: дым коромыслом,

и бабы идут с коромыслами

к проруби

по снегу, что выслан

дорогами чистыми,

одеты в тулупы, как в теплые коробы.

Приеду! Приеду! Заснежен, завьюжен,

со смехом в зубах,

отряхнусь перед праздничной хатой.

Приеду!

Ведь там я наверное нужен,

в этой глуши, голубой и сохатой.

1947

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

1

Много слов о тебе говорилось.
Я хочу, чтобы ты повторилась!

Но не так, как лицо повторяется
В зеркале бездушном,
Но не так, как облако покоряется
Водам душным.

Но не так, как эхо отворяется
В пустотах лестниц –
Только так, как сердце повторяется
В просторах песни.

Как жила ты, того не ведаю –
Мы родились врагами.
Не была ли ты легкой победою
Над словами, слогами?

Или без отдохновенья
Над черновиками
Мучило тебя вдохновенье
Каменными руками?

Мы к тебе не ходили друзьями,
И в друзья не просили.
В какой парижской яме
Бредила ты о России?

Пограничные полосы,
Иноземные грады.

Мы различные полюсы,
Между нами – разряды.

Ты – царица невольная,
Не вкусившая власти.
Между нами, как молнии,
Накипевшие страсти.

Ты – беглянка болезная,
Заплутавшая в чаще.
Между нами – поэзия,
Этот ливень кипящий.

2

Марина, Марина,
Много мы ошибались:
Сухие долины
Райским долом казались.

Трудно нам живется,
Трудно плывется
По глухому морю,
По людскому горю.

Но щедрей и угрюмей
Наши вольные страсти –
Ты – как золото в трюме,
Мы – как парус и снасти.

У глубинного кабеля
Ты заляжешь тоскуя.
Нас не выкинет на берег,
На потребу людскую.

Может где-то на Каме
Для веселых людей
Поплывем челноками
Под весеннюю сетью дождей.

Иль, как символ братанья,
Об осенней поре
Прогорим над Бретанью
В полнощном костре.

Э

Назначенье поэта –
Счастье или ярмо?
Ты, Марина, – комета
В полете ее непрямом.

Ты еще возвратишься
Из далеких гостей,
Когда в мире затихшем
Будут мерять по силе страстей.

Ты еще повторишься –
Не как облако в тихой воде,
А как в песнях парижских
И московских людей
Повторяются вольные,
Не признавшие власти
Накопившейся молнии
Никипевшие страсти.

НА ОБИ

Барнаульская ночь высока, холодна,
И видать далеко на Оби.
И звезду на куски расшибает волна
О корму деревянной ладьи.

Мы беседу ведем, приглядевшись ко тьме,
Где болтливые волны спешат.
Красноватый фонарик горит на корме,
Где тяжелые сети лежат.

Пароходы плывут под сипенье гудка,
Проквозив огоньками кают.
Барнаульская ночь холодна, высока,
А на палубе песню поют.

Это жизнь пролетает, светясь и крича,
Лопастями плеща по Оби.
А рыбак на весло налегает с плеча
И к рассвету шумят воробьи.

Мы идем к островам, где чернеет ветла,
Чтоб соснуть, привалившись к костру.
Там под ветром береза метет, как метла,
Выметая созвездья к утру.

А рассвет розоват, а потом – серебрист,
А потом и светло на реке.
Пароходы уходят на Новосибирск
И гудят, и гудят вдалеке.

Сентябрь 1948

ДВОЕ

В районном ресторане
Оркестрик небольшой –
Играют только двое,
Но громко и с душой.
Один сибирский малый,
Мрачнейший из людей.
Его гармошке вторит
На скрипке иудей.
Во всю медвежью глотку
Гармоника ревет,
А скрипочка визгливо –
Тирли-рирлим – поет.
И музыка такая
Шибает до слезы.
Им смятые рублевки
Кидают в картузы.
Под музыку такую
Танцуют сгоряча
И хвалят гармониста,
И хвалят скрипача...
Когда последний пьяный
Уходит на покой,
Они садятся двое
За столик угловой.
И выпивают молча
Во дни больших удач –
Стакан сибирский парень
И рюмочку скрипач.

Конец 40-х

ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО

Октябрь бульвары дарит рублем...
Слушки в подворотнях, что немцы под Вязьмой,
И радио марши играет, как в праздник,
И осень стомачтовым кораблем
Несется навстречу беде, раскинув
Деревьев просторные паруса.
И холодно ротам. И губы стыннут.
И однообразно звучат голоса.

В тот день начиналась эпоха плаката
С безжалостной правдой: убей и умри!
Философ был натуго в скатку закатан,
В котомке похрустывали сухари.
В тот день начиналась эпоха солдата
И шли пехотинцы куда-то, куда-то,
К заставам, к окраинам с самой зари.

Казалось, что Кремль воспарил над Москвой,
Как остров летучий, – в просторе, в свеченье.
И сухо вышагивали по мостовой
Отряды народного ополченья.
И кто-то сказал: «Неужели сдадим?»
И снова привиделось, как на экране, –
Полет корабельный, и город, и дым
Осеннего дня, паровозов, окраин.

И было так трудно и так хорошо
Шагать патрулям по притихшим бульварам.
И кто-то ответил, что будет недаром
Слезами и кровью наш век орошен.
И сызнова подвиг нас мучил, как жажда,
И снова из бронзы чеканил закат

Солдат, революционеров и граждан
В предверье октябрьских баррикад.

СЕМЕН АНДРЕИЧ

С. А. Косову

Помню! Синявинские высоты
Брали курсанты три раза подряд.
Еле уволокли пулеметы.
А три батальона – там и лежат.

Помню! Мальчик простерт на талом
Снегу с простреленным животом.
Помню еще – о большом и малом,
Об очень сложном и очень простом.

И все же были такие минуты,
Когда, головой упав на мешок,
Думал, что именно так почему-то
Жить особенно хорошо.

И ясно мне все без лишних вопросов,
И правильно все и просто вокруг.
А рядом – Семен Андреевич Косов,
Алтайский пахарь, до смерти друг.

Да, он был мне друг, неподкупный и кровный,
И мне доверяла дружба святая
Письма писать Пелагее Петровне.
Он их отсылал не читая.

– Да что там читать, – говорил Семен,
Сворачивая самокрутку на ужин, –

Сам ты грамотен да умен,
Пропишешь как надо – живем, не тужим.

Семен Андреич! Алтайский пахарь!
С тобой мы полгода друг друга грели.
Семь раз в атаку ходил без страха.
И пули тебя, как святого, жалели.

Мы знали до пятнышка друг о друге,
И ты рассказывал, как о любви,
Что кони, тонкие, словно руки,
Скачут среди степной травы.

И кабы раньше про то узнать бы,
Что жизнь текла, как по лугу, ровно,
Какие бывали крестины и свадьбы,
Как в девках жила Пелагея Петровна.

Зори – красными петухами.
Ветер в болоте осоку режет.
А я молчал, что брежу стихами.
Ты б не поверил, подумал – брешет.

Ты думал, что книги пишут не люди,
Ты думал, что песни живут, как кони,
Что так оно было, так и будет,
Как в детстве думал про звон колокольный...

Семен Андреич! Алтайский пахарь!
Счастлив ли ты? Здоровый? Живой ли?
Помнишь, как ты разорвал рубаху
И руку мне перетянул до боли!

Помнишь? Была побита пехота,
И мы были двое у пулемета.

И ты сказал, по-обычному просто,
Ленту новую заложив:
– Ступай. Ты ранен. (Вот нынче мороз-то!)
А я останусь, покуда жив.

Мой друг Семен, неподкупный и кровный!
Век не забуду наше прощанье.
Я напишу Пелагее Петровне,
Выполню клятвенное обещанье.

Девушки в золотистых косах
Споют, придя с весенней работы,
Про то, как Семен Андреич Косов
Один остался у пулемета.

И песни будут ходить, как кони,
По пышным травам, по майскому лугу.
И рощи, белые, как колокольни,
Листвою раззвонят на всю округу.

И полетят от рощи к роще,
От ветки к ветке по белу свету.
Писать те песни – простого проще
И хитрости в этом особой нету.

* * *

Жаль мне тех, кто умирает дома,
Счастье тем, кто умирает в поле,
Припадая к ветру молодому
Головой, закинутой от боли.

Подойдет на стон к нему сестрица,
Поднесет родимому напиток.
Даст водицы, а ему не пьется,
А вода из фляжки мимо льется.

Он глядит, не говорит ни слова,
В рот ему весенний лезет стебель,
А вокруг него ни стен, ни крова,
Только облака гуляют в небе.

И родные про него не знают,
Что он в чистом поле умирает,
Что смертельна рана пулевая.
...Долго ходит почта полевая.

ТРЕВОГА

Долго пахнут порохом слова.
А у сосен тоже есть стволы.
Пни стоят, как чистые столы,
А на них медовая смола.

Бабы бьют вальками над прудом –
Спящим снится орудийный гром.
Как фугаска, ухаает подвал,
Эхом откликаясь на обвал.

К нам война вторгается в постель
Звуками, очнувшись вдруг,
Ломотой простреленных костей,
Немотою обожженных рук.

Долго будут в памяти слова
Цвета орудийного ствола.

Долго будут сосны над травой
Окисью синеть пороховой.

И уже ничем не излечим
Пропитавший нервы непокой.
«Кто идет?» – спросонья мы кричим
И наганы шарим под щекой.

ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ

Телеграфные столбы.
Телеграфные столбы.

В них дана без похвальбы
Простота моей судьбы!
Им шагать и мне шагать
Через поле, через гать.
Вверх по склону. И опять
Вниз со склона.
Но не вспять.

По-солдатски ровный шаг
Через поле и овраг,
Вверх по склону – и опять
Вниз со склона. И опять
Вверх по склону – на горбы...

Телеграфные столбы.
Телеграфные столбы.

23 октября 1947

НАЧАЛО ЗИМНИХ ДНЕЙ

Прекрасная пора – начало зимних дней,
Нет времени яснее и нежней.
Черно-зеленый лес с прожилками берез,
Еще совсем сырой, мечтающей о снеге.
А на поле – снежок и четкий след колес:
В ходу еще не сани, а телеги.
В овраге двух прудов дымящиеся пятна,
Где в белых берегах вода черным черна.
Стою и слушаю: какая тишина,
Один лишь ворон каркнет троекратно
И, замахав неряшливым крылом,
Взлетит неторопливо над селом...
Люблю пейзаж без диких крепостей,
Без сумашедшей крутизны Кавказа,
Где ясно все, где есть простор для глаза, –
Подобье верных чувств и сдержанных страстей.

АПРЕЛЬ

Словно красавица, неприбранная, заспанная,
Закинув голову, забросив косы за спину,
Глядит апрель на птичий перелет
Глазами синими, как небо и как лед.
Еще земля огромными глотками
Пьет талый снег у мельничных запруд,
Как ходоки с большими кадыками
Холодный квас перед дорогой пьют.
И вся земля – ходок перед дорогой –
Вдыхает запах далей и полей,
Прощаясь с хозяйкой-недотрогой,
Следящей за полетом журавлей.

ПЕРВЫЙ ГРОМ

Стоят дубы с обнаженными сучьями,
Как молотобойцы с рукавами засученными,
Ударят кувалдой по пням-наковальням,
Откликнется роща громом повальным.
Как мехи, ветрами задышат тучи,
И мехи загудят, запоют, заревут.
И каленую молнию бросит подручный
Остывать,
Как подкову готовую,
В пруд.

МОСТ

Стройный мост из железа ажурного,
Застекленный осколками неба лазурного.

Попробуй вынь его
Из неба синего –
Станет голо и пусто.

Это и есть искусство.

* * *

Город зимний,
Город дивный,
Снег, как с яблонь,
Лепестками.
Словно крыльев
Лебединых
Осторожное дыхание.

Дворники,
Как пчеловоды,
Смотрят снежное роенье.
И заснеженной природы
Принимают настроенье.

СНЕЖНЫЙ ЛИФТ

Все сегодня легко, свежо...
Взять хотя бы вон тот снежок,
Тот, что смехом сыпучим жжет
Твой полуоткрытый рот,
Тот, что падает наискосок
На бульвар, на киоск,
На лоток,
На дома,
На забор из досок.

Он белее, чем белый конь,
Он свежее, чем молоко,
Он навален до самых стрех,
Он просеян сквозь сотню сит.
Вот уже неподвижно висит,
Это город летит вверх.

Город – вверх, мимо снежных сетей,
Город – вверх, на забаву детей.
Мимо снега
Летят фонари,
Окна,
Трубы,
Часы,
Карниз –
Прямо в медленную пургу.

Эй, держись!
Не свались
Вниз!
Там все тоже в снегу!
В снегу!
Если ты сегодня счастлив,
Я возьму тебя в снежный лифт.

* * *

И так бывает – в день дождливый,
Когда все серо и темно,
Просветом синевы счастливой
Средь туч откроется окно.

И мгла расходится кругами
От восходящих сквозняков,
Над низовыми облаками –
Паренье верхних облаков.

Но вот уже через мгновенье
Сомкнулся дождевой навес,
И скрылось легкое строенье
Тысячеярусных небес.

НОЧЛЕГ

Однажды летним вечером
Я со знакомым стариком
В избе беседовал за водкой.
Его жена с улыбкой кроткой
Нам щей вчерашних подала,
А после кружево плела.

Старухи грубая рука
Была над кружевом легка.
Она рукою узловатой
Плела узор замысловатый.

Старик был стар – или умен,
Он поговорки всех времен
Вплетал умело в дым махорки.
Или, наоборот, ему
Все время чудились в дыму
Пословицы и поговорки...

Старуха кружево плела.
И понял я, что мало стою,
Поскольку счастье ремесла
Не совместимо с суетою.

Потом стелила нам постель.
Кричал в тумане коростель.
И слышал я на сеновале,
Как соловьи забушевали!
Забушевали соловьи!

Забушевали соловьи!
Что за лады, что за рулады!
Как будто нет у них беды,
Как будто нет у них досады...
Забушевали соловьи...

Я спал, покуда птицы пели,
Воображенье распалив.
Потом рассвет струился в щели,
А я был молод и счастлив...

ГОНЧАР

Продавали на базаре яблоки, халву, урюк,
Полосаты, как халаты, запотели арбузы.
А разгневанное солнце било в медные тазы.
И впервые я услышал, что лучи имеют звук.

Как развенчанный владыка, гордо шурился верблюд
На сурового узбека из колхоза «Кзыл юлдуз».
Тот, не глядя на прохожих, молча вспарывал арбуз.
А вокруг горшков и блюд волновался разный люд.

Ах, какие это блюда – и блестят, как изразец,
И поют, как колокольчик, и звенят, как бубенец.
Их заоблачному небу взял Аллах за образец.
Это маленькое небо за десятку продают.

А какие там узоры по глазури завиты!
Красноперые пичуги в синих зарослях поют,
И прохладные озера меж цветами налиты.
Эти милые озера за десятку продают.

Он, как глина, мудр и стар, этот каменный гончар.
Он берет ломоть арбуза – красноватый хрусткий снег,
Он к прохожим безучастен, этот старый человек:
Пусть, мол, сам себя похвалит звонкий глиняный товар.

Он недаром желтой глиной перепачкан по утрам,
Веселясь своим удачам и грустя от неудач.
А болтливость не пристала настоящим мастерам.
Суетливость не пристала настоящим мастерам.

* * *

Извечно покорны слепому труду,
Небесные звезды несутся в кругу.

Беззвучно вращаясь на тонких осях,
Плывут по вселенной, как рыбий косяк.

В раздумье стоит на земле человек,
И звезды на щеки ложатся, как снег.

И в тесном его человечесьем мозгу
Такие же звезды метутся в кругу.

В нас мир отражен, как в воде и стекле,
То щеки уколёт, подобно игле,

То шоркнет по коже, как мерзлый рукав,
То скользкою рыбкой трепещет в руках.

Но разум людской – не вода и стекло,
В нем наше дыханье и наше тепло.

К нам в ноги летит, как птенец из гнезда,
Продрогшая маленькая звезда.

Берем ее в руки. Над нею стоим,
И греем, и греем дыханьем своим.

КРЫЛЬЯ ХОЛОПА

Стоишь, плечами небо тронув,
Превыше помыслов людских,
Превыше зол, превыше тронов,
Превыше башен городских.

Раскрыты крылья сломяные,
Стрекозным трепетом шурша.
И ветры дуют ледяные,
А люди смотрят, чуть дыша.

Ты ощутишь в своем полете
Неодолимый вес земли,
Бессмысленную тяжесть плоти,
Себя, простертого в пыли.

И гогот злобного базара,
И горожанок робкий страх...
И Божья, и людская кара.
О человек! О пыль! О прах!

Но будет славить век железный
Твои высокие мечты,
Тебя, взлетевшего над бездной
С бессильным чувством высоты.

СТИХИ О ЦАРЕ ИВАНЕ

МЕЧТА О МОРЕ

Он видел лес,
Где распевают птахи
И где ночами ухают сычи,
И этот лес шумел, шумел в ночи.
И этот лес лежал до синя моря.

Он видел степь,
Где ястреб и орел
Ныряют в травы.
Холм за холм и дол за дол
Свободно уходили на просторе.
И эта степь легла до синя моря.

А моря он не видел никогда...
Ему ночами снилась синяя вода,
Над нею пена белая кипела,
И словно степь дышал ее простор.
И море пело, пело, пело,
Как по ночам поет дремучий бор.

И птицы снились не степные, не лесные –
Невиданные, новые, иные –
Не желтоглазый сыч,
Не серый беркут,
А птицы синеглазые морские,
Как гуси белокрылые белы
И с клювами кривыми, как орлы.

Подобно морю
Простиралась степь.

Подобно морю
Волновались чащи.
И сны его тревожили
Все чаще.
Какие сны!
А им свершенья нет!

И государь державы сухопутной,
Бывало, просыпался.
Рядом с ним
Дышала женщина, как дышит море.
Но пахло духом смоляным, лесным,
И филин ухал в непроглядном боре.

А по лесным дорогам шли войска,
Шли ратники, скакали верховые,
Везли в санях припасы огневые.
И озирал просторы снеговые
Суровый воевода из возка.

О море, море – русская мечта!
Когда еще тебе дано свершиться!
И государю по ночам не спится,
А чуть прикроет грозные зеницы,
Все чудятся ему морские птицы,
И синева, и даль, и высота!

ИВАН И ХОЛОП

Ходит Иван по ночному покою,
Бороду гладит узкой рукою.
То ль ему совесть спать не дает,
То ль его черная дума томит.
Слышно – в посаде кочет поет,
Ветер, как в бубен, в стекла гремит.

Дерзкие очи в Ивана вперя,
Ванька-холоп глядит на царя.
– Помни, холоп непокорный и вор,
Что с государем ведешь разговор!
Думаешь, сладко ходить мне в царях,
Если повсюду враги да беда:

Турок и швед сторожат на морях,
С суши – ногаи, да лях, да орда.
Мыслят сгубить православных христьян,
Русскую землю загнали бы в гроб!
Сладко ли мне? – вопрошает Иван.
– Горько тебе, – отвечает холоп.

– А опереться могу на кого?
Лисы – бояре, да волки – князья.
С младости друга имел одного.
Где он, тот друг, и иные друзья?
Сын был наследник мне Господом дан.
Ведаешь, раб, отчего он усоп?
Весело мне? – вопрошает Иван.
– Тяжко тебе, – отвечает холоп.

– Думаешь, царь-де наш гневен и слеп,
Он-де не ведает нашей нужды.
Знаю, что по том посолен твой хлеб,
Знаю, что терпишь от зла и вражды.
Пытан в застенке, клещами ты рван,
Царским клеймом опечатан твой лоб.
Худо тебе? – вопрошает Иван.
– Худо, – ему отвечает холоп.

– Ты ли меня не ругал, не честил,
Врал за вином про лихие дела!
Я бы тебя, неразумный, простил,
Если б повадка другим не была!
Косточки хрустнут на дыбе, смутьян!
Криком Малюту не вгонишь в озноб!
Страшно тебе? – вопрошает Иван.
– Страшно! – ему отвечает холоп.

– Ты милосердья, холоп, не проси.
Нет милосердных царей на Руси.
Русь – что корабль. Перед ней – океан.
Кормчий – гляди, чтоб корабль не потоп!..
Правду ль реку? – вопрошает Иван.
– Бог разберет, – отвечает холоп.

ТОМЛЕНИЕ КУРБСКОГО

Над домами, низко над домами
Медным ликом выплыла луна.
Во тумане, близко во тумане
Брежут псы, сошедшие с ума.

Только совесть бродит под туманом,
Как извечник, смотрится в пробой.
Не деспорил князь с царем Иваном,
Не поладил князь с самим собой...

Пишет Курбский в лагере литовском –
И перо ломает на куски.
Сторожа по деревянным доскам
Бьют – и то, наверно, от тоски.

«Огляди меня, как саблю, на свет,
Выспроси бессонницу мою.
Предаю тебя, проклятый аспид,
Но с тобою Русь не предаю.

Не иду к лъстецам твоим в науку,
Не плутаю с хитростью лисы.
Награжден за муку, за разлуку,
Говорю прямые словесы.

Оглядись! Среди непрочных топей
Ты столбы трухлявые забил.
Воспитал вокруг себя холопей,
А высоких духом погубил.

Отворил ли правду властью царской?
Водворил ли счастье и покой?
Времена жестокости татарской
Воцарились под твоей рукой!

Ты поля, где клекотала влага,
Истоптал, испортил, иссушил,
То, что нами мыслилось на благо,
Ты, во зло облекши, совершил.

Годы – суть для вечности минуты,
Перейти их мыслями сумей.
Гневом Божьим не родятся ль смуты,
Царь Иван, за гибелью твоей?..»

Оплывая, свечи плачут воском,
Под глазами тени-медяки.
Пишет Курбский в лагере литовском
И перо ломает на куски.

За домами, низко за домами,
Засветилась алая черта.
Во тумане, близко во тумане,
В час рассвета кличут кочета.

СМЕРТЬ ИВАНА

Помирает царь, православный царь!
Колокол стозвонный раскачал звонарь.
От басовой меди облака гудут.
Собрались бояре, царской смерти ждут.
Слушают бояре колокольный гром:
Кто-то будет нынче на Руси царем?

А на колокольне, уставленной в зарю,
Весело, весело молодому звонарю.
Гулкая медь,
Звонкая медь,
Как он захочет, так и будет греметь!

«Где же то, Иване, жены твои?» –
«В монастырь отправлены,
Зельями отравлены...» –
«Где же то, Иване, слуги твои?» –
«Пытками загублены,
Головы отрублены...» –
«Где же то, Иване, дети твои?» –
«Вот он старший – чернец,
Вот он младший – птенец.
Ни тому, ни другому
Не по чину венец...» –
«Где же, царь-государь, держава твоя?» –
«Вот она, Господи, держава моя...»

А на колокольне, уставленной в зарю,
Весело, весело молодому звонарю.
Он по сизой заре
Распугал сизарей.
А может, и вовсе не надо царей?
Может, так проживем,
Безо всяких царей,
Что хочешь – твори,
Что хошь – говори,
Сами себе цари,
Сами государи.

Лежит Иван, в головах свеча.
Лежит Иван, не молитву шепча.
Кажется Ивану, что он криком кричит,
Кажется боярам, что он молча лежит,
Молча лежит, губами ворожит.
Думают бояре: хоть бы встал он сейчас,
Хоть потешил себя, попугал бы он нас!

А на колокольне, уставленной в зарю,
Весело, весело молодому звонарю.
Раскачалась звонница –
Донн-донн!
Собирайся, вольница,
На Дон, на Дон!

Буйная головушка,
Хмелю не проси!..
Грозный царь преставился на Руси.
Господи, душу его спаси...

ДУЕТ ВЕТЕР

Дует ветер однолучный
Из дали, дали степной,
Ветер сильный, однозвучный,
Постоянный, затяжной.

Этот ветер обдувает
Город с ног до головы.
Этот ветер навевает
Пыль земли и пыль травы.

И вокруг легко и гулко
Подпевают целый день
Все кларнеты переулков,
Все органы площадей.

Как оркестры духовые,
Трубы города гудят,
Даже окна слуховые
Словно дудочки дудят.

Окна с петель рвутся в гуде,
Двери бьют о косяки.
И бегут навстречу люди,
распахнув воротники.

* * *

Я наконец услышал море,
Оно не покладая рук
Раскатывало у Бомбори
За влажным звуком влажный звук.

Шел тихий дождь на побережье,
И, не пугая тишины,
Пел только мужественно-нежный,
Неутомимый звук волны.

Я засыпал под этот рокот,
И мне приснился сон двойной:
То слышал я орлиный клекот,
То пенье женщины одной.

И этот клекот, это пенье
И осторожный шум дождя
Сплелись на грани сновиденья,
То приходя, то уходя...

ЦИРК

Отцы поднимают младенцев,
Сажают в моторный вагон,
Везут на передних сиденьях
Куда-нибудь в цирк иль в кино.
И дети солидно и важно
В трамвайное смотрят окно.

А в цирке широкие двери,
Арена, огни, галуны,
И прыгают люди, как звери,
А звери, как люди, умны.

Там слон понимает по-русски,
Дворняга поет по-людски.
И клоун без всякой закуски
Глотает чужие платки.

Обиженный кем-то коверный
Несет остроумную чушь.
И вдруг капельмейстер проворный
Оркестру командует туш.

И тут верховые наяды
Слетают с седла на песок.
И золотом блещут наряды,
И купол, как небо, высок.

А детям не кажется странным
Явление этих чудес.
Они не смеются над пьяным,
Который под купол полез.

Не могут они оторваться
От этой высокой красы.
И только отцы веселятся
В серьезные эти часы.

ЗОЛУШКА

Веселым зимним солнышком
Дорога залита.
Весь день хлопочет Золушка,
Делами занята.

Хлопочет дочь приемная
У мачехи в дому.
Приемная-бездомная,
Нужна ль она кому?

Белье стирает Золушка,
Детей качает Золушка,
И напевает Золушка –
Серебряное горлышко.

В окне – дорога зимняя,
Рябина, снегири.
За серыми осинами
Бледнеет свет зари.

А глянешь в законные
Просторы без конца –
Ни пешего, ни конного,
Ни друга, ни гонца.

Посуду моет Золушка,
В окошко смотрит Золушка,
И напевает Золушка:
«Ох, горе мое, горюшко!»

Все сестры замуж выданы
За ближних королей.
С невзгодами, с обидами
Все к ней они да к ней.

Блестит в руке иголочка.
Стоит в окне зима.
Стареющая Золушка
Шьет туфельку сама...

СКАЗКА

Мальчик строил лодку.
И построил лодку.
И поплыл по речке
В тихую погоду.
Лодка острым носом
Воду бороздила.
Облако дорогу
Ей загородило.

Мальчик въехал в облако,
В белое, густое.
А за первым облаком –
Облако второе,
Облако пуховое,
Облако из снега.

А за третьим облаком
Начиналось небо.

Мальчик плыл не речкою,
Мальчик плыл по Млечному,
По небу проточному
В сторону восточную.

Мальчик плыл по звездам,
К месяцу тянулся.
Покатался по небу
И домой вернулся.

* * *

О, много ли надо земли
Для дома, для поля, для луга,
Чтоб травами пела округа
И море шумело вдали?

О, много ли надо земли,
Чтоб очи продрать на рассвете
И видеть, как шумные дети
Пускают в ручьях корабли;

Чтоб в зарослях возле села
Черемуха жарко дышала
И ветвь поцелуям мешала –
И все ж помешать не могла?

О, много ли надо земли
Для тропки, проселка, дороги,
Чтоб добрые псы без тревоги
Дремали в нагретой пыли?

О, много ли надо земли
Для истины, веры и права,
Чтоб засека или застава
Людей разделять не могли?

ЭЛЕГИЯ

Дни становятся все сероватей.
Ограды похожи на спинки железных кроватей.
Деревья в тумане, и крыши лоснятся.
И сны почему-то не снятся.
В кувшинах стоят восковые осенние листья,
Которые схожи то с сердцем, то с кистью
Руки. И огромное галок семейство,
Картаво ругаясь, шатается с места на место.
Обычный пейзаж! Так хотелось бы неторопливо
Писать, избегая наплыва
Обычного чувства пустого неверья
В себя, что всегда у поэтов под дверью
Смеется в кулак и настойчиво трется,
И черт его знает – откуда берется!

Обычная осень! Писать, избегая неверья
В себя. Чтоб скрипели гусиные перья
И, словно гусей белоснежных станицы,
Летели исписанные страницы...
Но в доме, в котором живу я – четырехэтажном, –
Есть множество окон. И в каждом
Виднеются лица:
Старухи и дети, жильцы и жилицы.
И смотрят они на мои занавески,
И переговариваются по-детски:
– О чем он там пишет? И чем он там дышит?
Зачем он так часто взирает на крыши,
Где мокрые трубы, и мокрые птицы,
И частых дождей торопливые спицы? –

А что, если вдруг постучат в мои двери
и скажут: – Прочтите.

Но только учтите,

Читайте не то, что давно нам известно,

А то, что не скучно и что интересно...

– А что вам известно?

– Что нивы красивы, что люди счастливы,

Любовь завершается браком,

И свет торжествует над мраком.

– Садитесь, прочту вам роман с эпилогом.

– Валяйте! – садятся в молчании строгом.

И слушают.

Он расстается с невестой.

(Соседка довольна. Отрывок прелестный.)

Невеста не ждет его. Он погибает.

И зло торжествует. (Соседка зевает.)

Сосед заявляет, что так не бывает,

Нарушены, дескать, моральные нормы

И полный разрыв содержания и формы...

– Пойдите, пойдите! Но вы же просили...

– Просили! И просьба останется в силе...

Но вы же поэт! К моему удивлению,

Вы не понимаете сути явлений,

По сути – любовь завершается браком,

А свет торжествует над мраком.

Сапожник Подметкин из полуподвала,

Положим, пропойца. Но этого мало

Для литературы. И в роли героя

Должны вы его излечить от запоя

И сделать счастливым супругом Глафиры,

Лифтерши из сорок четвертой квартиры.

.....

На улице осень... И окна. И в каждом окошке
Жильцы и жилицы, старухи, и дети, и кошки.
Сапожник Подметкин играет с утра на гармошке.
Глафира выносит очистки картошки.
А может, и впрямь лучше было бы в мире,
Когда бы сапожник женился на этой Глафире?
А может быть, правда – задача поэта
Упорно доказывать это:
Что любовь завершается браком,
А свет торжествует над мраком.

ЖЕЛЕЗНАЯ СКВОРЕШНЯ

Я вырос в железной скворешне.
А был я веселый скворец.
Порою туманною, вешней
Звенела капель о торец.

Скворешня железная пела,
Когда задували ветра.
Железная ветка скрипела,
Гудела стальная кора.

В скворешне учился я пенью,
Железному веку под стать,
Звенеть ледяною капелью
И цинковым свистом свистать.

А если мне пенье иное,
Живое, уже ни к чему,
То дайте мне сердце стальное
И ключик вручите к нему.

Гоните воркующих горлиц,
Рубите глухие сады,
Пока не заржавели в горле
От слез и туманов лады.

Железом окуйте мне руки,
В броню заключите до пят!
Не то уже странные звуки
С утра в моем горле кипят.

Второй перевал
1958–1963

СОРОКОВЫЕ

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещения похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

СТАРИК ДЕРЖАВИН

Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил...
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим.

Это не для самооправдания:
Мы в тот день ходили на задание
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
Некому и лиру передать!»

А ему советовали: «Некому?
Лучше б передали лиру некоему
Малому способному. А эти,
Может, все убиты наповал!»

Но старик Державин воровато
Руки прятал в рукава халата,
Только лиру не передавал.

Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал.
Что-то молча про себя загадывал.
(Все занятия – по его годам!)
По ночам бродил в своей мурмолочке,
Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!
Пусть пылится лучше. Не отдам!»
Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!

* * *

С. Б. Ф.

Слава богу! Слава богу!
Что я знал беду и тревогу!
Слава богу, слава богу –
Было круто, а не отлого!

Слава богу!
Ведь все, что было,
Все, что было, – было со мною.
И война меня не убила,
Не убила пулей шальнойю.

Не по крови и не по гною
Я судил о нашей эпохе.
Все, что было, – было со мною,
А иным доставались крохи!

Я судил по людям, по душам,
И по правде, и по замаху.
Мы хотели, чтоб было лучше,
Потому и не знали страху.

Потому пробитое зная
С каждым годом для нас дороже.
Хорошо, что случилось с нами,
А не с теми, кто помоложе.

ПЕРЕБИРАЯ НАШИ ДАТЫ

Перебирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам,
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом.

А гуманизм не просто термин,
К тому же, говорят, абстрактный.
Я обращаюсь вновь к потерям,
Они трудны и невозвратны.

Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая.

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет – одни деревья.

И вроде день у нас погожий,
И вроде ветер тянет к лету...
Аукаемся мы с Сережей,
Но леса нет, и эха нету.

А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая...
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.

ДЕРЕВЯННЫЙ ВАГОН

Спотыкался на стыках,
Качался, дрожал.
Я, бывало, на нарах вагонных лежал.
Мне казалось – вагон не бежал, а стоял,
А земля на какой-то скрипучей оси
Поворачивалась мимо наших дверей,
А над ней поворачивался небосвод,
Солнце, звезды, луна,
Дни, года, времена...
Мимо наших дверей пролетала война,

А потом налетали на нас «мессера».
Здесь не дом, а вагон,
Не сестра – медсестра,
И не братья, а – братцы,
Спасите меня!
И на волю огня не бросайте меня!

И спасали меня,
Не бросали меня.

И звенели – ладонь о ладонь – буфера,
И состав
Пересчитывал каждый сустав.
И скрипел и стонал
Деревянный вагон.
А в углу медсестра пришивала погон.

А в России уже начиналась весна.
По откосам бежали шальные ручьи.
И летели недели, года, времена,
Госпитальные койки, дороги, бои,
И тревоги мои, и победы мои!

* * *

Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
Я любил, размышлял, воевал.
Кое-где побывал, кое-что повидал,
Иногда и счастливым бывал.

Гнев меня обошел, миновала стрела,
А от пули – два малых следа.
И беда отлетала, как капля с крыла,
Как вода, расступалась беда.

Взял один перевал, одолею второй,
Хоть тяжел мой заплечный мешок,
Что же там – за горой? Что же там – под горой?
От высот побелел мой висок.

Сорок лет. Где-то будет последний привал?
Где прервется моя колея?
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
И не допита чаша сия.

ОСЕНЬ

Вот опять спорхнуло лето
С золоченого шестка,
Роща белая раздета
До последнего листка.

Как раздаривались листья,
Чтоб порадовался глаз!
Как науке бескорыстья
Обучала осень нас!

Так закутайся потепле
Перед долгою зимой...
В чем-то все же мы окрепли,
Стали тверже, милый мой.

АТЛАНТ

Не нужен гений и талант,
Что сам собою горд,
А нужен труженик Атлант,
Что мир воздвиг на горб.

Стоит он, выпятив губу,
По-бычьей пяля взор.
И чует на своем горбу
Косые грани гор.

Земля круглее казана,
А в ней огонь и лед.
И океанская волна
Ему за ворот бьет.

А он стоит, багроволиц,
Спина – под стать коню.
И вдруг как гаркнет:
– Люди, цыц!
Неровно – уроню!

* * *

Захотелось мудрым землянам
Распростаться с домом зеленым,
Побродить по нездешним лонам,
По иным морям-океанам.

И откуда такое желанье?
Почему со времен Дедала
Рвутся в небо наши земляне,
Неужели земли им мало?

Но птенцы готовятся летом
К их осенним большим перелетам.
Так нас тянет к дальним планетам,
К безначальным тянет высотам.

Кличет осень из синих далей,
Осыпаются листья клена...
От великих наших печалей
Звезды манят нас с небосклона.

Бурой, желтой, красной метелью
Закружились жухлые листья...
От великих наших веселий
Манят нас надзвездные выси.

Журавли курлычут. По далям
Оплывают сосны, как свечи.
И, ракрыв глаза, упадаем,
Упадаем небу навстречу.

ВДОХНОВЕНЬЕ

Жду, как заваленный в забое,
Что стих пробьется в жизнь мою.
Бью в это темное, рябое,
В слепое, в каменное бью.

Прислушиваюсь: не слышать ли,
Что пробивается ко мне.
Но это только капли, капли
Скользят по каменной стене.

Жду, как заваленный в забое,
Долблю железную руду,
Не пробивается ль живое
Навстречу моему труду?..

Жду исступленно и устало,
Бью в камень медленно и зло...
О, только бы оно пришло!
О, только бы не опоздало!

СЛОВА

Красиво падала листва,
Красиво плыли пароходы.
Стояли ясные погоды,
И праздничные торжества
Справлял сентябрь первоначальный,
Задумчивый, но не печальный.

И понял я, что в мире нет
Затертых слов или явлений.
Их существо до самых недр
Взрывает потрясенный гений.
И ветер необыкновенней,
Когда он ветер, а не ветр.

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

* * *

Дождь пришел в городские кварталы,
Мостовые блестят, как каналы,
Отражаются в них огоньки,
Светофоров цветные сигналы
И свободных такси светляки.

Тихо радуюсь. Не оттого ли,
Что любви, и надежды, и боли
Мне отведавать сполна довелось,
Что уже голова побелела
И уже настоящее дело
В эти годы во мне началось.

И когда, словно с бука лесного,
Страсть слетает – шальная листва,
Обнажается первооснова,
Голый ствол твоего существа.
Открывается графика веток
На просторе осенних небес.

И не надо случайных чудес –
Однодневок иль однолеток.

Эй, листва! Постарей, постарей!
И с меня облетай поскорей!

СОЛОВЬИНАЯ УЛИЦА

Тучей шла сирень, лавиной,
На заборы надвигалась.
Это буйство называлось
Улицею Лакстигалас,
Улицею Соловьиной.

Свешивалась через стены
Гроздью пышной, грузной, пьяной,
И дворы вспухали пеной,
Словно глиняные жбаны.

Кто живет здесь – люди, птицы?
И ужель в домишках чинных
Есть под красной черепицей
Страсти кроме соловьиных?

Что за слово – Лакстигалас?
Птичье или человечье?..

И свободно постигалась
Сладость чуждого наречья.

СТАРЫЙ ГОРОД

Трудолюбивые пейзажи,
Возделанная красота.
И все круглей холмы, все глаже
И все отраднее места.

Тевтонский орден и Ливонский –
Чванливых рыцарей орда –
В своем ленивом пустозвонстве
Здесь не оставили следа.

Зато ремесленные швабы
И местный работающий люд
Свои понятия и масштабы
Навечно утвердили тут.

Они ценить привыкли место,
И город, окружен стеной,
Залег извиристо и тесно,
Как мозг в коробке черепной.

И разум прост, и тверд, и скромн.
И облик крыш над головой
Подобен сомкнутым ладоням,
Прошедшим обжиг вековой.

ДВОРИК МИЦКЕВИЧА

Здесь жил Мицкевич. Как молитва
Звучит пленительное: Litwo,
Ojczyzno moja. Словно море
Накатывается: О, Litwo,
Ojczyzno moja.
Квадратный дворик. Монолитно,
Как шаг в забое,
Звучит звенящее: О, Litwo,
Ojczyzno moja!
И как любовь, как укоризна,
Как признак боли,
Звучит печальное: Ojczyzno,
Ojczyzno moja.
Мицкевич из того окошка
Глядел на дворик,
Поэт, он выглядел роскошно,
Но взгляд был горек.
Он слышал зароженье ритма.
Еще глухое,
Еще далекое: О, Litwo,
Ojczyzno moja!

НАД НЕВОЙ

Весь город в плавных разворотах,
И лишь подчеркивает даль
В проспектах, арках и воротах
Классическая вертикаль.

И все дворцы, ограды, зданья,
И эти львы, и этот конь
Виды, как бы для любованья
Поставленные на ладонь.

И плавно прилегают воды
К седым гранитам городским –
Большие замыслы природы
К великим замыслам людским.

* * *

Подставь ладонь под снегопад,
Под искры, под кристаллы.
Они мгновенно закипят,
Как плавкие металлы.

Они растают, потекут
По линиям руки.
И станут линии руки
Изгибами реки.

Другие линии руки
Пролягут как границы,
И я увижу городки,
Дороги и столицы.

Моя рука как материк –
Он прочен, изначален.
И кто-нибудь на нем велик,
А кто-нибудь печален.

А кто-нибудь идет домой,
А кто-то едет в гости.
А кто-то, как всегда зимой,
Снег собирает в горсти.

Как ты просторен и широк,
Мирок на пятерне.
Я для тебя, наверно, бог,
И ты послушен мне.

Я берегу твоих людей,
Храню твою удачу.
И малый мир руки моей
Я в рукавичку прячу.

ИЗ ДЕТСТВА

Я – маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещей Олег...»

Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над брэнностью мира
Я, маленький, глупый, больной.

КАРУСЕЛЬ

Артельщик с бородкой
Взмахнул рукавом.
И – конь за пролеткой,
Пролетка за конем!

И – тумба, и цымба!
И трубы – туру!
И вольные нимбы
Берез на ветру.

Грохочут тарелки,
Гремит барабан,
Играет в горелки
Цветной балаган.

Он – звонкий и легкий –
Пошел ходуном.
И конь за пролеткой,
Пролетка за конем!

То красный, как птица,
То желтый, как лис.
Четыре копытца
Наклонно взвились.

Летит за молодой
Платочек вьюном.
И – конь за пролеткой,
Пролетка за конем!..

Сильнее на ворот
Плечом поднажать,
Раскрутишь весь город,
Потом не сдержать.

За городом роща,
За рощею дол
Пойдут раздуваться,
Как пестрый подол.

Артельщик хохочет –
Ему нипочем:
Взял город за ворот
И сдвинул плечом.

СТАРИК

Старик с мороза вносит в дом
Охапку дров продрогших.
В сенях, о кадку звякнув льдом,
Возьмет железный ковшик;

Водой наполнит чугунок,
Подбросит в пещь полешки.
И станет щелкать огонек
Каленые орешки.

Потом старик найдет очки,
Подсядет ближе к свету,
Возьмет, как любят старики,
Вчерашнюю газету.

И станет медленно читать
И разбираться в смысле,
И все события сочетать
В особенные мысли.

АЛЕНУШКА

Когда настанет расставаться –
Тогда слетает мишура...
Аленушка, запомни братца!
Прощай – ни пуха ни пера!

Я провожать тебя не выйду,
Чтоб не вернулась с полпути.
Аленушка, забудь обиду
И братца старого прости.

Твое ль высокое несчастье,
Моя ль высокая беда?..
Аленушка, не возвращайся,
Не возвращайся никогда.

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

Не белый цвет и черный цвет
Зимы сухой и спелой –
Тот день апрельский был одет
Одной лишь краской – серой.

Она ложилась на снега,
На березняк сторукий,
На серой морде битюга
Лежала серой скукой.

Лишь черный тополь был один –
Весенний, черный, влажный.
И черный ворон, нелюдим,
Сидел на ветке, важный.

Стекали ветки как струи,
К стволу сбегали сучья,
Как будто черные ручьи,
Рожденные под тучей.

Подобен тополь был к тому ж
И молнии застывшей,
От серых туч до серых луж
Весь город пригвоздившей.

Им оттенялась белизна
На этом сером фоне.
И вдруг, почуяв, что весна,
Тревожно ржали кони.

И было все на волоске,
И думало, и ждало,
И, словно жилка на виске,
Чуть слышно трепетало –
И талый снег, и серый цвет,
И той весны начало.

* * *

Странно стариться,
Очень странно.
Недоступно то, что желанно.
Но зато бесплотное весомо –
Мысль, любовь и дальний отзвук грома.
Тяжелы, как медные монеты,
Слезы, дождь. Не в тишине, а в звоне
Чьи-то судьбы сквозь меня продеты.
Тяжела ладонь на ладони.
Даже эта легкая ладошка
Ношей кажется мне непосильной.
Непосильной,
Даже для двужильной,
Суетной судьбы моей... Вот эта,
В синих детских жилках у запястья,
Легче крылышка, легче пряжи,
Эта легкая ладошка даже
Давит, давит, словно колокольня...
Раздавила руки, губы, сердце,
Маленькая, словно птичье тельце.

НОЧНАЯ ГРОЗА

Тяжелое небо набрякло, намокло.
Тяжелые дали дождем занавешены.
Гроза заливает июльские стекла,
А в стеклах – внезапно – видение женщины.

Играют вокруг сопредельные громы,
И дева качается. Дева иль дерево?
И переплетаются руки и кроны,
И лиственное неотделимо от девьего.

Как в изображенье какого-то мифа,
Порывистое изгибание стана,
И драка, и переполох, и шумиха
С угоном невест, с похищением стада.

Она возникает внезапно и резко
В неоновых вспышках грозы оголтелой,
Неведомо как уцелевшая фреска
Ночного борения дерева с девой.

С минуту во тьму утопают два тела,
И снова, как в запечатленной искусством
Картине, является вечная тема –
Боренья и ребер, ломаемых с хрустом.

КРАСНАЯ ОСЕНЬ

Внезапно в зелень вкрался красный лист,
Как будто сердце леса обнажилось,
Готовое на муку и на риск.

Внезапно в чаще вспыхнул красный куст,
Как будто бы на нем расположилось
Две тысячи полураскрытых уст.

Внезапно красным стал окрестный лес
И облако впитало красный отсвет.
Светился праздник листьев и небес
В своем спокойном благородстве.

И это был такой большой закат,
Какого видеть мне не доводилось.
Как будто вся земля переродилась –
И я по ней шагаю наугад.

ТАЛАНТЫ

Их не ждут. Они приходят сами.
И рассаживаются без спроса.
Негодующими голосами
Задают неловкие вопросы.

И уходят в ночь, туман и сырость
Странные девчонки и мальчишки,
Кутаясь в дешевые пальтишки,
Маменьками шитые навырост.

В доме вдруг становится пустынно,
И в уютном кресле неудобно.
И чего-то вдруг смертельно стыдно,
Угрызению совести подобно.

И язвительная умудренность
Вдруг становится бедна и бренна.

И завидны юность и влюбленность,
И былая святость неизменна.

Как пловец, расталкиваю ставни
И кидаюсь в ночь за ними следом,
Потому что знаю цену давним
Нашим поражениям и победам...

Приходите, юные таланты!
Говорите нам светло и ясно!
Что вам – славы пестрые заплаты!
Что вам – низких истин постоянство!

Сберегите нас от серой прозы,
От всего, что сбито и затерто.
И пускай бесстрашно льются слезы
Умиленья, зависти, восторга!

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Везде холера, всюду карантинны,
И отпущенья вскорости не жди.
А перед ним пространные картины
И в скудных окнах долгие дожди.

Но почему-то сны его воздушны,
И словно в детстве – бормотанье, вздор.
И почему-то рифмы простодушны,
И мысль ему любая не в укор.

Какая мудрость в каждом сочлененье
Согласной с гласной! Есть ли в том корысть!

И кто придумал это сочиненье!
Какая это радость – перья грызть!

Быть, хоть ненадолго, с собой в согласье
И поражаться своему уму!
Кому б прочесть – Анисье иль Настасье?
Ей-богу, Пушкин, все равно кому!

И за полночь пиши, и спи за полдень,
И будь счастлив, и бормочи во сне!
Благодаренье Богу – ты свободен –
В России, в Болдине, в карантине...

ДОМ-МУЗЕЙ

*Потомков ротот восхищенный,
Блаженной славы Парфеион!
Из старого поэта
... производит глубокое...
Из книги отзывов*

Заходите, пожалуйста. Это
Стол поэта. Кушетка поэта.
Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.
Это штора – окно прикрывать.
Вот любимое кресло. Покойный
Был ценителем жизни спокойной.

Это вот безымянный портрет.
Здесь поэту четырнадцать лет.
Почему-то он сделан брюнетом.
(Все ученые спорят об этом.)
Вот позднейший портрет – удалой.
Он писал тогда оду «Долой»

И был сослан за это в Калугу.
Вот сюртук его с рваной полрой –
След дуэли. Пейзаж «Под скалой».
Вот начало «Послания к другу».
Вот письмо: «Припадаю к стопам...»
Вот ответ: «Разрешаю вернуться...»
Вот поэта любимое блюдо,
А вот это любимый стакан.

Завитушки и пробы пера.
Варианты поэмы «Ура!»
И гравюра: «Врученье медали».
Повидали? Отправимся дале.

Годы странствий. Венеция. Рим.
Дневники. Замечанья. Тетрадки.
Вот блестящий ответ на нападки
И статья «Почему мы дурим».
Вы устали? Уж скоро конец.
Вот поэта лавровый венец –
Им он был удостоен в Тулузе.
Этот выцветший дагерротип –
Лысый, старенький, в бархатной блузе –
Был последним. Потом он погиб.

Здесь он умер. На том канапе,
Перед тем прошептал изречение
Непонятное: «Хочется пе...»
То ли песен? А то ли печенья?
Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт перед гробом!

Смерть поэта – последний раздел.
Не толпитесь перед гардеробом...

БЕЛЫЕ СТИХИ
(Рембо в Париже)

Рано утром приходят в скверы
Одинокие злые старухи,
И сердитые пенсионеры
На скамейках читают газеты.
Здесь тепло, розовато, влажно,
Город заспан, как детские щеки.
На кирпично-красных площадках
Бьют пожарные струи фонтанов,
И подстриженные газоны
Размалеваны тенью и солнцем.

В это утро по главной дорожке
Шел веселый и рыжий парень
В желтовато-зеленой ковбойке.
А за парнем шагала лошадь.
Эта лошадь была прекрасна,
Как бывает прекрасна лошадь –
Лошадь розовая и голубая,
Как дессу незамужней дамы,
Шея – словно рука балерины,
Уши – словно чуткие листья,
Ноздри – словно из серой замши,
И глаза азиатской рабыни.

Парень шел и у всех газировщиц
Покупал воду с сиропом,
А его белоснежная лошадь
Наблюдала, как на стакане
Оседают озон с сиропом.
Но, наверно, ей надоело

Наблюдать за веселым парнем,
И она отошла к газону
И, ступив копытом на клумбу,
Стала кушать цветы и листья,
Выбирая, какие получше.
– Кыш! – воскликнули пенсионеры.
– Брысь! – вскричали злые старухи. –
Что такое – шляется лошадь,
Нарушая общий порядок! –
Лошадь им ничего не сказала,
Поглядела долго и грустно
И последовала за парнем.

Вот и все – ничего не случилось,
Просто шел по улице парень,
Пил повсюду воду с сиропом,
А за парнем шагала лошадь...

Это странное стихотворенье
Посвящается нам с тобою.
Мы с тобой в чудеса не верим,
Оттого их у нас не бывает...

БЕРТОЛЬД ШВАРЦ

(Монолог)

Я, Шварц Бертольд, смиреннейший монах,
Презрел людей за дьявольские нравы.
Я изобрел пылинку, порошок, прах,
Ничтожный порошок для забавы.
Смеялась надо мной исподтишка
Вся наша уважаемая братья:

«Что может выдумать он, кроме порошка!
Он порох выдумал! Нашел занятие!»
Да, порох, прах, пылинку! Для шутих,
Для фейерверков и для рассыпных
Хвостов павлиньих. Вспыхивает – пых! –
И роем, как с небесной наковальни,
Слетают искры! О, как я люблю
Искр воркованье, света ликование!..

Но то, что создал я для любованья,
На пагубу похитил сатана.
Да, искры полетели с наковален,
Взрвели, как быки, кузнечные меха.
И оказалось, что от смеха до греха
Не шаг – полшага, два вершка, вершок.
А я – клянусь спасеньем, Боже правый! –
Я изобрел всего лишь для забавы
Сей порох, прах, ничтожный порошок!

Я, Шварц Бертольд, смиреннейший монах,
Вас спрашиваю, как мне жить на свете?
Ведь я хотел, чтоб радовались дети.
Но создал не на радость, а на страх!
И порошок мой в тугих стволах
Обрел вдруг сатанинское дыханье...
Я сотворил паденье крепостей,
И смерть солдат, и храмов полыханье.

Моя рука – гляди! – обожжена,
О Господи, тебе, тебе во славу...
Зачем дозволил ты, чтоб сатана
Похитил порох, детскую забаву!
Неужто все, чего в тиши ночей

Пытливо достигает наше знание,
Есть разрушение, а не созидание,
И все нас превращает в палачей?

ШУБЕРТ ФРАНЦ

Шуберт Франц не сочиняет –
Как поется, так поет.
Он себя не подчиняет,
Он себя не продает.

Не кричит о нем газета,
И молчит о нем печать.
Жалко Шуберту, что это
Тоже может огорчать.

Знает Франц, что он кургузый
И развязности лишен,
И, наверно, рядом с музой
Он немножечко смешон.

Жаль, что дорог каждый талер,
Жаль, что дома неуют.
Впрочем – это все детали,
Жаль, что песен не поют!..

Но печали неуместны!
И тоска не для него!..
Был бы голос! Ну а песни
Запоются! Ничего!

* * *

Хочется мирного мира
И счастливого счастья,
Чтобы ничто не томило,
Чтобы грустилось не часто.

Хочется синего неба
И зеленого леса,
Хочется белого снега,
Яркогo желтого лета.

Хочется, чтоб отвечало
Все своему назначенью:
Чтоб начиналось с начала,
Вовремя шло к завершенью.

Хочется шуток и смеха
Где-нибудь в шумном скопище.
Хочется и успеха,
Но на хорошем поприще.

* * *

И снова будут дробить суставы
И зажимать кулаками рты
Поэты ненависти и славы
Поэтам чести и доброты.

И снова в злобе полночных бдений
Злодейство будет совершено,
И снова будет смеяться гений
И беззаботно тянуть вино.

Он выйдет в полночь. И легким
жестом
Пригласит встрепанные виски,
Дивясь красотам и совершенствам
Судьбы, созвездий, любви, листвы.

СТАРАЯ ВИЛЬНА

Когда еще над старой Вильной
Не слышен гром автомобильный,
Как будто прячась от людей,
Старуха кормит голубей.
Дурак в окне, не слыша фальши,
Чуть свет разыгрывает марши,
Угрюмо выпятив губу,
Играет в медную трубу.
На красной мостовой кирпичной
Сияет отблеск необычный
И, черная от всех скорбей,
Старуха кормит голубей...
Воркует голубь толстый, сытый
Над мостовой, дождем промытой.
Играет дурень: до-ре-ми.
Дудит над спящими людьми.
Так было и при Гедимине:
Дымился огонек в камине,
И толстый голубь ворковал,
И парень девку целовал.
И дул в трубу дурак упорный,
И та старуха в шали черной
Кормила сытых голубей
Или качала колыбель...

И вправду, много ль мы постигли
С тех пор, когда варился в тигле
Волшебный корень колдуна?
Брела зеленая луна
Над старым университетом,
Брела старуха по двору.
А парень дул: туру-туру!

Дни
1963–1970

* * *

Давай поедem в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.

Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно.

Уже дозрела осень
До синего налива.
Дым, облако и птица
Летят неторопливо.

Ждут снега. Листопады
Недавно отшуршали.
Огромно и просторно
В осеннем полушарье.

И все, что было зыбко,
Растрепано и розно,
Мороз скрепил слюною,
Как ласточкины гнезда.

И вот ноябрь на свете,
Огромный, просветленный,
И кажется, что город
Стоит ненаселенный, –

Так много сверху неба,
Садов и гнезд вороньих,
Что и не замечаешь
Людей, как посторонних.

О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую.

И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься...

ПЕРЕД СНЕГОМ

И начинает уставать вода.
И это означает близость снега.
Вода устала быть ручьями, быть дождем,
По корню подниматься, падать с неба.
Вода устала петь, устала течь,
Сиять, струиться и переливаться.
Ей хочется утратить речь, залечь
И там, где залегла, там оставаться.

Под низким небом, тяжелей свинца,
Усталая вода сияет тускло.
Она устала быть самой собой.
Но предстоит еще утратить чувства,
Но предстоит еще заledenеть
И уж не петь, а, как броня, звенеть.

Ну, а куда в мире тишина.
Торчат кустов безлиственные прутья.
Распутица кончается. Распутица
Подмерзли. Но земля еще черна.
Вот-вот повалит первый снег.

* * *

Вода моя! Где тайники твои,
Где ледники, где глубина подвала?
Струи ручья всю ночь, как соловьи,
Рокочут в темной чаше краснотала.

Ах, утоли меня, вода ручья,
Кинь в губы мне семь звезд, семь терпких ягод,
Кинь, в краснотале черном рокоча,
Семь звезд, что предо мной созвездьем лягут.

Я притаюсь, притихну, как стрелок,
Боящийся спугнуть семью оленей.
Ручей лизнет мне руку, как телок,
И притулится у моих коленей.

ПАМЯТЬ

Е. Л.

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.

И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.

Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит..
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.

ФЕЙЕРВЕРК

Музыкантам, музыкантам
Было весело играть.
И под небом предзакатным
Трубам весело сиять.

Но окрестности темнели,
Угасал латунный сверк.
И, когда сомкнулись ели,
Вдруг ударил фейерверк.

С треском, выстрелом и шипом
Он распался на сто звезд.
Парни в танце с диким шиком
Мяли девушек, как воск.

И опять взлетел над парком
Фейерверк и прынул вниз.
И тогда с тревожным карком
Галки стаями взвились.

И рассыпались черным
Фейерверком, прынув вверх.
Но хвостом разгоряченным
Вновь распался фейерверк.

Свѣтла начали крутиться,
Поднимаясь к небесам.
И тогда другие птицы
Заметались по кустам.

Ослепленные пичуги
Устремлялись от огней,
Трепыхаясь словно чубы
Перепуганных коней.

И тогда взлетел Огромный,
Словно лопнуло стекло.
И сияющей короной
Всплыло нежное Светло.

Как шатер оно снижалось,
Озаряя небеса.
С тенью тень перемежалась,
Словно спицы колеса.

И последняя шутиха
Где-то канула на дно.
И тогда настало Тихо,
И надвинулось Темно.

Мы стояли, рот разинув,
И глядели долго вверх.
И как битву исполинов
Вспоминали фейерверк.

КРАСОТА

Она как скрипка на моем плече.
И я ее, подобно скрипачу,
К себе рукою прижимаю.
И волосы струятся по плечу,
Как музыка немая.

Она как скрипка на моем плече.
Что знает скрипка о высоком пенье?
Что я о ней? Что пламя о свече?
И сам Господь – что знает о творенье?

Ведь высший дар себя не узнает.
А красота превыше дарований –
Она себя являет без стараний
И одарять собой не устает.

Она как скрипка на моем плече.
И очень сложен смысл ее гармоний.
Но внятен всем. И каждого томит.
И для нее никто не посторонний.

И, отрешась от распрей и забот,
Мы слушаем в минуту просветленья
То долгое и медленное пенье
И узнаем в нем высшее значенье,
Которое себя не узнает.

* * *

Расставанье,
Век спустя после прощанья,
Ты звучишь во мне, как длинное стенанье,
Как стенанье ветра за стеной.
Расставанье,
Мне уже ненужное,
Стонешь ты, как женщина недужная,
Где-то за туманной пеленой.

Пробуждаюсь.
Вместе с пробуждением
Оборвался звук. Но странным пеньем
Я разбужен был. Так где оно?
Я однажды в детстве слышал это:
Женский вопль далеко до рассвета,
Замиравший медленно вдали.
Мне казалось – это похищенье
Женщины. Куда ее влекли?

Так со мной бывает спозаранок,
Когда что-то нарушает сон.
Слышу похищенье сабибиянок –
Длинный, удаляющийся стон.

* * *

И всех, кого любил,
Я разлюбить уже не в силах!
А легкая любовь
Вдруг тяжелеет
И опускается на дно.

И там, на дне души, загустевает,
Как в погребце зарытое вино.

Не смей, не смей из глуби доставать
Все то, что там скопилось и окрепло!
Пусть хранится глухо, немо, слепо,
Пусть! А если вырвется из склепа,
Я предпочел бы не существовать,
Не быть...

НАЗВАНЬЯ ЗИМ

У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.

Еленю звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.

И были дни, и падал снег,
Как теплый пух зимы туманной...

А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех.

* * *

Получил письмо издалека,
Гордое, безумное и женское.
Но пока оно свершало шествие,
Между нами пролегли века.

Выросли деревья, смолкли речи,
Оттремели времена.
Но опять прошу я издалече:
Анна! Защити меня!

Реки утекли, умчались птицы,
Заросли дороги. Свет погас.
Но тебе порой мой голос снится:
Анна! Защити обоих нас!

РЯБИНА

Так бы длинно думать,
Как гуси летят.
Так бы длинно верить,
Как листья шелестят.
Так бы длинно любить,
Как реки текут...
Руки так заломить,
Как рябиновый куст.

* * *

Была туманная весна,
И были нежные березы...
О март-апрель, какие слезы!
Во сне какие имена!

Туман весны, туман страстей,
Рассудка тайные угрозы...
О март-апрель, какие слезы –
Спросонья, словно у детей!..

Как корочку, хрустящий след
Жуют рассветные морозы...
О март-апрель, какие слезы –
Причины и названья нет!

Вдали, за гранью голубой,
Гудят в тумане тепловозы...
О март-апрель, какие слезы!
О чем ты плачешь? Бог с тобой!

АПРЕЛЬСКИЙ ЛЕС

Давайте каждый день приумножать богатство
Апрельской тишины в безлиственном лесу.
Не надо торопить. Не надо домогаться,
Чтоб отроческий лес скорей отер слезу.

Ведь нынче та пора, редчайший час сезона,
Когда и время – вспять и будет молодеть,
Когда всего шальней растрепанная крона
И шапку не торопится надеть.

О этот странный час обратного движенья
Из старости!.. Куда?.. Куда – не все ль равно!
Как будто корешок волшебного женьшеня
Помешан был вчера в холодное вино.

Апрельский лес спешит из отрочества в детство.
И воды вспять текут по малому ручью.
И птицы вспять летят.. Мы из того же теста –
К начальному, назад, спешим небытию...

* * *

Стройность чувств. Их свободные речи.
И в мазут Патриарших прудов
Опрокинут мерцающий глетчер,
Звездный брус городских холодов.

В эту ночь окончанья сезона,
Когда лебеди странно вопят,
До сухого и нежного звона
Доведен городской листопад.

И почти одинаково ярки
Фонари, что в аллее горят.
И высокие тополи в парке,
Сохранившие желтый наряд.

На пустынной аллее садовой
Мне сулит этот лиственный звон
Приближение музыки новой
И конец переходных времен.

Пруд лоснится, как черное масло,
И как легкое пахнет вино.
И бессонница наша прекрасна –
Так все молодо, так ледяно!..

* * *

Дай выстрадать стихотворенье!
Дай вышагать его! Потом,
Как потрясенное растение,
Я буду шелестеть листом.

Я только завтра буду мастер
И только завтра я пойму,
Какое привалило счастье
Глупцу, шуту, бог весть кому, –

Большую повесть поколенья
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слезы слизывая с губ.

В ДЕРЕВНЕ

В деревне благодарен дому
И благодарен кровле, благодарен печке,
Особенно когда деревья гнутся долу
И ветер гасит звезды, словно свечки.

Сверчку в деревне благодарен,
И фитилю, и керосину.

Особенно когда пурга ударит
Во всю медвежью голосину.

Соседу благодарен и соседке,
Сторожевой собаке.
Особенно когда луна сквозь ветки
Глядит во мраке.

И благодарен верному уму
И доброму письму в деревне...
Любви благодаренье и всему,
Всему – благодаренье!

* * *

Весь лес листвою переполнен,
Он весь кричит: тону! тону!
И мы уже почти не помним,
Каким он был семь дней тому.

Как забывается дурное!
А память о счастливом дне,
Как излученье роковое,
Накапливается во мне.

Накапливается, как стронций
В крови. И жжет меня дотла –
Лицо, улыбка, листья, солнце.
О горе! Я не помню зла!

ГОЛОСА

Здесь дерево качается: – Прощай! –
Там дом зовет: – Остановись, прохожий! –
Дорога простирается: – Пластай
Меня и по дубленой коже
Моей шагай, топчи меня пятой,
Не верь домам, зовущим поселиться.
Верь дереву и мне. –

А дом: – Постой! –
Дом желтой дверью свищет, как синица.
А дерево опять: – Ступай, ступай,
Не оборачивайся. –

А дорога:
– Топчи пятой, подошвою строгай.
Я пыльная, но я веду до Бога! –
Где пыль, там Бог.
Где Бог, там дух и прах.
А я живу не духом, а соблазном.
А я живу, качаясь в двух мирах,
В борении моем однообразном.
А дерево опять: – Ну, уходи,
Не медли, как любовник надоевший! –
Опять дорога мне: – Не тяготи!
Ступай отсюда, конный или пеший. –
А дом – оконной плачет он слезой.
А дерево опять ко мне с поклоном.
Стою, обвит страстями, как лозой,
Перед дорогой, деревом и домом.

СОВЕТЧИКИ

Приходили ко мне советчики
И советовали, как мне быть.
Но не звал я к себе советчиков
И не спрашивал, как мне быть.

Тот советовал мне уехать,
Тот советовал мне остаться,
Тот советовал мне влюбиться,
Тот советовал мне расстаться.

А глаза у них были круглые,
Совершенно как у лещей.
И шатались они по комнатам,
Перетрогали сто вещей:

Лезли в стол, открывали ящики,
В кухне лопали со сковород.
Ах уж эти мне душеприказчики,
Что за странный они народ!

Лупоглазые, словно лещики,
Собирались они гурьбой,
И советовали мне советчики
И советовались между собой.

Ах вы, лещики, мои рыбочки,
Вы, пескарики-головли!
Ах спасибо вам, ах спасибочки,
Вы мне здорово помогли!

* * *

Вдруг обоймут большие шумы леса
И упадет к ногам кусок коры.
И февраля неистовая месса
На полнедели разведет хоры.

Такой зимы давно не выдавалось,
Подобной стужи не было давно,
Так широко и шумно не вздувалось
Деревьев грубошерстное рядно.

Давно и я не жил, забившись в угол,
Темно, как волопас или овчар.
И лишь в смешенье выдохов и гулов
Какое-то движенье различал.

Порой срывало провода с фаянса,
И нам светили печка и свеча.
Мой пес пространства дымного боялся
И в конуре ворочался рыча.

А лес, как бесконечный скорый поезд,
Летел, не удаляясь в темноту.
Я, наконец, со скоростью освоюсь,
В него вбегал, как в поезд на ходу.

И мы летели в страшном напряженье,
Почти непостижимые уму.
Но только гулом было то движенье
И устремленьем дерева во тьму.

ВЫЕЗД

Помню – папа еще молодой.
Помню выезд, какие-то сборы.
И извозчик – лихой, завитой.
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

А в Москве – допотопный трамвай,
Где прицепом старинная конка.
А над Екатерининским – грай.
Все впечаталось в память ребенка.

Помню – мама еще молода,
Улыбается нашим соседям.
И куда-то мы едем. Куда?
Ах, куда-то, зачем-то мы едем!

А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом – купола, купола.
И мы едем, все едем куда-то.

Звонко цокает кованый конь
О булыжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий,

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч. И пролетка крылата.
И мы едем, незнамо куда, –
Все мы едем и едем куда-то.

ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА

Еще я помню уличных гимнастов,
Шарманщиков, медведей и цыган,
И помню развеселый балаган
Петрушек голосистых и носатых.
У нас был двор квадратный. А над ним
Висело небо – в тучах или звездах.
В сарае у матрасника на козлах
Вились пружины, как железный дым.
Ириски продавали нам с лотка.
И жизнь была приятна и сладка...
И в той Москве, которой нет почти
И от которой лишь осталось чувство,
Про бедность и величие искусства
Я узнавал, наверно, лет с пяти.

Я б вас позвал с собой в мой старый дом...
(Шарманщики, петрушка – что за чудо!)
Но как припомню долгий путь оттуда –
Не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдем!..

ПУСТЫРЬ

Подвыпившие оркестранты,
Однообразный цок подков.
А мне казалось – там пространство,
За садом баронессы Корф.

Там были пустыри, бараки,
И под кладбищенской стеной
Храпели пыльные бродяги,
Не уходившие домой.

А кладбище цвело и пело
И было островом травы.
Туда бесчувственное тело
Везли под грузный вздох трубы.

Но дальше уходили трубы
Вдоль белокаменной стены,
И марши не казались грубы,
А вдохновенны и нежны.

Над белым куполом церковным
Вдруг поднималось воронье.
А дальше – в свете безгреховном
Пространство и небытие.

И светом странным и заветным
Меня пронизывал дотла
При звуках музыки посмертной
Осколок битого стекла.

НОЧНОЙ СТОРОЖ

В турбазе, недалеко от Тапы,
Был необычный ночной сторож.
Говорили, что ночью он пишет ноты
И в котельной играет на гобое.
Однажды мы с ним разговорились
О Глюке, о е и о Гайдне.
Сторож достал небольшой футлярчик
И показал мне гобой.
Гобой лежал, погруженный в бархат,
Разъятый на три неравные части,

Черный, лоснящийся и холеный,
Как воронье в серебряной сбруе.
Сторож соединил трубки,
И черное дерево инструмента
Отозвалось камергерскому блеску
Серебряных клапанов и регистров.
Я попросил сыграть. И сторож
Выдул с легкостью стеклодува
Несколько негромких пассажей...
Потом он встал в концертную позу
И заиграл легко, как маэстро,
Начало моцартовского квартета.
Но вдруг гобой задохнулся и пискнул.
И сторож небрежно сказал: «Довольно!»
Он не мог играть на гобое,
Потому что нутро у него отбито
И легкие обожжены Сибирью.
Он отдышался и закурил...
Вот почему ночной сторож
Играет по ночам в котельной,
А не в каком-нибудь скромном джазе
Где-нибудь в загородном ресторане.

Благодарите судьбу, поэты,
За то, что вам не нужно легких,
Чтоб дуть в мундштук гобоя и флейты,
Что вам не нужно беглости пальцев,
Чтоб не спотыкаться на фортепиано,
Что вам почти ничего не нужно, –
А все, что нужно,
Всегда при вас.

ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ

Фотографирует себя
С девицей, с другом и соседом,
С гармоникой, с велосипедом,
За ужином и за обедом,
Себя – за праздничным столом,
Себя – по окончанье школы,
На фоне дома и стены,
Забора, бора и собора,
Себя – на фоне скакуна,
Царь-пушки, башни, колоннады,
На фоне Пушкина – себя,
На фоне грота и фонтана,
Ворот, гробницы Тамерлана,
В компании и одного –
Себя, себя. А для чего?

Он пишет, бедный человек,
Свою историю простую,
Без замысла, почти впустую
Он запечатлевает век.

А сам живет на фоне звезд.
На фоне снега и дождей,
На фоне слов, на фоне страхов,
На фоне снов, на фоне ахов!
Ах! – миг один, – и нет его.
Запечатлел, потом – истлел
Тот самый, что неприхотливо
Посредством линз и негатива
Познать бессмертье захотел.
А он ведь жил на фоне звезд.

И сам был маленькой вселенной,
Божественной и совершенной!
Одно беда – был слишком прост!
И стал он капелькой дождя...

Кто научил его томиться,
К бессмертью громкому стремиться,
В бессмертье скромное входя?

ОПРАВДАНИЕ ГАМЛЕТА

Врут про Гамлета,
Что он нерешителен.
Он решителен, груб и умен.
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителем
И глядит в перископ времен.

Не помедлив стреляют злодеи
В сердце Лермонтова или Пушкина.
Не помедлив рубит гвардеец,
Образцовый, шикарный воин.
Не помедлив быют браконьеры,
Не жалея, что пуля пущена.

Гамлет медлит,
Глаза прищунив
И нацеливая клинок.

Гамлет медлит.
И этот миг
Удивителен и велик.

Миг молчания, страсти и опыта,
Водопада застывшего миг.
Миг всего, что отринуто, проклято.
И всего, что познал и постиг.

Ах, он знает, что там, за портьерой,
Ты, Полоний, плоский хитрец.
Гамлет медлит застывшей пантерой,
Ибо знает законы сердец,
Ибо знает причины и следствия,
Видит даль за ударом клинка,
Смерть Офелии, слабую месть ее, –
Все, что будет потом,
На века.

Бей же, Гамлет! Бей без промашки!
Не жалея загнивших кровей!
Быть – не быть – лепестки ромашки,
Бить так бить! Бей, не робей!
Не от злобы, не от угару,
Не со страху, унявши дрожь, –
Доверяй своему удару,
Даже

если
себя
убьешь!

* * *

Химера самосохраненья!
О, разве можно сохранить
Невыветренными каменья
И незапутанною нить!

Но ежели по чьей-то воле
Убережешься ты один
От ярости и алкоголя,
Рождающих холестерин;

От совести, от никотина,
От каверзы и от ружья, –
Ведь все равно невозвратима
Незамутненность бытия.

Но есть возвышенная старость,
Что грозно вызревает в нас,
И всю накопленную ярость
Приберегает про запас,

Что ждет назначенного срока
И вдруг отбрасывает щит.
И тычет в нас перстом пророка,
И хриплым голосом кричит.

ЧИТАЯ ФАНТАСТА

С. Л.

Что, если море – мыслящее существо,
А волны – это мысли моря,
И зыбкое зеленое стекло
Подвижная пронизывает воля?

Тогда мне страшен мудрый океан
И буйное его воображенье.
И что такое лютня, и кимвал,
И стон, и необузданное пенье?

Как страшно быть смятием земли,
Быть мозгом всеобъемлющим и диким,
Топить в себе мечты и корабли –
Быть океаном – Тихим и Великим!

ЗРЕЛОСТЬ

Приобретают остроту,
Как набирают высоту,
Дичают, матереют,
И где-то возле сорока
Вдруг прорывается строка,
И мысль становится легка.
А слово не стареет.

И поздней славы шепоток
Немного льстив, слегка жесток,
И, словно птичий коготок,
Царапает, не рая,
Осенней солнечной строкой
Приходит зрелость и покой,
Рассудка не туманя.

И платят позднею ценой:
«Ах, у него и чуб ржаной!
Ах, он и сам совсем иной,
Чем мы предполагали!»
Спасибо тем, кто нам мешал!
И счастье тем, кто сам решал, –
Кому не помогали!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВПОЛГОЛОСА

Ну вот, сыночек, спать пора,
Вокруг деревья потемнели.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
Закрой глаза. Вверху луна,
Как рог на свадьбе кахетинца.
Кричит, кричит ночная птица
До помрачения ума.

Усни скорее. Тополя
От ветра горько закрипели.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
Все засыпает. Из-под век
Взирают тусклые болотца.
Закуривает и смеется
Во тьме прохожий человек.

Березы, словно купола,
Видны в потемках еле-еле.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.

НА ДУНАЕ

О краткое очарованье
Плывущих мимо кораблей!
А после разочарованье
От бронзы бывших королей.

Сидят державные солдаты,
Как задремавшие орлы.
А корабли плывут куда-то,
Как освещенные балы.

Здесь варвары на земли Рима
Запечатлели свой набег.
Но все равно – плывущий мимо
Прекрасней ставшего на брег.

МОРЕ

Сначала только пальцем
Покатывало гальку
И плотно, словно панцирь,
Полнеба облегало,
Потом луна в барашках
Сверкала белым кварцем.
Потом пошло качаться.
И наконец выиграло.

Когда выиграло море,
Душа возликовала,
Душа возликовала
И неба захотела,
И захотела ветра,
И грома, и обвала.
А чем она владела –
Того ей было мало!..

Ночь соловьиною трель прокатывает в гортани.
В честь прекрасной Натальи соловьи поют
по-грузински.

Начинается бог знает что: хиромантия, волхвованье!
Зачарованы люди, кони, звезды. Даже редактор,
Хлюпяя носом, платок нашаривает в кармане,
Потому что еще никогда не встречался с подобным
фактом.

Плачет редактор. За ним расплакался цензор.
Плачет директор издательства
и все его консультанты.

«Зачем я его правил! Зачем я его резал!
Что он делает с нами! Ах, Ильдефонс-Константы!»

Константы их утешает: «Ну что распустили нюни!
Ничего не случилось. И вообще ничего не случится!
Просто бушуют в кустах соловьи в начале июня.
Как они чисто поют! Послушайте: ах, как чисто!»

Ильдефонс забирает гитару, обнимает Наталью,
И уходит сквозь сиреневый куст, и про себя судачит:
«Это все соловьи. Вишь, какие канальи!
Плачут, черт побери. Хотят – не хотят, а плачут!...»

ВЕТРЕНЬИЙ ВЕЧЕР

Взлетает пернатая птица,
И ветер пернатый щебечет,
Пернатое дерево мчитя
И перья горячие мечет.

И ветер снимается с места
И наискось мчит к небосклону.
Как огненный кочет с насеста,
Слетают багряные клены.

Слетают багровые тучи,
Взлетают лиловые дымы.
Предметы легки и летучи,
Свистящи и неудержимы...

ВЕСЕННИЙ ГРОМ

За горой открывается Павшино,
А оттуда – по левой руке –
Стоэтажно, победно и башенно
Встало облако невдалеке.

Так высоко оно и расправлено
И такая в нем гордая стать,
Что роскошную оду Державина
Начинаешь невольно читать.

И на облачном светлом нагории
Поднимаются, полные сил,
Алексеи, Платоны, Григории
В белизне полотна и лосин,

Чтоб с громами зелеными, юными
Сдвинуть чары курчавых пиров
И злещеными грянуть перунами
По листве красногорских дубров.

* * *

Был ливень. И вызвездил крону.
А по иссякании вод,
Подобно огромному клену,
Вверху замерцал небосвод.

Вкруг дерева ночи чернейшей
Легла золотая стезя.
И – молнии в мокрой черешне –
Глаза.

КОНЕЦ ПУГАЧЕВА

Вьются тучи, как знамена,
Небо – цвета кумача.
Мчится конная колонна
Бить Емельку Пугача.

А Емелька, царь Емелька,
Страхолюдина-бандит,
Бородатый, пьяный в стельку,
В чистой горнице сидит.

Говорит: «У всех достану
Требушину из пупа.
Одного губить не стану
Православного попа.

Ну-ка, батя, сядь-ка в хате,
Кружку браги раздави.
И мои степные рати
В правый бой благослови...»

Поп ему: «Послушай, сыне!
По степям копытный звон.
Слушай, сыне, ты отныне
На погибель обречен...»

Как поднялся царь Емеля:
«Гей вы, бражники-друзья!
Или силой оскудели,
Мои князи и графья?»

Как он гаркнул: «Где вы, князи?!»
Как ударил кулаком,
Конь всхрапнул у коновязи
Под ковровым черпаком.

Как прощался он с Устиньей,
Как коснулся алых губ,
Разорвал он ворот синий
И заплакал, душегуб.

«Ты зови меня Емелькой,
Не зови меня Петром.
Был, мужик, я птахой мелкой,
Возмечтал парить орлом.

Предадут меня сегодня,
Слава богу — предадут.
Быть (на это власть Господня!)
Государем не дадут...»

Как его бояре встали
От тесового стола.
«Ну, вяжи его, — сказали, —
Снова наша не взяла.»

ПЕСТЕЛЬ, ПОЭТ И АННА

Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.

А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем».
Он думал: «И, конечно, расцветет
Его талант, при должном направленье,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленье».
– Позвольте мне чубук, я закурю.
– Пожалуйте огня.
– Благодарю.

А Пушкин думал: «Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для Брутов слишком круты.
И не из Брутов ли Наполеон?»

Шел разговор о равенстве сословий.
– Как всех равнять? Народы так бедны, –
Заметил Пушкин, – что и в наши дни
Для равенства достойных нет условий.
И посему дворянства назначенье –
Хранить народа честь и просвещенье.
– О да, – ответил Пестель, – если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.

– Увы, – ответил Пушкин, – тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...

– Мужичкий бунт бессмыслен... –

За окном

Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!»

– Но, не борясь, мы потакаем злу, –
Заметил Пестель, – бережем тиранство.
– Ах, русское тиранство – дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу, –
Ответил Пушкин.

«Что за резвый ум, –
Подумал Пестель, – столько наблюдений
И мало основательных идей».
– Но тупость рабства сокрушает гений!
– В политике кто гений – тот злодей, –
Ответил Пушкин.

Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе, и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти.

Заговорили о любви.

– Она, –

Заметил Пушкин, – с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена. –
Тут Пестель улыбнулся.

– Я душой

Матерьялист, но протестует разум. –
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»

Они простились. Пестель уходил
По улице разъезженной и грязной,
И Александр, разнеженный и праздный,
Рассеянно в окно за ним следил.
Шел русский Брут. Глядел во след ему
Российский гений с грустью без причины.

Деревья, как зеленые кувшины,
Хранили утра хлад и синеву.
Он эту фразу записал в дневник –
О разуме и сердце. Лоб наморщив,
Сказал себе: «Он тоже заговорщик.
И некуда податься, кроме них».

В соседний двор вползла каруца цугом,
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвой.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.
Он вновь услышал – распевает Анна.
И задохнулся:
«Анна! Боже мой!»

СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Вот сюда везли жандармы
Тело Пушкина (О, милость
Государя!). Чтоб скорей,
Чтоб скорей соединилось
Тело Пушкина с душой
И навек угомонилось.

Здесь, совсем недалеко
От Михайловского сада,
Мертвым быть ему легко,
Ибо жить нигде не надо.
Слава Богу, что конец
Императорской приязни
И что можно без боязни
Ждать иных, грядущих дней.
Здесь, совсем недалеко
От Михайловского дома,
Знать, что время невесомо,
А земля всего родней, –
Здесь, совсем невдалеке
От заснеженной поляны,
От Тригорского и Анны,
От мгновенья Анны Керн;
Здесь – на шаг от злой судьбы,
От легенд о счастье мнимом,
И от кухни, полной дымом,
И от девичьей избы.

Ах, он мыслил об ином,
И тесна казалась клетка...
Смерть! Одна ты домоседка

Со своим веретеном!
Вот сюда везли жандармы
Тело Пушкина... Ну что ж!
Пусть нам служит утешеньем
После выплывшая ложь,
Что его пленяла ширь,
Что изгнанье не томило...
Здесь опала. Здесь могила.
Святогорский монастырь.

РОЖДЕСТВО АЛЕКСАНДРА БЛОКА

В тумане старые дворцы
Хирели,
Красногвардейские костры
Горели.
Он вновь увидел на мосту
И ангела, и высоту.
Он вновь услышал чистоту
Свирели.

Не музыка военных флейт,
Не звездный отблеск эполет,
Не падший ангел, в кабарет
Влетевший – сбросить перья...
Он видел ангела, звезду,
Он слышал флейту, и на льду
Невы он видел полынью
Рождественской купелью.

Да, странным было для него
То ледяное рождество,

Когда солдатские костры
Всю ночь во тьме не гасли.
Он не хотел ни слов, ни встреч,
Немела речь,
Не грела печь,
Студеный ветер продувал
Евангельские ясли.

Волхвы, забившись в закутки,
Сидели, кутаясь в платки, –
Пережидали хаос.
И взглядывали из-за штор,
Как полыхал ночной костер,
Как пламя кольхалось.

«Волхвы! Я понимаю вас,
Как трудно в этот грозный час
Хранить свои богатства,
Когда веселый бунтовщик
К вам в двери всовывает штык
Во имя власти и земли,
Республики и братства.

Дары искусства и наук,
Сибирских руд, сердечных мук,
Ума и совести недуг –
Вы этим всем владели.
Но это все не навсегда.
Есть только ангел и звезда,
Пустые ясли и напев
Той, ледяной свирели.

Увы! Мы были хороши,
Когда свершался бунт души,
Росли богатства духа.

Сегодня нам отдать их жаль,
Когда возмездья просит сталь
И выстрел ветреную даль
Простегивает глухо!»

Да, странным было для него
То ледяное рождество
Семнадцатого года.
Он шел и что-то вспоминал,
А ветер на мосту стенал,
И ангел в небе распевал:
«Да здравствует свобода!»

На мосте грелись мужики,
Веселые бунтовщики.
Их тени были велики.
И уходили патрули
Вершить большое дело.
Звезда сияла. И во мгле
Вдали тревогу пел сигнал.
А рядом «Интернационал»
Свирель тревожно пела.

Шагал патруль. Вот так же шли
В ту ночь седые пастухи
За ангелом и за звездой,
Твердя чужое имя.
Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солому ветер греб
Над яслями пустыми.

Полз броневик. Потом солдат
Угрюмо спрашивал мандат.
Куда-то прошагал отряд.

В котле еда дымилась.
На город с юга шла метель.
Замолкли ангел и свирель.
Снег запорошивал купель.
Потом звезда затмилась...

СМЕРТЬ ПОЭТА

*Что ж ты заводишь
Песню воетку,
Флейте подобно,
Милый снегирь?*

Державин

Я не знал в этот вечер в деревне,
Об успении Анны Андревны,
Но меня одолела тоска.
Деревянные дудки скворешен
Распевали. И месяц навешен
Был на голые ветки леска.

Провода электрички чертили
В небесах невесомые кубы.
А ее уже славой почтили
Не колонные залы и клубы,
А лесов деревянные трубы,
Деревянные дудки скворешен.
Потому я и был безутешен,
Хоть в тот вечер не думал о ней.

Это было предчувствием боли,
Как бывает у птиц и зверей.

Просыревшей тропинкою в поле,
Меж сугробами, в странном уборе
Шла старуха всех смертных старей.
Шла старуха в каком-то капоте,
Что свисал, как два ветких крыла.
Я спросил ее: «Как вы живете?»
А она мне: «Уже отжила...»

В этот вечер ветрами отпето
Было дивное дело поэта.
И мне чудилось пенье и звон.
В этот вечер мне чудились в лесе
Красота похоронных процессий
И торжественный шум похорон.

С Шереметьевского аэродрома
Доносилось подобие грома.
Рядом пели деревья земли:
«Мы ее берегли от удачи,
От успеха, богатства и славы,
Мы, земные деревья и травы,
От всего мы ее берегли».

И не ведал я, было ли это
Отпеванием времени года,
Воспеваньем страны и народа
Или просто кончиной поэта.
Ведь еще не успели стихи,
Те, которыми нас одаряли,
Стать гневливой волною в Дарьяле
Или ветром в молдавской степи.

Стать туманом, птицей, звездой,
Иль в степи полосатой верстою
Суждено не любому из нас.

Стихотворства тяжелое бремя
Прославляет стоустое время.
Но за это почтут не сейчас.

Ведь она за свое воплощенье
В снегиря царскосельского сада
Десять раз заплатила сполна.
Ведь за это пройти было надо
Все ступени беззвучного ада,
Чтоб себя превратить в певуна.

Все на свете рождается в муке –
И деревья, и птицы, и звуки.
И Кавказ. И Урал. И Сибирь.
И поэта смежаются веки.
И еще не очнулся на ветке
Зоревой царскосельский снегирь.

* * *

Листвой наполнены деревья,
Деревьями наполнен сад,
А где-то в высшем измеренье
Садами полнится закат.

Но так бывает слишком редко
И если сильно повезет,
Чтоб смыслы высшего порядка
Загромождали горизонт.

А чаще нерадивый кравчий
Не льет нам чашу доплна...
И тщетно бьется лист, приставший
К стеклу туманного окна.

* * *

А. А.

Я вышел ночью на Ордынку.
Играла скрипка под сурдинку.
Откуда скрипка в этот час –
Далеко за полночь, далеко
От запада и до востока –
Откуда музыка у нас?

С ЭСТРАДЫ

Вот я перед вами стою. Я один.
Вы ждете какого-то слова и знания,
А может – забавы. Мол, мы поглядим,
Здесь львиная мощь или прыть обезьянья.

А я перед вами гол как сокол.
И нет у меня ни ключа, ни отмычки.
И нету рецепта от бед и от зол.
Стою перед вами, как в анатомичке.

Учитесь на мне. Изучайте на мне
Свои неудачи, удачи, тревоги.
Ведь мы же не клоуны,
но мы и не боги.
И редко случается быть на коне!

Вот я перед вами стою. Я один.
Не жду одобрения или награды.
Стою у опасного края эстрады,
У края, который непереходим.

* * *

Я рано встал. Не подумав,
Пошел, куда повели,
Не слушая вещей шумов
И гулов своей земли.

Я был веселый и странный,
Кипящий и ледяной,
Готовый и к чести бранной,
И к слабой славе земной.

Не ведающий лукавства,
Доверчивый ко словам,
Плутал я – не заплутался,
Ломал себя – не сломал.

Тогда началась работа
Характера и ума,
Восторг, и пот, и ломота,
Бессонница, и луна.

И мўка простого помола
Под тяжким, как жернов, пером,
И возле длинного мола –
Волны зеленой излом...

И солоно все, и круто,
И грубо стало во мне.
И даже счастья минута.
И ночь. И звезды в окне.

ЗИМА НАСТАЛА

В первую неделю
Остекленели
Глаза воды.
Во вторую неделю
Закоченели
Плечи земли.
В третью неделю
Загудели
Метели
Зимы.

В первую неделю
Я духом пал.
Во вторую неделю
Я чуда ждал.
А в третью неделю,
Как снег упал,
Хорошо мне стало.
Зима настала.

* * *

То осень птицы легче
Опустится на плечи
Осиновым листом...
Но это все потом.

И графика пейзажей,
Изображенных сажей
На воздухе пустом...
Но это все потом.

А что было вначале?
Какие-то печали,
Вошедшие в мой дом...
Нет! Это все потом!

* * *

Вновь стою пред лицом событий,
Перед морем, сушей и твердью,
Целый день, как гений в зените,
Полон пламени и бессмертья.

Потому что чувства бессмертны,
И когда истлевают цели,
Стая чувств, шумна и несметна,
Как в скале, гнездуются в теле.

* * *

Таллин – тайное обиталище,
Год сегодняшний, год вчерашний.
Снег летящий, медленно тающий
Над деревьями и над башней.

Таллин – временное прибежище,
Молчаливый и стерегущий.
День, за окнами тихо брезжащий –
День прошедший и день грядущий.

Таллин – тайное обиталище,
Год минувший и год прошедший.

Поезд, медленно подъезжающий,
Поезд, медленно отошедший.

Таллин – временное прибежище,
Сонный снег, смежающий веки...
Вопрошающий – где же? Где ж еще?
Неужели – совсем? Навеки?

* * *

Похожи – стремленьем к разлукам,
Бессильем и силой похожи.
Сердечным разбуженный стуком,
О Боже, твержу я, о Боже!

Как странно и как совершенно
С тобою мы созданы оба.
Прошедшее наше – блаженно,
Блаженно, а может – убого?

В том парке, что черным на белом
Углем на снегу нарисован,
А может, на грифеле – мелом,
На белой бумаге – свинцовым.

В том парке, который впечатан
В меня узловатым офортом,
В том городе узком, стрельчатом
И оловом серым натертом,

В том городе – только прощанье
И запах горючего сланца.

Счастливы мы или печальны?
Как знать? И откуда дознаться?

* * *

Будь счастлив, сын, мечтой о лете
В дни снегопада, в феврале,
Покуда снег, как лебедь к Леде,
Слетает медленно к земле.

Будь счастлив, сын, мечтой о юге,
В час серой скуки зимним днем,
Когда туман бинтует руки
Садов белесым полотном.

Будь счастлив, сын, мечтой о море
В глуши февральского житья,
Где сгинут снег, туман и горе
И будет море, ты и я.

* * *

Скрежещет ветка о стекло,
Когда на сердце тяжело,
Иначе я ее не слышу.
Все чаще слышу этот скрип
И ветра стон, деревьев всхлип,
И дождь, топчущий о крышу.

Как хорошо, когда одну
В себе звучащую струну
Ты неизменно ощущаешь.
И где-то дальнюю войну,

Суда, идущие ко дну,
И гром, и смерть, и тишину
В себе самом ты замечаешь.

Но ежели ты болен сам,
То всем вселенским голосам
Твой слух открыт. И где защита?
И бури стонут по лесам,
Гуляет гром по небесам.
И этим страшным голосам
Твое безумие открыто.

* * *

Выстраивается столетье
Почти что на глазах.
С его последней третью
Бывал я не в ладах.

С его последней сутью
Почти что я в ладу.
В него с размаху грудью
Однажды упаду.

БЕРЕГ МЕРТВЫХ

Поплывем с тобой
На белом, белом, белом
Теплоходе,
По реке большой, большой,
Станем мы единым телом
И одной душой.

Потому что та река большая
Нам чужая,
Всем чужая –
Та река богов,
Медленно течет,
Не утешая,
Вдоль пустынных берегов.

И на тех, на берегах пустынных
Нет растений,
Птицы не живут,
Там лишь бродят, бродят, бродят
Чьи-то тени
И кого-то издали зовут.

Там я видел и отца и друга,
И отца и друга,
Сына и жену,
Там я видел отдаленность луга,
Даль и тишину.

Я хочу спуститься с теплохода,
В тусклом свете полдня
К ним направить челн
И бродить меж ними
Год от года –
Ничего не помня
И не зная ни о чем.

РОМАНТИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Дремлет в будке пес-собакин,
Дремлет в будке и сопит.
А Матвей Петрович Хрякин
У себя в постели спит.

У себя, с гулящей бабой,
Спит Матвей и хоть бы хны.
В это время ангел слабый
Сочиняет ему сны.

Сны Матвея слишком хрупки.
Он не может их понять.
В нем какие-то голубки
Не устали ворковать.

Но Матвей ружье хватает
И, прицелившись, – ба-бах! –
Ангел с неба упадает
С нежной пеной на губах.

Пес-собакин, хрипло воя,
Горло голубя грызет.
Тело ангела живое
Испаряется, как лед.

И кричит в тумане тополь
Ломким голосом ветвей:
– Что ж ты ангела ухлопал,
Что наделал ты, Матвей!

Ты небесное создание
Меткой пулей уложил
Лишь за то, что в подсознание
Он твоим безгрешно жил! –

Баба Хрякина проснулась,
На его взглянула лик
И мгновенно ужаснулась,
Так он страшен был и дик.

Он лежал лохмат, как битник,
Лоб его пылал огнем...
И висел, как белый бинтик,
Мертвый ангел за окном.

Волна и камень
1970–1974

* * *

В воздухе есть напряженье
Солнечной грубой зимы.
Может быть, это – бесснежье
Остро почувляли мы.

То, что замыслено где-то,
Осуществляется в нас:
Перемещение света
И уплотнение масс.

Наши бессмертные души
Зреют не в нас, а вовне.
И, загораясь снаружи,
Перегорают во мне.

* * *

Возвращенье от Анны,
Возвращенье ко мне.
Отпадение от камня,
Восхождение к волне.

До свидания, память,
До свиданья, война,

До свидания, камень,
И да будет волна!

Память – смертным отрада,
Камень – мертвым почет.
А благая прохлада
Пусть течет и течет.

До свидания, слава.
До свиданья, беда.
Ведь с волной нету слада,
И она – навсегда.

Память, память, ты – камень,
Ты под стать валуну.
Все равно мы не канем,
Погрузившись в волну.

До свиданья, Державин
И его времена.
До свидания, камень,
И да будет волна!

Нет! Отнюдь не забвенье,
А прозрение в даль.
И другое волнение,
И другая печаль.

И другое сверканье,
И сиянье без дна...
До свидания, камень!
И да будет волна!

ПЯТЕРО

Жили пятеро поэтов
В предвоенную весну,
Неизвестных, незапетых,
Сочинявших про войну.

То, что в песне было словом,
Стало верною судьбой.
Первый сгинул под Ростовом,
А второй – в степи сырой.

Но потворствует удачам
Слово – солнечный кристалл.
Третий стал, чем быть назначен,
А четвертый – тем, чем стал.

Слово – заговор проклятый!
Всё-то нам накликал стих...
И оплакивает пятый
Участь этих четверых.

ПРИ ДОЖДЕ

О, так это или иначе,
По чьей неизвестно вине,
Но музыка старой удачи
Откуда-то слышится мне.

Я так ее явственно слышу,
Как в детстве, задувши свечу,
Я слышал, как дождик о крышу
Играет все то, что хочу.

Такое бывало на даче
За лето по нескольку раз.
Но музыку старой удачи
Зачем-то я слышу сейчас.

Все тот же полуночный дождик
Играет мне, что б ни просил,
Как неугомимый художник
В расцвете таланта и сил.

* * *

И осень, которая вдруг началась
Прилежно,
Меня веселит на сей раз
И тешит.
Она мне настолько мила,
Что надо
На время оставить дела
Земные...
Шататься и скуки не знать
Осенней.
Да кто это вздумал пенять
На скуку!
Ленивы мы думать о том,
Что, может,
Последняя осень последним листом
Тревожит.

* * *

С постепенной утратой зренья
Всё мне видится обобщенней.
На сугробы и на деревья
Свет ложится потусторонний.

Слабый снег сочится как мушка,
Упадает и голубеет.
Так мне видится, потому что
Постепенно зренье слабеет.

Вместе с тем не могу не похвастать,
Что острее зрение духа.
Только ночь надо мной глазаста.
Путь лежит ледяно и сухо.

Путь лежит ледяно и сухо.
Ночь стоит высоко и звездно.
Не склоняй доверчиво слуха
К прозревающим слишком поздно.

* * *

Хочу, чтобы мои сыны
и их друзья
несли мой гроб
в прекрасный праздник погребенья.
Чтобы на их плечах
сосновая ладья
плыла неспешно,
но без промедленья.

Я буду горд и счастлив
в этот миг
переселенья в землю,
что слуха мне не ранит
скорбный крик,
что только небу
внемлю.

Как жаль, что не услышу тех похвал,
и музыки,
и пенья!
Ну что же!
Разве я существовал
в свой день рожденья!

И все ж хочу,
чтоб музыка лилась,
ведь только дважды дух ликует:
когда еще не существует нас,
когда уже не существует.

И буду я лежать
с улыбкой мертвеца
и неподвластный
всем недугам.
И два беспаятства –
начала и конца –
меня обнимут
музыкальным кругом.

ЗАДРАВНАЯ ПЕСНЯ

Забудем заботы о хлебе,
Хлебнув молодого вина.
Вспомним заботы о небе,
Где плавает в тучах луна.

Забудем заботы о доме
За этим веселым вином,
Вспомним заботы о громе,
О ливне, о ветре ночном.

Забудем заботы о детях,
Об их беспричинных слезах.
Вспомним заботы об этих
Осиных в осипших лесах.

КУПАЛЬЩИЦА

М. К.

Когда бежит через лиловый полдень
Купальщица, ее волнистый бег
Невольным обещанием исполнен
Беспечных радостей и сладких нег.

И вот она уже вступает в волны
И исчезает вдалеке. Она –
Почти как речь поэзии условна
И как язык печали солона.

РАССВЕТ

Светало. Воздух был глубок.
Вблизи долина, словно заводь.
А там, где должен быть восток,
Два облака учились плавать.

И постепенно, без болей,
Ночь умирала за домами –
Посередине тополей,
Потом – вверху, потом – над нами.

* * *

Там дуб в богатырские трубы
Играет на сильном холме.
Но светлые, тихие трубы
Звучат на душе и в уме.

И слиться с землею и небом
Мечтает беспечный артист,
С закатом, где тополь над берегом
Так легок, летуч и ветвист.

Какое прекрасное свойство –
Уметь отрешиться от зла,
Бродить, постигая устройство
Пространства, души, ремесла!

Слияния легкая тризна!
Дубы замолкают тогда.
И грозные трубы отчизна
Сменяет на флейту дрозда.

* * *

Не мысль, не слово, – а под снегом,
Подобный напряженным слегам,
Отяжелевший вечный смысл
Повелевает мне: – Проснись!

И странно: в ясности речений
Какая-то есть пустота.
И может только свет вечерний
Заполнить общие места.

И трудно спать перед закатом
И просыпаться в странный час,
Когда над снегом розоватым
Березы высятся, светясь.

* * *

Когда с досадой и печалью
Я слух нарочно отворачиваю
От тех, кто жалуется мне, –
Простор и снег в моем окне.

И преданности безотчетной
Я полон сумрачной зиме,
Где притулился
Неотлетный
Снегирь на голой бузине.

ЗИМНИЕ ПТИЦЫ

Задувает снегодуй,
Завевает вьюговей,
Запеваает свистопляс –
Ледовитый соловей.

Воет, воет – вью да вью! –
Вьюга, как пустой горшок.
Подпеваает соловью
Снеговитый петушок.

Режет так, что прячь лицо,
Но такая благодать!..
Вьюга катит колесо,
А куда – не угадать.

* * *

Л. Ч.

Полночь под Иван-Купала.
Фронта дальние костры.
Очень рано рассветало.
В хате жили две сестры.

Младшая была красотка,
С ней бы было веселей,
Старшая глядела кротко,
Оттого была милей.

Диким клевером и мятой
Пахнул сонный сеновал.
На траве, еще не мятой,
Я ее поцеловал.

И потом глядел счастливый,
Как светлели небеса,
Рядом с этой, некрасивой, –
Только губы и глаза...

Только слово: «До свиданья!» –
С легкой грустью произнес.
И короткое рыданье
С легкой грустью перенес.

И пошел, куда не зная,
С автоматом у плеча,
«Белоруссия родная!..» –
Громким голосом крича.

* * *

Я ехал по хólмам Богемии,
Где хмель зеленел вдоль шоссе,
И слушал, что хмеля цветение
Моей говорило душе.

Та почва тяжелая, красная
И хмеля зеленый дымок
Тогда говорили про разное,
Про то, что понять я не мог.

Я ехал по хólмам Богемии,
Вкушая движенье и цвет,
И был я намного блаженнее
В неведенье будущих бед.

* * *

Березы, осины да елки –
Простой подмосковный пейзаж.
Художник в татарской мурмолке
Весенний открыл вернисаж.

Художник, немного раскосый,
С татарской раскладкою скул,
Дымит и дымит папиросой
И слушает внутренний гул.

Из гула рождаются краски,
Из звука является цвет.
Природа плетет без развязки
Один бесконечный сюжет.

Но надо включить его в раму,
И это искусства залог,
Когда бесконечную драму
Врубают в один эпилог.

БЕРЕЗНЯК

Так березняк беспечен, словно он
К российским бедам не причастен,
Воронами от зла заговорен
И над своей судьбой свободно властен.

Роскошный иней украшает лес.
Еще светлей березовая роща.
Как будто псковичи с резных крылец
Сошли на вечерую площадь.

Ах, это вече! Русская мечта,
Похищенная из ганзейских вотчин!
Перед бесчинством царского меча
Как колокол березовый непрочен.

И наша деревенская судьба,
Еще не став судьбою городскою,
Одним нас наградила навсегда –
Серебряной березовой мечтою!..

О жаркая, о снежная березка!
Мое поленце, веничек и розга!..

СТИХИ И ПРОЗА

Мужицкий бунт – начало русской прозы.
Не Свифтов смех, не Вертеровы слезы,
А заячий тулупчик Пугача,
Насильно снятый с барского плеча.

Мужик бунтует против всех основ,
Опровергая кесаря и Бога.
Немая Русь, обильна и убога,
Упрямо ищет сокровенных слов.

И в русской прозе отреченный граф
С огромной силой понял суть боренья:
Что вера без любви – одно смирение,
А при любви – отстаиванье прав...

Российский стих – гражданственность сама.
Восторг ума, сознание пользы высшей!

И ямбов ломоносовских грома
Закованы в броню четверостиший.

А в Пушкине все соединено –
Век чайный и грез и наши лета,
Свобода летописца, честь поэта,
И прозы соль, и грозное вино.

Гражданский стих!... Года бегут, бегут...
И время нас стихам и прозе учит...
И сочинителей российских мучит
Сознание пользы и мужицкий бунт.

* * *

Тоски ледяной гребешок
Штакетником частым отстукан.
Как черт я упрятан в мешок,
Назло современным наукам.

Ведь все из проклятых наук,
Известных с времен Гостомысла,
Гласили, что слово есть звук,
Исполненный здравого смысла.

Но вся сумасшедшая суть
Названий березы и дуба,
Рогами уставившись в грудь,
Бодает тоску словолюба.

СТАРЫЙ САД

Забор крапивою зарос,
Но, несмотря на весь разор,
Необычайно свеж рассол
Настоянных на росах зорь.

Здесь был когда-то барский сад,
Где молодой славянофил
Следил, как закипает таз
Варенья из лиловых слив.

Он рассуждал: «Недаром нить
Времен у нас еще крепка».
И отпирал старинный шкаф,
Где красовался Ламартин.

Читал. Под деревенский гул
Вдруг засыпал. Чадил ночник.
И долго слышен был чекан
Кузнечика в ночном лугу.

* * *

Кончался август.
Примолкнул лес.
Стозвездный Аргус
Глядел с небес.

А на рассвете
В пустых полях
Усатый ветер
Гулял, как лях.

Еще чуть светел
Вдали рассвет...
Гуляет ветер,
Гуляет Фет.

Среди владений
И по лесам
Последний гений
Гуляет сам.

Не близок полдень,
Далек закат.
А он свободен
От всех пляяд...

* * *

А. Я.

... И тогда узнаешь вдруг,
Как звучит родное слово.
Ведь оно не смысл и звук,
А утók пережитого,
Колыбельная основа
Наших радостей и мук.

ПОДРАЖАНИЕ ФЕОКРИТУ

Песню запойте для нас, милые Музы!
Лепит понтийский закат тень на вершине.
Воздухом нежной зимы пахнут арбузы,
Медом осенней зари – спелые дыни.

Песню запойте для нас, милые Музы!
В час, когда примет волна цвет апельсина,
В час, когда к козьей тропе выйдут Отузы,
Песню запойте для нас кратко и сильно.

Песню запойте для нас, милые Музы!
Медь ядовитых высот солнце чеканит.
Вместе с вечерней зарей сбросим обузы,
Все, что тревожило нас, в вечности канет.

Но еще видно, как там, на перевале,
Вывесил цепкий кизил алые бусы.
Вспомните, как в старину вы нам певали,
Песню запойте для нас, милые Музы!

СВОБОДНЫЙ СТИХ

В третьем тысячелетье
Автор повести
О позднем Предхиросимье
Позволит себе для спрессовки сюжета
Небольшие сдвиги во времени –
Лет на сто или на двести.

В его повести
Пушкин
Поедет во дворец
В серебристом автомобиле
С крепостным шофером Савельичем.

За креслом Петра Великого
Будет стоять
Седой арап Ганнибал –
Негатив постаревшего Пушкина.

Царь в лиловом кафтане
С брызнувшим из рукава
Голландским кружевом
Примет поэта, чтобы дать направление
Образу бунтовщика Пугачева.
Он предложит Пушкину
Виски с содовой,
И тот не откажется,
Несмотря на покашливание
Старого эфиопа.

– Что же ты, мин херц? –
Скажет царь,
Пяля рыжий зрачок
И подергивая левой щекой.
– Вот мое последнее творение,
Государь, –
И Пушкин протянет Петру
Стихи, начинающиеся словами
«На берегу пустынных волн...».

Скажет царь,
Пробежав начало,
– Пишешь недурно,
Ведешь себя дурно. –
И, снова прицелив в поэта рыжий зрачок,
Добавит: – Ужо тебе!..

Он отпустит Пушкина жестом,
И тот, курчавясь, выскочит из кабинета
И легко пролетит
По паркетам смежного зала,
Чуть кивнувши Дантесу,
Дежурному офицеру.

– Шаркуны, ваше величество, –
Гортанно произнесет эфиоп
Вслед белокурому внуку
И вдруг улыбнется,
Показывая крепкие зубы
Цвета слоновой кости.

Читатели третьего тысячелетия
Откроют повесть
С тем же отрешенным вниманием,
С каким мы
Рассматриваем евангельские сюжеты
Мастеров Возрождения,
Где за плечами гладковолосых мадонн
В итальянских окнах
Открываются тосканские рощи,
А святой Иосиф
Придерживает стареющей рукой
Вечереющие складки флорентинского плаща.

АННА ЯРОСЛАВНА

Как тебе живется, королева Анна,
В той земле, во Франции чужой?
Неужели от родного стана
Отлепилась ты душой?

Как живется, Анна Ярославна,
В теплых странах?..

А у нас – зима.

В Киеве у нас настолько славно,
Храмы убраны и терема!

Там у вас загадочные дуют
Ветры
с моря-океана вдоль земли.
И за что там герцоги воюют?
И о чем пекутся короли?

Каково тебе в продутых залах,
Где хозяин редок, словно гость,
Где собаки у младенцев малых
Отбирают турью кость?

Там мечи, и панцири, и шкуры:
Войны и охоты – все одно.
Там под вечер хлещут трубадуры
Авиньонское вино...

Ты полночи мечешься в постели,
Просыпаясь со слезой...
Хорошо ли быть на самом деле
Королевой Франции чужой?

Храмы там суровы и стрельчатые,
В них святые – каменная рать.
Своевольны лысые прелаты.
А до Бога не достать!

Хорошо почувствовать на ощупь,
Как тепла медовая свеча!..
Девушки в Днепре белье полощут
И кричат по-русски,
хохоча.

Здесь, за тыщей рек, лесов, распутиц,
Хорошо, просторно на дворе...
Девушки, как стаи белых утиц,
Скатерти полощут во Днепре.

СОЛДАТ И МАРТА

*Первую брачную ночь Марта
и драгун Рааб провели в доме
пастора Глюка.*

Из «Разысканий об императрице
Екатерине Первой»,
т. 1, с. 86

О н. Любимая, не говори,
Что надо нам прощаться!
Пускай до утренней зари
Продлится наше счастье!..

О н а. Драгун! Драгун! Ведь завтра бой,
Нам суждены печали.
Не на разлуку ль нас с тобой
Сегодня обвенчали?..

Он. Любимая! Не говори!
Нам суждено прощаться!
Но пусть до утренней зари
Продлится это счастье!..
.....
И грянул бой. И обречен
Был город. Град чугунный
Низвергся. Рядом с трубачом
Упал воитель юный.

Его латали лекаря.
И он узнал от друга,
Что слух идет: мол, у царя
Живет его супруга.

Там купола, как янтари
Над старою Московою...

.....

О н. Любимая! Не говори!
Вот я перед тобою...

О н а. Зачем здесь этот инвалид,
Игрушка чьих-то козней!
Беги! Не то тебя велит
Убить супруг мой грозный!

О н. Любимая! Не говори!
Как разошлись дороги!..
Спокойно властвуй и цари!..

И он упал ей в ноги.

О н а. Деньгу солдату! Пусть он пьет!
Не знает сам, что мелет!
Гляди, коли Великий Петр
Словам твоим поверит!..

О н. Любимая! Не говори!
Уже настало утро!
И поскорей умри, умри,
Та ночь Мариенбурга!

О н а. Да, поскорей умри, та ночь!
Умри то утро боя!
Солдат, ступай отсюда прочь, –
Я не была с тобою.
Ступай, ступай, хромой драгун,
И обо мне – ни звука!
Забудь про то, что ты был юн,
Про свадьбу в доме Глюка.
И пей, хоть день, хоть два, хоть три –
Хоть до скончанья света!..

О н. Любимая! Не говори!
Не говори про это!..

СКОМОРОШИНА

Поводырь ведет слепого,
Любопытного такого.

– Что там, что там, поводырь?
– Это город Алатырь.

– Почему ж не слышен город?
– В этом городе был голод.

А потом повальный мор.
Целый город перемер.

Идут лесом и болотом.
А незрячий: – Что там, что там?

Надоел поводырю.

– Что молчишь, горбатый?

– Зрю.

– Что там?

– Девка молодая.

– Каковая?

– Таковая:

Губошлеписта, толста.

– Сколько лет-то ей?

– С полста.

– Ах ты, зрячий, сын собачий!..

Что там, что там пахнет клячей?

– Ехал с ярмарки цыган,

Дурака с собой тягал.

Под ракитой опростался,

А дурак со мной остался...

Так бредут слепой с горбатым.

За леса свалился день.

И под месяцем рогатым:

– Что там, что там? – Бор? Пень?

* * *

В августе, когда заголубли

Окна, словно сонные глаза,

Закричал младенец в колыбели,

Но не пролилась его слеза.

Мать легко, разбуженная плачем,
Сон с ресниц стряхнула, как песок,
И склонила голову над младшим,
И младенцу подала сосок...

* * *

Распутица. Разъезжено. Размято.
На десять дней в природу входа нет.
Лишь перелесков утренняя мята
Студит во рту. Преобладает свет.
Свет беспощадный, ярый свет весны,
Скрыватель тайн с морщинок и веснушек,
Припухших век, очей полужаснувших,
С болезненной и страстной желтизны.
Свет. Ярое преображение духа.
Размяты в тюрю колеи дорог.
Невнятица, распутица, разруха.
А там – опушек тюлевый дымок.

* * *

Неужели всю жизнь надо маяться!
А потом
от тебя
останется –
Не горшок, не гудок, не подкова, –
Может, слово, может, полслова –
Что-то вроде сухого листочка,
Тень взлетевшего с крыши стрижа
И каких-нибудь полглоточка
Эликсира,
который – душа.

* * *

Старушечье существованье
Зимы под серым колпаком.
И неустанное снованье
Махровых нитей шерстяных.
И даже наше расставанье
Махровым обнято чулком.
И теплым было целованье –
Последнее из всех земных.

ИЗ СТИХОВ О ПОЛЬШЕ

1939-й

Вперед на прицел и на целик
В шеренге завязтых рубак
Шагал молодой офицерик
С улыбкой и розой в зубах.

Он шел впереди не для позы.
Он просто хотел умереть.
Он жить не хотел без улыбки и розы –
С улыбкой и розой хотел умереть.

Походкою мерной и медной,
Построенный в четкий квадрат,
Полк шел на последний, последний,
Последний, последний парад.

Еще с укрепленных позиций
Стрелки не открыли огня.

Казалось, что вечно продлится
Начало последнего дня.

Казалось, что смертное тело
Намного сильнее души...
И юная роза летела
На каменные блиндажи.

1944-й

Польских смут невольный современник,
Рано утром прибыл я в Мендзыжец.
Праздник был. И служба шла в селеньях,
В тех, что немцы не успели выжечь.

Комендант меня устроил чудно
В старом добром тихом доме. Помню,
Как Марыля Адамовичувна
Вечером читала Сырокомлю.

Брат ее, довольно кислый парень,
Шляхтич и один в дому добытчик,
Полагал, что он принципиален,
Потому что не менял привычек.

Утром отправлялся на толкучку,
Предварительно начистив обувь.
Там торчал, распродавая кучку
Барахла из старых гардеробов.

А потом он торопился бриться
(Жокей-клуб был в доме брадобрея).

Между прочим, юная сестрица
Мне стихи читала в это время.

Ах, моя чахоточная панна!
Маленького зальца воздух спертый!
Как играла ты на фортепьяно
О себе – беспомощной и гордой.

От костлявых клавиш мерзли руки.
И сжимал я в тайном трепетанье
Польшу сеймов, королей, мазурки,
Бледных панн, Мицкевича, восстаний.

Я покинул этот город в полночь,
Собрался и отвалил бесшумно.
Спали пан Станіслав Адамович
И Марья Адамовичувна.

Перед Седлицем едва серело,
И не знал я, что еще увижу
Ребра искалеченной сирены
И за Вислой снег, от крови рыжий.

БАЛКАНСКИЕ ПЕСНИ

Эти стихи навеяны чтением народных песен сербов, болгар и румын. В их поэзии я нахожу много общего. «Подражание» не кажется мне словом более зазорным, чем «учение» или, как чаще говорят в наше время, «учеба».

1. ПЕСНЯ О КУЗНЕЦЕ

Подъезжает солдат:
– Ты подкуй-ка мне, брат,
вороного! –
А кузнец бьет-бьет,
он солдату кует
подкову.

Подъезжает на рысях
эскадрон: – Так и сяк,
ты подкуй нам коней
толково. –
А кузнец бьет-бьет,
эскадрону кует
подковы.

Подъезжает целый полк:
– Ты в работе знаешь толк,
не сыскать кузнеца
такого! –
А кузнец бьет-бьет,
и полку он кует
подковы.

И в пыли, как в дыму,
войско целое к нему:
– Ты подкуй нам коней
по-свойски! –
А кузнец бьет-бьет,
он подковы кует
для войска...

Ускакал солдат,
ускакал отряд,
скрылся полк за холмом,
скрылось войско за полком...
а кузнец бьет-бьет,
а кузнец бьет-бьет,
бьет-бьет,
бьет.

2. ПРОЩАНИЕ ЮНАКА

Ты скажи в стране какой,
в дальнем городе каком
мне куют за упокой
сталь-винтовку со штыком?

Грянет выстрел. Упаду,
пулей быстрою убит.
Каркнет ворон на дубу
и в глаза мне поглядит.

В этот час у нас в дому
мать уронит свой кувшин
и промолвит: – Ах, мой сын! –
И промолвит: – Ах, мой сын!..

Если в город Банья Лука
ты приедешь как-нибудь,
остановишься у бука
сапоги переобуть.

Ты пройди сперва базаром,
выпей доброго вина,
а потом в домишке старом
мать увидишь у окна.

Ты взгляни ей в очи прямо,
так, как ворон мне глядит.
Пусть не знает моя мама,
что я пулею убит.

Ты скажи, что бабу-ведьму
мне случилось полюбить.
Ты скажи, что баба-ведьма
мать заставила забыть.

Мать уронит свой кувшин,
мать уронит свой кувшин.
И промолвит: – Ах, мой сын! –
И промолвит: – Ах, мой сын!..

3. ПЕСНЯ О ПОСТРОЕНИИ КЛАДЕНЦА

Надо выкопать колодец,
надо выкопать его.
Пусть живет в колодце жаба –
неземное существо.

Будет, будет эта жаба
Петь в колодце по ночам.
Будет месяц литься слабо
к золотым ее очам.

И увидит эта жаба
наверху одну звезду.
И уронит эта жаба
серебристую слезу.

И придет к колодцу странник,
и опустит он бадью.
И со дна слезу достанет
серебристую твою.

И отыщет странник место
на горе в густом лесу.
И построит целый город
на одну твою слезу.

В этом городе во храме
засияет семь лампад.
Грянет колокол утрами
и в дробинку и в раскат.

Семь невест придут к колодцу.
Бросят в воду семь колец,
чтобы семь веков не падал
семивратный Кладенец.

4. ПЕСНЯ О ПОХОДЕ

А. Я.

Как в поход собирался Вук,
говорил ему старый друг,
старый друг воевода Милош:
– Чем могу помочь тебе, Вук,
если руки не держат лук
и копьё мое преломилось?

Я гляжу как сквозь тусклый лёд
и не бью уже птицу влет,
не валю на скаку зверя.
Зажирел мой конь от овса.
И ни в Сына, и ни в Отца,
и ни в чох, ни в сон я не верю.

И отвечивал Вук: – Ну что ж!
Если ты для битвы негож
и не веришь в Святого Духа,
я и сам воевать могу.
– Чем же я тебе помогу? –
Снова Милош спросил у Вука.

– А помочь мне? Можешь помочь.
У меня остается дочь
и младенец о третьем годе.
Если долго я не приду,
посылай моим чадам еду, –
отвечает Вук воеводе.

– Да и матушку не забудь.
Навести ее как-нибудь,
соболезнуй ее заботе.

А когда истекут ее дни,
по обряду похорони, –
отвечает Вук воеводе.

– И еще мне в чем помоги:
если злую молву враги
обо мне распустят в народе,
ты не верь той молве ни в чем,
как не веришь ни в чох, ни в сон, –
отвечает Вук воеводе.

И садится Вук на коня
и в поход отъезжает шагом.

5. ПЕСНЬ О ДРУЗЬЯХ МИЛОША

Когда старый Милош слеп,
Кто ему вино и хлеб
Приносил
По мере сил?

Не соседские князья,
А старинные друзья –
Те, кого и не просил.

– Моря не видать с горы.
Утром не видать зари,
В полдень солнца нет!
– Нам не скоро уплывать.
Можно ночью пировать! –
Те ему в ответ.

– Иль тебе не сладок мед,
Иль не слышишь, как поет
Дева у ручья?
Иль не дышит ветром сад
И с тобою не сидят
Верные друзья?

Мы нальем тебе вина.
И давай-ка, старина,
Вспомним о былом!
Отдых дай своим мечам,
Отдых дай своим очам!...

Пировали по ночам.
Пели за столом.

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

...не для битв...

...для молитв...

(Рифмы из стихотворения
Пушкина)

Поэт

Скажите, гражданин, как здесь пройти
До бани?

Гражданин

Баня нынче выходная.
Зато на Карла Либкнехта – пивная.
Там тоже можно время провести.

Поэт

Ну что ж!

Гражданин

Как раз и я иду туда.
Приезжий?

Поэт

Да.

Гражданин

У нас не скучно!

Поэт

Да.

Гражданин

По делу?

Поэт

Нет.

Гражданин

К родне?.. И я вот к брату
На отпуск собираюсь восемь лет.
То захвораю... Или денег нет.
А прошлым годом прогулял зарплату..
Ты не Петрова брат?

Поэт

Да нет.

Гражданин

Постой!

Давай-ка два рубля. Вон-он мага́зин...
А там, в пивной, ее пивком подкрасим...
Я мигом. Вижу – парень ты простой.
Весь в брата.

Поэт

Нету брата у меня.

Гражданин

Ну весь в сестру. Ведь и сестра – родня.
Порядок. На-ка сдачу... Эко горе!
Пивная – елке в корень! – на запоре!..
В столовой пить придется под компот.
Там пива нет!.. А где сестра живет?
Она бы нам поставила закуски.
И вместе погуляли бы по-русски.

Поэт

Да у меня родни и вовсе нет.

Гражданин

Так бы сказал... А сам ты кто?

Поэт

Поэт.

Гражданин

Вот то-то вижу, будто не из наших!
Выходит – пишешь?.. Я люблю читать.
Да время нет... Могу и тему дать!
А ты ее возьмешь на карандашик...
Есенин был поэт! Моя старушка,
Мол, в старомодном ветхом шушуне...
Как сказано!.. А Пушкин? «Где же кружка?..»
Бери себе стакан!

Поэт

Пожалуй, мне

Пора...

Гражданин

И впрямь! Чего сидеть без толку...
Ну, со свиданьем!.. А ты чего ж?
Тяни... Задумался!.. Уже хорош?
А-а! Выпятил полтинники на Лорку!

Поэт

(очнувшись)

Что? Федерико?..

Гражданин

Ей цена-то грош!
Конечно, все при ней: станочек, грудь...
Эй, Лорочка, товарищу поэту
И мне подай два раза винегрету!
А ты бы рассказал про что-нибудь.

Поэт

А было так. Он на снегу сидел.
А офицера увели куда-то.
Вблизи него стояли два солдата,
Переговариваясь. День скудел.
Слегка смеркалось. Из-за перелесиц
Вступали тучи реденьким гуртом.
И, как рожок, бесплотный полумесяц
Легко висел на воздухе пустом.
Нога не мучила. А только мерзла.
Он даже улыбался. Страх прошел.
Бой утихал вдали. За лесом грозно,
Как Моисеев куст, пылал костел.
Пришел какой-то чин. Но небольшой.
Он так же был небрит, как эти трое.
За лесом выцветали шумы боя.
Хотелось пить. Нога была чужой.
Солдаты сели есть. Один из них
Достал сухарь. И дал ему. Однако
Есть не хотелось. Думал о своих:
Какая неудачная атака!
Он думал о себе, как о ноге:
Душа была чужой, но не болела.
Он сам не мерз. В нем что-то леденело.
Еще вверху плыл месяц налегке,
Но словно наливался. От еды
Они согрелись. Те, что помоложе,
Подначивали третьего. Похоже,
От них не надо было ждать беды.
Тот, третий, подошел. Он был и мал,
И худ, и стар. И что-то он сказал.
Что – непонятно. Пленный без испуга
Соображал. И понял. Было туго

Вставать. И все ж он встал, держа сухарь.
Уже был месяц розов, как янтарь.
Те тоже подошли. И для чего-то
Обшарили его. Достали фото
Жены и сына. Фото было жаль.
Он поднял руки, но держал сухарь.
Разглядывали фото. И вернули.
И он подумал: это хорошо!
Потом его легонько подтолкнули.
Он сразу понял. И с трудом пошел.
Он мог идти. Он отправлялся в путь.
И это вдруг его приободрило.
«Видать, не очень сильно зацепило...
Дойти бы только... Там уж как-нибудь...»
Додумать не успел. Невдалеке
Рвануло эхо. Звук был слишком громок.
Он закричал. И, дергаясь, как кролик,
Свалился навзничь с сухарем в руке.
Упал. И дернулся последний раз.
И остывал, не закрывая глаз.
Те трое прочь ушли. Еще дымился
Костел. И месяц наверху налился
И косо плыл по небу, как ладья.

Гражданин

Ты это видел?

Поэт

Это был не я.

Вестъ
1974–1978

* * *

В. Б.

И ветра вольный горн,
И речь вечерних волн,
И месяца свечение,
Как только стали в стих,
Приобрели значенье.
А так – кто ведал их!

И смутный мой рассказ,
И весть о нас двоих,
И верное реченье,
Как только станут в стих,
Приобретут значенье.
А так – кто б знал о нас!

* * *

Возвращаюсь к тебе, дорогая,
К твоим милым и легким словам.
На пороге, меня обнимая,
Дашь ты волю свободным слезам.

– Ах, – ты скажешь, – как времени много
Миновало! Какие дела!
Неужели так долго дорога,
Милый мой, тебя к дому вела!

Не отвечу, к тебе припадая,
Ибо правды тебе не скажу.
Возвращаюсь к тебе, дорогая,
У тебя на пороге лежу.

* * *

Мне снился сон жестокий
Про новую любовь.
Томительно и нежно
Звучавшие слова.
Я видел твоё платье,
И туфли, и чулки
И даже голос слышал,
Но не видал лица.

О чём меня просила?
Не помню. Повтори.
Опять с такой же силой
Со мной заговори.
И снова в сновиденье
Случайное вернись.
Не надо завершенья,
Но только повторишь!

Ведь в этой жизни смутной,
Которой я живу,
Ты только сон минутный,
А после, наяву –
Не счастье, не страданье,
Не сила, не вина,
А только ожиданье
Томительного сна.

* * *

Вдруг странный стих во мне родится,
Я не могу его поймать.
Какие-то слова и лица.
И время тает или длится.
Нет! Невозможно научиться
Себя и близких понимать!

* * *

Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного,
Но если можно бы сначала
Жизнь эту вымолить у Бога,
Хотелось бы, чтоб было снова
Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного.

Не торопи пережитого,
Утаивай его от глаз.
Для посторонних глухо слово
И утомителен рассказ.

А ежели назреет очень
И сдерживаться тяжело,
Скажи, как будто между прочим
И не с тобой произошло.

А ночью слушай – дождь лопочет
Под водосточною трубой,
И, как безумная, хохочет
И плачет память над тобой.

ПОДРОСТОК

Подросток! Как по нежному лекалу
Прочерчен шеи робкий поворот.
И первому чекану и закалу
Еще подвергнут не был этот рот.

В ней красота не обрела решенья,
А истина не отлилась в слова.
В ней лишь мольба, и дар, и приношенье.
И утра свет. И неба синева.

* * *

Выйти из дому при ветре,
По непогоду выйти.
Тучи и рощи рассветны
Перед началом событий.

Холодно. Вольно. Бесстрашно.
Ветрено. Холодно. Вольно.
Льется рассветное брашно.
Я отстрадал – и довольно!

Выйти из дому при ветре
И поклониться отчизне.
Надо готовиться к смерти
Так, как готовятся к жизни...

* * *

А слово – не орудье мести! Нет!
И, может, даже не бальзам на раны.
Оно подтачивает корень драмы,
Разоблачает скрытый в ней сюжет.

Сюжет не тот, чьи нити в монологе,
Который знойно сотрясает зал.
А слово то, которое в итоге
Суфлер забыл и ты не подсказал.

* * *

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.

* * *

Стихи читаю Соколова –
Не часто, редко, иногда.
Там незаносчивое слово,
В котором тайная беда.

И хочется, как чару к чаре,
К его плечу подать плечо –
И от родства, и от печали,
Бог знает от чего еще!..

СТИХИ О ДЕЛЬВИГЕ

1

Дельвиг... Леня... Младая дева...
Утро... Слабая метель...
Выплывает из напева
Детской елки канитель.

Засыпай, окутан ленью.
В окнах – снега белизна.
Для труда и размышленья
Старость грубая нужна.

И к чему, на самом деле,
Нам тревожить ход времен!
Белокурые метели...
Дельвиг... Дева... Сладкий сон...

2

Две жизни не прожить.
А эту, что дана,
Не все равно – тянуть
длиннее иль короче?
Закуривай табак,
налей себе вина,
Поверь бессоннице
и сочиняй полночи.

Анна спит. Ее сновиденья
Так ясны, что слышится пенье
И разумный их разговор.

Молодой поэт Улялюмов
Сел писать. Потом, передумав,
Тоже спит – ладонь под щекой.

Словом, спят все шумы и звуки,
Губы, волосы, щеки, руки,
Облака, сады и снега.

Спят каминны, соборы, псалмы,
Спят шандалы, как написал бы
Замечательный лирик Н.

Спят все чада мои и други.
Хорошо, что юные вьюги
К нам летят из дальней округи,
Как стеклянные бубенцы.

Было, видно, около часа.
Кто-то вдруг ко мне постучался.
Незнакомец стоял в дверях.

Он вошел, похож на Алеко.
Где-то этого человека
Я встречал. А может быть – нет.

Я услышал: всхлипнула тройка
Бубенцами. Звякнула бойко
И опять унеслась в снега.

Я сказал: – Прошу! Ради бога!
Не трудна ли была дорога? –
Он ответил: – Ах, пустяки!

И не надо думать о чуде.
Ведь напрасно делятся люди
На усопших и на живых.

Мне забавно времен смешенье.
Ведь любое наше свершенье
Независимо от времен.

Я ответил: – Может, вы правы,
Но сильнее нету отравы,
Чем привязанность к бытию.

Мы уже дошли до буколик,
Ибо путь наш был слишком горек,
И ужасен с временем спор.

Но есть дней и садов здоровье,
И поэтому я с любовью
Размышляю о том, что есть.

Ничего не прошу у века,
Кроме звания человека,
А бессмертье и так дано.

Если речь идет лишь об этом,
То не стоило быть поэтом.
Жаль, что это мне суждено.

Он ответил: – Да, хорошо вам
Жить при этом мненье готовом,
Не познав сумы и тюрьмы.

Неужели возврат к истокам
Может в этом веке жестоком
Напоить сердца и умы?

Не напрасно ли мы возносим
Силу песен, мудрость ремесел,
Старых празднеств брагу и сыть?
Я не ведаю, как нам быть.

Длилась ночь, пока мы молчали.
Наконец вдали прокричали
Предрассветные петухи.

Гость мой спал, утопая в кресле.
Спали степи, разъезды, рельсы,
Дымы, улицы и дома.

Улялюмов на жестком ложе
Прошептал, терзаясь: – О, Боже! –
И добавил: – Ах, пустяки!

Наконец сновиденья Анны
Задремали, стали туманны,
Растеклись по глади реки.

* * *

Д. К.

Кто устоял в сей жизни трудной,
Тому трубы не страшен судной
Звук безнадежный и нагой.
Вся наша жизнь – самосожженье,
Но сладко медленное тленье
И страшен жертвенный огонь...

МАРКИТАНТ

Фердинанд, сын Фердинанда,
Из утрехтских Фердинандов
Был при войске Бонапарта
Маркитант из маркитантов.

Впереди гремят тамбуры,
Трубачи глядят сурово.
Позади плетутся фуры
Маркитанта полкового.

Предок полулегендарный,
Блудный отпрыск ювелира
Понял, что нельзя бездарней
Жить, не познавая мира.

Не караты, а кареты.
Уйма герцогов и свиты.
Офицеры разодеты.
Рядовые крепко сшиты.

Бонапарт короны дарит
И печет свои победы.
Фердинанд печет и жарит
Офицерские обеды.

Бонапарт диктует венским,
И берлинским, и саксонским.
Фердинанд торгует рейнским,
И туринским, и бургонским.

Бонапарт идет за Неман,
Что весьма неблагородно.
Фердинанд девицу Нейман
Умыкает из-под Гродно.

Русский дух, зима ли, Бог ли
Бонапарта покарали.
На обломанной оглобле
Фердинанд сидит в печали.

Вьюга пляшет круговую.
Снег валит в пустую фуру.
Ах, порой в себе я чую
Фердинандову натуру!..

Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.

БРЕЙГЕЛЬ
(Картина)

Мария была курчава.
Толстые губы припухли.
Она дитя качала,
Помешивая угли.

Потрескавшейся, смуглой
Рукой в ночное время
Помешивала угли.
Так было в Вифлееме.

Шли пастухи от стада,
Между собой говорили:
– Зайти, узнать бы надо,
Что там в доме Марии?

Вошли. В дыре для дыма
Одна звезда горела.
Мария была нелюдима.
Сидела, ребенка грела.

И старший воскликнул: – Мальчик! –
И благословил ее сына.
И, помолившись, младший
Дал ей хлеба и сыра.

И поднял третий старец
Родившееся чадо.
И пел, что новый агнец
Явился среди стада.

Да минет его голод,
Не минет его достаток.
Пусть век его будет долгого,
А час скончания краток.

И желтыми угольками
Глядели на них бараны,
Как двигали кадыками
И бороды задирали.

И, сотворив заклинанье,
Сказали: – Откроем вены
Баранам, свершим закланье,
Да будут благословенны!

Сказала хрипло: – Баранов
Зовут Шошуа и Мадох.
И Богу я не отдам их,
А также ягнят и маток.

– Как знаешь, – они отвечали, –
Гляди, не накликай печали!.. –
Шли, головами качали
И пожимали плечами.

ПОЗДНЕЕ ЛЕТО

Вы меня берегите, подмосковные срубы,
Деревянные ульи медового лета.
Я люблю этих сосен гудящие струны
И парного тумана душистое млеко.

Чем унять теребящую горечь рябины,
Этот вяжущий вкус предосеннего сока?
И смородинных листьев непреборимый
Запах? Чувствуют – им увядать недалеко.

Промелькнет паутинка, как первая проседь,
Прокричит на сосне одинокая птица.
И пора уже прозу презренную бросить,
Заодно от поэзии освободиться.

* * *

И вот однажды ночью
Я вышел. Пело море.
Деревья тоже пели.
Я шел без всякой цели.
Каким-то тайным звуком
Я был в ту пору позван.
И к облакам и звездам
Я шел без всякой цели.
Я слышал, как кипели
В садах большие липы.
Я шел без всякой цели
Вдоль луга и вдоль моря.
Я шел без всякой цели,
И мне казались странны
Текучие туманы.
И спали карусели.
Я шел без всякой цели
Вдоль детских развлечений –
Качелей, каруселей,
Вдоль луга и вдоль моря,
Я шел в толпе видений,
Я шел без всякой цели.

* * *

Служенье памяти!
Из добровольных уз
Ты всех прочней и бескорыстней
И, может, выше, чем служенье
муз,
И славы горше и завистней.

Служенье тем, кто был
насилено уведен
По оглушенным лестничным
площадкам,
И залп подъезда, сотрясавший дом,
Грядущего был слабым
отпечатком,
Я десять лет был нем.
И двадцать глух.
Но слышал выстрелы
подъездной двери.
Скрежещущий стартер,
как ключ тюремный, сух –
Не плач, а он обозначал
потери.

Служенье тем, кто был
отправлен в никуда
И запропал без вести, –
Оно превыше прочих уз, когда
В нем память есть,
но нету мести.
Я думаю порой средь тишины,
Теперь уже не безглагольной,
Что – память! – мы тобой
отомщены,
Твоею мукой добровольной.

* * *

О поэтическом пространстве
Писал мне злобный стихолоб,
Сжигал мои стихи и стансы,
Так, что лишь дым вился из труб.

Он поселил во мне тревогу,
Какой-то горький впрыснул яд.
Но я подумал: слава богу,
Меня не хвалят, а хулят.

С тех пор я стал летучим дымом
И улетел, как этот дым,
Туда, где в небе нелюдимом
Я стану новым и иным.

* * *

Россия одинока в мире,
Она одна стоит как перст,
Не докричишь из этой шири
Ни до кого, кто есть окрест.

Нет никого окрест России,
Нет никого в ее пути.
И ни уму, ни лжи, ни силе
Ее вовеки не спасти.

* * *

Когда я усну наконец,
Как долго (всю жизнь) не
спалось,

Тогда мой усопший отец
Коснется усталых волос.
Тогда, наконец, я пойму,
Что я пробирался сквозь
тьму.

И холодно быть одному.
И холодно быть одному.

* * *

С утра худые сосняки
Припахивают канифолью.
Садов сырые гамаки
Качаются произвольно.

Седая, пасмурная даль.
Горланит ворон по-актерски.
Открыт осенний календарь
В Опалихе и Красногорске.

Туманный дождичек томит.
И все окрестные пейзажи
Запущенный имеют вид,
Как дом, назначенный к продаже.

Залив
1978-1981

* * *

Повтори, воссоздай, возверни
Жизнь мою, но острее и короче.
Слей в единую ночь мои ночи
И в единственный день мои дни.

День единственный, долгий, единый,
Ночь одна, что прожить мне дано.
А под утро отлет лебединый –
Крик один и прощанье одно.

* * *

И. К.

Мы не меняемся совсем.
Мы те же, что и в детстве раннем.
Мы лишь живем. И только тем
Кору грубеющую раним.

Живем взахлеб, живем вовсю,
Не зная, где поставим точку.
И все хоронимся в свою
Ветшающую оболочку.

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

Когда среди шумного бала
Они повстречались случайно,
Их встреча, казалось сначала,
Была не нужна и печальна.

Он начал с какого-то вздора
В своем ироническом тоне.
Но, не поддерживая разговора,
Она уронила ладони.

И словно какая-то сила
Возникла. И, как с палимпсеста,
В чертах ее вдруг проступила
Его молодая невеста –

Такой, как тогда, на перроне,
У воинского эшелона,
И так же платочек в ладони
Сжимала она обреченно.

И в нем, как на выцветшем фото,
Проявленном в свежем растворе,
Вдруг стало побрезживать что-то
Былое в лице и во взоре.

Вдвоем среди шумного бала
Ушли они в давние даты.
– Беда, – она тихо сказала, –
Но оба мы не виноваты.

Меж нашей разлукой и встречей
Война была посередине.
И несколько тысячелетий
Невольно нас разъединили.

– Но как же тогда, на вокзале,
Той осенью после победы, –
Вы помните, что мне сказали
И мне возвратили обеты?

– Да, помню, как черной вдовою
Брела среди пасмурных улиц.
Я вас отпустила на волю,
Но вы же ко мне не вернулись...

Вот так среди шумного бала,
Где встретились полуседыми,
Они постигали начало
Беды, приключившейся с ними.

Все, может быть, было уместно:
И празднества спад постепенный,
И нежные трубы оркестра,
Игравшего вальс довоенный.

* * *

Обратно крути киноленту,
Механик, сошедший с ума,
К тому небывалому лету,
За коим весна и зима!

Крути от июня до мая
Обратного времени ход,
Что стало моим – отнимая,
Приход превращая в уход.

Пусть разомкнутся объятия,
Окажется шляпа в руке.
И слезы в минуту отъезда
Покажутся вверх по щеке.

Спиною подамся к перрону,
Прощанию бессмысленно рад,
Рукою махну изумленно,
И поезд потянет назад.

Уйдут станционные здания,
Просторный откроется вид.
И смутное счастье незнания
Тревожно черты озарит.

Крути мою ленту обратно.
Злорадствуй, механик шальной.
Зато я увижу двукратно
Все то, что случилось со мной.

Я прожил ни много ни мало
Счастливых и сумрачных лет.
Я фильм досмотрю до начала
И выйду из зала на свет...

ЧАСОВОЙ

Л. К.

Нельзя не сменять часового,
Иначе заснет на посту.
Нельзя человека живого
Во всем уподобить кусту.

Горячего чая в землянке
Напиться ему не грешно.
Пускай переменит портянки
И другу напишет письмо.

Пусть тело, что стыло и дрогло,
Задремлет – и вся недолга,
Забыв о величии долга,
Не помня себя и врага.

СТАНСЫ

Начнем с подражания. И это
Неплохо, когда образец –
Судьба коренного поэта,
Приявшего славный венец.

Терновый, а может, лавровый –
Не в этом, пожалуй что, суть.
Пойдем за старухой суровой,
Открывшей торжественный путь.

И, сами почти уже старцы,
За нею на путь становясь,

Напишем суровые стансы
Совсем безо всяких прикрас.

В тех стансах, где каждое слово
Для нас замесила она,
Не надо хорошего слога
И рифма пусть будет бедна.

Зато не с налету, не сдуру,
Не с маху и не на фуфу,
А трижды сквозь душу и шкуру
Протаскивать будем строфу.

Великая дань подражанию!
Нужна путеводная нить!
Но можно ли горла дрожанье
И силу ума сочинить?

И как по чужому каркасу
Свое устроенье обжать?
И можно ли смертному часу
И вечной любви подражать?

Начнем с подражания. Ведь позже
Придется узнать все равно,
На что мы похожи и гожи
И что нам от Бога дано.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Он заплатил за нелюбовь Натальи...
Все остальное – мелкие детали:
Интриги, письма – весь дворцовый сор.
Здесь не ответ великосветской черни,
А истинное к жизни отвращенье,
И страсть, и ярость, и души разор.

А чья вина? Считайте наши вины
Те, что умеют сосчитать свои,
Когда уже у самой домовины
Сошлись концы любви и нелюбви.

И должен ли при сем беречься гений?
О страхе должен думать тот, другой,
Когда перед глазами поколений
В запал курок спускает нетугой.

2

Что остается? Поздний Тютчев?
Казалось, жизнь ложится в масть.
Уже спокоен и невзлюбчив.
И вдруг опять – стихи и страсть.

Что остается? Поздний тоже,
Но, Господа благодаря,
Вдруг упadaющий на ложе
В шум платья, листьев, октября.

Что остается? Пушкин поздний?
Какой там – поздний! Не вчера ль –
Метель, селитры запах грозный,
И страсть, и гибель, и февраль...

ПОГОСТ

Здесь, возле леса, с краю поля
Погост сияет небольшой,
Где на рассвете, птицам вторя,
Душа беседует с душой.

И эти тихие беседы
Легки, как утренний туман,
В них веют радости и беды
Когда-то живших поселян.

Беседуют односельчане –
Родня, соседи, свояки –
Под вековое величанье
Дубравы, поля и реки.

И ни ограды, на гранита –
Одни воздушные струи
Вдруг всплакивают сквозь ракиту
Протяжливо, как плачеи.

Я знаю кладбища другие
Вблизи огромных городов,
Где все погибели людские
Положены во сто рядов.

И кажется там громче горе
И комья глины тяжелей,
Чем здесь, в заброшенном просторе,
У края леса и полей.

Где разбегаются подросты,
В себя вбирая сок и свет...
Растут огромные погосты,
А к малым зарастает след.

* * *

Памяти М. Петровых

Спи, Мария, спи.
Воздух над тобой
До высот небесных
Полон тишиной.

Дерево в ночи –
Изваянье дыма.
Спи, Мария, спи.
Пробужденья нет.

А когда потом
Мы с тобой очнемся,
Разбегутся листья
По тугой воде.

* * *

С. Н.

Скрепляют болезни и смерти
Отчетливость памятных мет
И сумрачных десятилетий
Понурый и грубый цемент.

Когда эта птица мне пела,
Сквозь пенье ее угадал
В основе грядущего дела
Простой и смертельный металл.

И все же – не твердость, не холод –
Моя кряжевая судьба.
Спасибо за то, что не молод
Я был, когда понял себя.

АКТРИСЕ

Л. Т.

Тебе всегда играть всерьез.
Пусть поневоле
Подбрасывает жизнь вразброс
Любые роли.

Хоть полстранички, хоть без слов,
Хоть в пантомиме –
Играть до сердца, до основ,
Играть во имя.

Без занавеса, и кулис,
И без суфлера,
Чтоб только слезы пролились
На грудь партнера,

Чтоб лишь леса поры потерь,
Поры печали,
Рыжеволосы, как партер,
Рукоплескали.

Играть везде – играть в толпе,
Играть в массовке,
Но для себя и по себе,
Без подтасовки.

И, наконец, сыграть всерьез
В той мелодраме,
Где задыхаются от слез
Уже над нами.

* * *

Зачем за жалкие слова
Я отдал все без колебаний –
И золотые острова,
И вольность молодости ранней!

А лучше – взял бы я на плечи
Иную ношу наших дней:
Я, может быть, любил бы крепче,
Страдал бы слаще и сильнее.

ЗАЛИВ

Я сделал свой выбор. Я выбрал залив,
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов.

Туманного марта намечен конец,
И голос попробовал первый скворец.
И дальше я вижу и слышу,
Как мальчик, залезший на крышу.

И куплено все дорогою ценой.
Но, кажется, что-то утрачено мной.
Утратами и обретеньем
Кончается зимняя темень.

А ты, мой дружок, мой весенний рожок,
Ты мной не напрасно ли душу ожег?
И может быть, зря я неволю
Тебя уголить мою долю?

А ты, мой сверчок, говорящий жучок,
Пора бы и мне от тебя наутек.
Но я тебе душу вручаю.
И лучшего в мире не чаю.

Я сделал свой выбор. И стал я тяжел.
И здесь я залег, словно каменный мол.
И слушаю голос залива
В предчувствии дивного дива.

ПРИМОРСКИЙ СОЛОВЕЙ

За парком море бледною водой
На гладкий пляж беззвучно набегаёт.
И вечер обок с набожной звездой
Удобно облака располагает.

Напротив запада в домах – латунь,
А иногда мерцанье белой ртути.
Везде стригут, как рекрута, июнь.
Цветут сирени грозовые тучи.

И эпигоны соловья – дрозды
Стараются, лютуют в три колена.
А сам он ждет, когда замрут сады
И для него освободится сцена.

Пускай уйдут! Тогда раздастся взрыв
Кристаллов в пересыщенном растворе.
И страсть, и клокотанье, и разлив,
И в воздухе явленье сжатой воли.

Откуда это в жалком существе,
В убогой горстке встрепанного пуха,
Укрытого в спасительной листве, –
Подобное осуществленье духа?

И вот теперь – бери его врасплох,
Когда, забывшись на вершине пенья,
Оледенел, закрыл глаза, оглох
И не годится для самоспасенья.

Нет благозвучья, нету красоты
В том щелканье, в тугих засосах свиста,
Но откровенья тайные пласты
И глубина великого артиста.

Не верю, что природа так проста,
Чтоб только данью вечной несвободы
Был этот полунощный взрыв куста
И перепады бессловесной оды.

И почему вдруг сердце защежит!
И свист пространства коротковолновый
Не зря нас будоражит и томит,
Как в семь колен мечта о жизни новой.

* * *

Я люблю ощущение ушедших годов
И забытых ладоней тепло.
Я снимаю со времени тайный покров,
Убеждаясь: оно утекло.

Но зачем этот сад накануне зимы,
Этот город туманный зачем,
И зачем же тогда в этот городе мы,
Сочинители странных поэм?

А великое слово «зачем» – как пароль,
Произнесенный в долгих ночах.
И безумствую я, как влюбленный король,
По бессоннице и при свечах.

* * *

И снова все светло и бренно –
Вода, и небо, и песок,
И хрупкая морская пена,
И отплывающий челнок.

Уж не волнуют опасенья.
Отпущен конь, опущен меч.
И на любовь и на спасенье
Я не решусь себя обречь.

Высокой волей обуянный,
Пройду таинственной межой
И постучусь, пришелец странный,
К себе домой, как в дом чужой.

* * *

О бедная моя!
Ты умерла. А я
Играю под сурдину
На скрипке бытия.

И так же непреложно
Ведет меня стезя
Туда, где жить не можно
И умереть нельзя.

* * *

Я смерть свою забуду
Всего лишь оттого,
Что состояться чуду
Не стоит ничего.
Вот что-то в этом роде:
Муаровый скворец,
Поющий на природе
Гармонию сердец.
О, малое создание!
Зато он превзошел
Величье подражания
И слабость новых школ.
Пушай поет похоже
На каждого скворца,
Ведь все создание Божье
Похоже на Творца.

* * *

Сперва сирень, потом жасмин,
Потом – благоуханье лип,
И, перемешиваясь с ним,
Наваливается залив.

Здесь масса воздуха висит
Вверху, как легкое стекло.
Но если дождь заморосит,
Земля задышит тяжело.

Залив господствует везде,
Навязывая свой накат.

Деревья держит он в узде,
Захватывает весь закат.

Он на могучем сквозняке
Лежит пологим витражом.
И отражает все в себе,
И сам повсюду отражен.

* * *

Тебя мне память возвратила
Такой, какую ты была,
Когда: «Не любит!» – говорила
И слезы горькие лила.

О, как мне нужно возвращенье
Из тех невозвратимых лет,
Где и отмщенье и прощенье,
Страстей непроходящий след.

И лишь сегодня на колени
Паду. Ведь цену знаю сам
Своей любви, своей измене.
Твоей любви, твоим слезам.

* * *

Пахло соломой в сарае,
Тело – травой и ветром,
Губы – лесной земляникой,
Волосы – яблоней дикой.

Были на раннем рассвете
Легкие свежие грозы.
Мы просыпались. И снова
Сном забывались, как дети.

Утром она убежала,
Заспанная и босая,
С крупных ромашек сбивая
Юбкой раскосые капли.

Да! Уже было однажды
Сказано: остановиться!
Сказано: остановиться!
Остановиться мгновению!

* * *

Тот же вялый балтийский рассвет.
Тяжело размыкание век.
Тяжело замерзание рек.
Наконец, наконец выпал снег.
Я по снегу уже доберусь
Из приморского края на Русь,
Где морозы звончей и синей.
И опять, может быть, научусь
Не бояться свободы своей.

ИЗ ПЯРНУСКИХ ЭЛЕГИЙ

Г. М.

I

Когда-нибудь и мы расскажем,
Как мы живем иным пейзажем,
Где море озаряет нас,
Где пишет на песке, как гений,
Волна следы своих волнений
И вдруг стирает, осердясь.

II

Красота пустынной рощи
И ноябрьский слабый свет –
Ничего на свете проще
И мучительнее нет.

Так недвижны, углубленны
Среди этой немоты
Сосен грубые колонны,
Вязов нежные персты.

Но под ветром встрепенется
Нетекучая вода...
Скоро время распадется
На «сейчас» и «никогда».

III

Круг любви распался вдруг.
День какой-то полупьяный.
У рябины окаянной
Покраснели кисти рук.

Не маши мне, не маши,
Окаянная рябина,
Мне на свете все едино,
Коль распался круг души.

XI

В Пярну легкие снега.
Так свободно и счастливо!
Ни одна еще нога
Не ступала вдоль залива.

Быстрый лыжник пробежит
Синий вспышкой мгновенной.
А у моря снег лежит
Свежим берегом вселенной.

XII

Когда тайком колдует плоть,
Поэзия – служанка праха.
Не может стих перебороть
Тщеславья, зависти и страха.

Но чистой высоты ума
Достичь нам тоже невозможно.
И все тревожит. Все тревожно.
Дождь. Ветер. Запах моря. Тьма.

XIII

Утраченное мне дороже,
Чем обретенное. Оно
Так безмятежно, так погоже,
Но прожитому не равно.

Хотел мне дать забвенье, Боже,
И дал мне чувство рубежа
Преодоленного. Но все же
Томится и болит душа.

XIV

Вдруг март на берегу залива.
Стал постепенно таять снег.
И то, что было несчастливо,
Приобрело иной разбег.

О этот месяц непогожий!
О эти сумрачные дни!
Я в ожидании... О Боже,
Спаси меня и сохрани...

XV

Расположенье на листе
Печальной строчки стихотворной.
И слезы на твоём лице,
Как на иконе чудотворной.
И не умею передать
То, что со мною происходит:
Вдруг горний свет в меня нисходит,
Вдруг покидает благодать.

XVI

Чет или нечет?
Вьюга ночная.
Музыка лечит.
Шуберт. Восьмая.

Правда ль, нелепый
Маленький Шуберт,
Музыка – лекарь?
Музыка губит.

Снежная скатерть.
Мука без края.
Музыка насмерть.
Вьюга ночная.

ОСЕНЬ

Неужто я иду на спад,
Как листопад?
И мысли спят, и чувства спят,
Как этот сад?

И может быть, для строф и строк
Уж вышел срок?
Во мне иссяк российский слог,
Его исток?

И может, пасмурный закат
Подвел черту.
И лишь небесный вертоград
Горит в цвету.

Голоса за холмами
1981–1985

ГОЛОСА ЗА ХОЛМАМИ

Голоса за холмами!
Сколько их! Сколько их!
Я всегда им внимаю,
Когда чуток и тих.

Там кричат и смеются,
Там играют в лапту,
Там и песни поются,
Долетая отту...

Да! За холмами теми
Среди гладких полян –
Там живут мои тени
Среди гладких полян.

Голоса за холмами
Раздаются в тумане,
То ли ищут потери,
То ли в прятки играют...
Кличут давние тени,
А потом замирают.

* * *

Тогда я был наивен,
Не ведал, в чем есть толк.
Купите за пять гривен,
А если надо – в долг.

Тогда я был возвышен,
Как всадник на коне.
Не знал, что десять пишем
И держим два в уме.

Тогда я был не этим –
Я был совсем другим.
Не знал, зачем мы светим
И почему горим.

Тогда я был прекрасен,
Бездельник молодой.
Тогда не падал наземь
Перед любой бедой.

* * *

Тяжел уже стал. Никуда не хочу.
Разжечь бы камин, засветить бы свечу
И слушать, и слушать, как ветер ночной
Гудит и гудит над огромной страной.
Люблю я страну. Ее мощной судьбой
Когда-то захваченный, стал я собой.
И с нею я есть. Без нее меня нет.
Я бурей развеян и ветром отпет.
И дерева нет, под которым засну.
И памяти нет, что с собою возьму.

* * *

Перед тобой стоит туман,
А позади – вода,
А под тобой сыра земля,
А над тобой звезда.

Но в мире ты не одинок,
Покуда чуешь ты
Движенья моря и земли,
Тумана́ и звезды;

Покуда знаешь о себе,
Что ты проводишь дни
Как неживое существо,
Такое, как они.

А большего не надо знать,
Все прочее – обман.
Поет звезда, летит прибой,
Земля ушла в туман...

* * *

Когда кругом цветут сады,
Душа, забывшись, отдыхает
От суесловья и вражды
И свежесть яблони вдыхает.

Она устала прозревать
Грядущее. Она устала
Прошедшее переживать,
Минувшее твердить с начала.

Она устала от оков
И, отдыхая, вновь готова
Поверить в свежесть облаков
И в святость образа людского.

* * *

Сад – это вовсе не природа,
А означенье перехода
От грустной осени к зиме,
От неба серого к земле.

Сад – это рассветанье в окнах,
Через окно – огромность лип,
Где тишина лежит, промокнув,
И холод ей равновелик.

Ах, как мне надоело это –
Холодная зима и лето,
Времен скрипучий переход,
Что длится уж который год!..

* * *

Запиши мне в жизнь кусок
Марта с долгою метелью.
Занеси еще лесок,
Где береза рядом с елью.

Подверстай еще сугроб,
Что от сумрака сиренев.
Подведи потом итог
Ветра, снега и деревьев.

Это все соедини
В зимнем облике природы
В завершающие дни
Холодов и непогоды.

* * *

В деревьях около воды
Запели вешние дрозды.
Их с каждым годом меньше.
А ручеек между камней
Весною каждой все мутней
И с каждым летом мельче.
И с каждым годом роща та,
Лишаясь дерева, куста,
Становится все реже.
Так наступает пустота,
Так изменяются места.
А говорят: все те же.

* * *

Купаться в ключевой воде,
Вдыхать всей грудью воздух чистый
И взором на заре тенистой
Стремиться к молодой звезде.

Чего еще? В траве лежать,
Всю ночь прислушиваясь к полю.
И руку медленно разжать,
Чтоб сердце отпустить на волю.

ГРОЗА

Накатывается издалека.
Сначала громом конского обоза
По мостовой. Гуденьем сквозняка.
Потом паденьем тяжких бочек с воза.
Потом фугасным взрывом. А за ним
Витком сверхзвукового самолета.
И вскоре – адом, где удар и дым.
И упаданье дерева в болото.

Бушуй, бушуй! Ударь в меня, ударь,
Чтоб пал близ пенной кромки океана,
Где превращается смола в янтарь
И смерть, как жизнь, светла и первозданна.

ПТИЦЫ

I

О, как я птиц люблю весенних,
Не зная их по именам.
Я горожанин. В потрясеньях
До этого ли было нам?

Я житель улиц, житель парков,
А не тайги и не степей.
И скромных городских подарков
Я жду от птиц и талых дней.

II

Музыка играет
В тихом кафетерии.
Воробей порхает
За окном на дереве.

Веселишься, малый,
На носу апрель.
Проживем, пожалуй,
Несколько недель.

III

Словно пестрая корова,
Март пасется у реки.
Там от снежного покрова
Остаются островки.

Ожиданье ледохода
Наблюдается везде.
Любопытство небосвода
К лесу, полю и воде.

IV

Люблю я март.
Вороний карк.
Зимы последний выплеск.
Грачиный крик,
Где спор возник
О пользе сочинительств.

И ветер свеж.
И вот рубеж
Между зимой и мартом.
Ветра судьбу
На берегу
Гадают нам по картам.

В раскладе карт –
Вороний карк
И вопли жадных чаек,
Грачиный шум,
Которым ум
И сердце отвечают.

* * *

А на рассвете дрозд поет.
Проснувшись, вновь тоскую.
Ведь невозможен поворот
Обратно, в жизнь мирскую.

Есть что-то нелюдское в том,
Как я живу, пытаюсь
Себя изобразить пером,
И как пишу, отчаясь.

А на рассвете свищет дрозд
И тенькают синицы.
И росы падают со звезд
Деревьям на ресницы.

* * *

Милая жизнь! Протеканье времен.
Медленное угасание сада.
Вот уж ничем я не обременен.
Сказано слово, дописана сага.

Кажется, все-таки что-то в нем есть –
В медленном, в неотвратимом теченье, –
Может, о вечности тайная весть
И сопредельного мира свеченье...

Осень. Уже улетели скворцы.
Ветер в деревьях звучит многострунно.
Грустно. Но именно в эти часы
Так хорошо, одиноко, безумно.

КОНЕЦ ЛЕТА

Покатилось лето под гору.
Август. Тихие деньки.
Подложив туман под голову,
Сонно бредят родники.

Млечный Путь клешнею рачьей
Тихо движется к рассвету,
Осторожно поворачивая
Ворот медленного лета.

Осторожней, осторожнее
Вейте, ветры, надо мной,
Чтобы месяц новорожденный
Не пугался тьмы ночной.

* * *

Сколько здесь явилось чар:
Ветер клены раскачал,
Листья с липы сбросил –
Наступила осень.

Все окончилось как будто.
Но сегодня сердце радо:
Ведь всего одна минута
До зимы и снегопада.

* * *

Всю ночь сегодня буря выла
И море зимнее бесилось.
И оттого так смутно было,
И думал я про нашу сирость.

Неужто есть конец, начало,
Но в мире – нам подобных нету?
И оттого так страшно стало
За одинокую планету.

А утром волны отрычали,
Снега от солнца заблестали.
И оттого так беспечальны
Мне дни грядущие предстали.

ШАРМАНЩИК

Шарманщик гуляет по свету.
Бредет по московским дворам.
Шарманочка музыку эту
Играет с грехом пополам.

Шарманщик встает спозаранку
И трудится до темноты.
«Шарманка моя, лихоманка!» –
И тут заедает лады.

«На улице ветер, ненастье.
А ты, мой органчик, играй.
А ты из коробочки счастье
Скорее достань, попугай!»

За счастье свое горожанка
Заплатит последний пятак.
«Шарманка моя, лихоманка,
Играй свою музыку так:

Таратам, таратам, таратам,
Таратам, таратам, тара...
С моим попугаем хохлатым
Стою посредине двора.

Шарманка, шарманка, шарманка
Меня довела до беды.
Шарманка моя, лихоманка...» –
И тут заедает лады.

Потом, после осени трудной,
Когда на бульварах черно,

Сидит он в подвале на Трубной,
Дает попугаю зерно.

За чашкой горячего чая
Сидит, молчалив и устал.
Ведь, счастье другим отдавая,
Он счастья себе не достал.

* * *

Когда-нибудь я к вам приеду,
Когда-нибудь, когда-нибудь,
Когда почувствую победу,
Когда открою новый путь.

Когда-нибудь я вас увижу,
Когда-нибудь, когда-нибудь,
И жизнь свою возненавижу,
И к вам в слезах паду на грудь.

Когда-нибудь я вас застану,
Растерянную, как всегда.
Когда-нибудь я с вами кану
В мои минувшие года.

* * *

В какие-то новые дали
Меня от тебя позвали
Какие-то новые вести,
И радости, и печали.

Пошел я белой дорогой
С лукавой судьбой тягаться
Вослед весне босоногой,
За шалью ее цыганской.

* * *

Острая моя травина,
Знавшая немало зол,
Я тебя непоправимо
Смял ногою и ушел.

Острая моя травина,
Ты лежишь суха, бела.
Я ушел, и половина
Сердца сразу отмерла.

БАЛЛАДА

– Ты моей никогда не будешь,
Ты моей никогда не станешь,
Наяву меня не полюбишь
И во сне меня не обманешь...

На юру загорятся листья,
За горой загорится море.
По дороге промчатся рысью
Черноперых всадников двое.

Кони их пробегут меж холмами
По лесам в осеннем уборе,
И исчезнут они в тумане,
А за ними погаснет море.

Будут терпкие листья зыбки
На дубах старинного бора.
И останутся лишь обрывки
Их неясного разговора:

– Ты моим никогда не будешь,
Ты моим никогда не станешь.
Наяву меня не погубишь
И во сне меня не приманишь.

* * *

А помнишь, ты была тогда
Беспамятной воды –
На светлой глади ни следа,
Ни складки, ни черты.

Мы не останемся нигде
И канем в глубь веков,
Как отраженье на воде
Небес и облаков.

* * *

А мы куда-то мчались
На поезде вдвоем,
Нимало не печалась
О будущем своем.

Вдоль телеграфных линий,
Под частый перестук
В простор глядели синий,
Не разжимая рук.

Как прядь твоя взлетала!
И воздух был тугой,
Был с запахом металла
И с дымною трубой.

А мы тогда не знали,
Что станция близка
И что грозят печали
С разлукой на века.

ЦЫГАНЕ

Нас в детстве пугали няни,
Что уведут цыгане.
Ах вы, нянюшки-краси,
Жаль, что меня не украли.

Бродил бы с табором лунным
(Странно-туманно).
Кони под месяцем юным.
Запах тимьяна.

Где вы, мои цыгане,
Плясуны, конокрады?
Где вы, мои цыганки,
Где вы, сердца отрады?

В поэзии нашей великой
Есть цыганская нота.
И звучит эта нота,
Когда уже жить неохота.

«Странно-туманно.
Расстались неожиданно.
На сердце рана,
И жизнь не желанна».

Пока луна не погасла,
На свете будет цыганство:
Песня, обман, лукавство,
Скрипка и постоянство.

Я помню цыгана Игната
В городе Кишиневе.
Он мне играл когда-то
О давней моей любви.

«Странно-туманно
Вечером рано.
Расстались неожиданно,
И на сердце рана!»

Узел моей печали,
Скрипка, стяни потуже...
Ах, если б нянюшки знали,
Как спасти наши души!

РОМАНС

Поворожи, цыганка,
На картах погадай,
Ограбь меня до нитки,
Но молодость отдай!

Обобранный до нитки,
Неловкий, молодой,
Поеду я в пролетке
С лошадкою гнедой.

– Скажи-ка мне, извозчик,
Куда меня везешь?
Ведь у меня в кармане
Один несчастный грош.

Извозчик мне ответит:
– Не можешь – не плати.
Ведь сам не знаешь, малый,
Куда тебя везти!

Не молодой, не старый,
Не мертвый, не живой,
Обобранный до нитки,
Я побреду Москвой.

И вдруг – знакомый дворик,
Где сушится белье.
– Привет, мой друг Татьяна,
Пусти меня в жильё.

– Прости меня, мой милый,
Что не могу пустить.
За то, что не любила,
Не можешь мне простить.

Я отойду печальный –
Все вспомнил, все забыл.
– Тебя, мой друг Татьяна,
Так мало я любил!

Забыто – не забыто.
И больно. И светло.
И то, что будет после,
Уже произошло.

* * *

Б. С.

Жизнь сплетает свой сюжет.
Но, когда назад согласишься,
Возникает свежий свет
Далеко – на девять поприщ.

По которым пятерых
Повело июнем ранним.
И нетленный пятерик
Засветился их стараньем.

Сколько крови пролилось,
Сколько дел осуществилось,
Сколько выпало волос
И сердец остановилось!

Но сияет вдалеке
Свежий свет того июня,
Как в предугрненной реке
Острый отсвет новолуныя.

* * *

Да, мне повезло в этом мире –
Прийти и обняться с людьми
И быть тамадою на пире
Ума, благородства, любви.

А злобы и хитросплетений
Почти что и не замечать.
И только высоких мгновений
На жизни увидеть печать.

* * *

Мне выпало счастье быть русским поэтом.
Мне выпала честь прикоснуться к победам.

Мне выпало горе родиться в двадцатом,
В проклятом году и в столетье проклятом.

Мне выпало все. И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры в походе великом.

Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.

* * *

Рассчитавшись с жаждою и хламом,
Рассчитавшись с верою и храмом,
 Жду тебя, прощальная звезда.
Как когда-то ждал я вдохновенья,
Так теперь я жду отдохновенья
 От любви и горького труда.

Но, видать, не спел последний кочет
И душа еще чего-то хочет,
 Своего никак не отдает.
Жаждет с веком и толпою слиться.
Так стремятся птицы в стаю сбиться,
 Собираясь в дальний перелет.

* * *

Здесь, вдали, неизвестно – кто умер, кто жив.
Просто письма не пишут.
Здесь всегда перед окнами дышит Залив.
А друзья уж не дышат.

Пусть дыханье Залива сольется с моим.
Его ветром объаты,
Вместе с ним океанской слезой уголим
Горечь каждой утраты.

* * *

Я устарел, как малый юс,
В сырой тени воспоминаний.
Многоглаголанья боюсь
И грубых жизнеописаний.

Ведь так изменчиво живу –
Подобно очертаньям дыма...
Хотелось бы по существу,
Но существо неуловимо...

РОМАНС СЕДЬМОГО ДНЯ

Ю. Л.

Когда от всех твоих любвей неясных
Родится чадо – лучшее из чад,
Прислушайся к звучанью детских гласных.
Они гласят: зачем я был зачат?

В блаженном содроганье ты был богом,
А в день седьмой вблизи твоих дверей
Твое подобье в логове убогом
Заснет среди растений и зверей.

И ты засни на берегу вселенной,
Спи, слабый бог, окутан сладкой мглой.
И все, что сотворил душой нетленной,
Замрет с тобою рядом в день седьмой...

Дари, творец, дитяти свет вечерний,
Его судьбы кощунственно не трожь...
И может быть, под ласкою дочерней
Когда-нибудь навеки ты уснешь.

* * *

Л. Л.

Отвези меня в Грузию! Здесь я хочу умереть.
Но сначала хочу поглядеть со скалы над Сигнахи
На долину, где осень кует виноградную медь
И стоят полукружием горы, надвинув папахи.

В Алазанской долине пои меня местным вином,
Я потом буду долго жевать золотую чурчхелу.
Увези меня в Грузию, друг, приведи меня в дом.
Только здесь я сумею отдаться последнему делу.

Только здесь, где однажды запели Шота и Важа,
Только здесь, где стояла препона всевластью ислама,
Только здесь, где судьба доведет меня до рубежа,
Только в Грузии, здесь, и начнется последняя драма.

Пусть я буду дыханием холмов ее освежен.
Пусть я буду объят, опоен ее долей и волей,
Византийскою нежностью тонких грузинских княжон
И медлительным вежеством добрых крестьянских застолий.

Отвези меня в Грузию! Здесь я хочу умереть.
Здесь, с друзьями, окончится вдруг ощущение чужбины.
И еще я хочу, и еще я хочу посмотреть
Со Сигнахских высот в глубину Алазанской долины.

* * *

Нет слова ужасней, чем это
Мучительное «никогда».
Со дня сотворения света
В нем времени к людям вражда.

Отбытие в нем без прибытья,
Оно убивает и рвет,
Как зверь на загривке события,
Ломающий лапой хребёт.

* * *

Что за жалкие эти уловки –
Упованье на молодость духа,
Если на постаревшей головке
Белизна, вроде детского пуха.

Что за скромное наше величье –
Пиджаки в орденах и медалях.
Нет, слова величавей молитвы
Уж начертаны в наших скрижалях.

Старость – это вселенское горе.
Но сегодня, под стать новолунью,
Обнимаю рассветное море
И зарю молодую целую.

АРСЕНИЮ ТАРКОВСКОМУ

Мария Петровых да ты
В наш век бездумной суеты
Без суеты писать умели.
К тебе явился славы час.
Мария, лучшая из нас,
Спит, как младенец в колыбели.

Благослови ее Господь!
И к ней придет земная слава.
Зато не сможет уколоть
Игла бесчестия и срама.

Среди усопших и живых
Из трех последних поколений
Ты и Мария Петровых
Убереглись от искушений
И в тайне вырастили стих.

* * *

Не мешай мне пить вино.
В нем таится вдохновенье.
Вдохновенье. А продленья
Нам добиться не дано.

Без вина судьба темна.
Угасает мой светильник.
Смерть – она не собутыльник,
К трезвости зовет она.

Можно ль жить, себя храня,
С чувством самобереженья?
Нет, нельзя среди сраженья
Уберечься от огня!

Ты уж так мне жить позволь,
Чтоб не обращал вниманья
На прерывистость дыханья
И тупую в сердце боль!..

* * *

Не исповедь, не проповедь,
Не музыка успеха –
Желание попробовать,
Как отвечает эхо,

Как наше настоящее
Поет морозной ранью
И как звучит стоящее
За вековую гранью.

* * *

К чему ни прислушайся – все перепев...
Да, мой перепел, ты и себя перепел.
Но однажды, от радости оторопев,
Ты особую ноту поставил в пробел.

Ты, неверную, что остальным вопреки...
Но, мой перепел, я тебя не попрекну
Переломом мотива, крушеньем строки,
Несуразицу всю не поставлю в вину.

Пусть та нота – какая-то вовсе не та,
Да, мой перепел, дуй в нее, как стеклодув,
А когда не по горлу тебе высота,
Раздери клокотаньем разинутый клюв.

* * *

Я вдаль ушел. Мне было грустно.
Любовь ушла. Ушло вино.
И я подумал про искусство:
А вправду – нужно ли оно?

Затем, зачем стремится гений
Познать ненужность бытия,
Ведь все мгновенней и мгновенней
И сокровенней жизнь моя!..

ДУЭТ ДЛЯ СКРИПКИ И АЛЬТА

М. П.

Моцарт в легком опьяненье
Шел домой.
Было дивное волненье,
День шальной.

И глядел веселым оком
На людей
Композитор Моцарт Вольфганг
Амадей.

Вкруг него был листьев липы
Легкий звон.
«Тара-тара, тили-тики, –
Думал он. –

Да! Компания, напитки,
Суета.
Но зато дуэт для скрипки
И альта.»

Пусть берут его искусство
Задарма.
Сколько требуется чувства
И ума!

Композитор Моцарт Вольфганг
Он горазд, –
Сколько требуется, столько
И отдаст...

Ох, и будет Амадею
Дома влет.
И на целую неделю –
Черный лед.

Ни словечка, ни улыбки.
Немота.
Но зато дуэт для скрипки
И альта.

Да! Расплачиваться надо
На миру
За веселье и отраду
На пиру,

За вино и за ошибки –
Дочиста!
Но зато дуэт для скрипки
И альта!

СОН

Какая-то странная книга
Сегодня привиделась мне.
Я взял эту старую книгу
И стал осторожно листать.

Ах, что это за чертовщина! –
Она начиналась с конца.
Страницы ее эпилога,
Ей-богу, я знал назубок!

А мне было нужно начало,
Ведь был непонятен конец.
И книга мне все обещала,
Как полный сокровищ ларец.

Герои вступали в сраженье,
И кто-то из них умирал,
Но где же начало, начало? –
Задумчиво я повторял.

Герои казнили друг друга,
Герои вершили дела.
Меня по порочному кругу
Коварная книга вела.

Вела меня за полстолетье,
Как будто по лестнице вниз.
И я оторваться порою
Не мог от прекрасных страниц.

Но мне было нужно начало,
Которое я утерял.
Так где же начало, начало, –
Настойчиво я повторял.

Закреть эту книгу не в силах,
Как это бывает во сне,
Листаю, листаю страницы,
И страшно становится мне.

Как будто вокруг одичало.
И странно и пусто в мозгу.
Так где же начало, начало –
Ищу. И сыскать не могу.

РЕМ И РОМУЛ

Когда совсем свихнутся люди
И что-то страшное случится –
Тогда опять подставит груди
Двум новым близнецам волчица.

И, выкормленные волчицей,
Какие-нибудь Рем и Ромул
Замыслят снова причаститься
Новейшей из вселенских формул...

Там будет пахнуть волчьей шерстью
И кровью заячьей и лисьей
И стадо туров в чернолесье
Спускаться будет с горных высей.

Пойдут, плутая в диких травах,
Отъяты от сосцов обильных,
Поняв, что единеньем слабых
Побьют разъединенье сильных.

И стенами им станут кущи,
И кровлей – придорожный явор.
Но Рим построят, потому что
Без Рима торжествует варвар.

Над ними будет крик гусиный,
Пред ними будет край безлесый,
А впереди их – путь пустынный.
Но на устах язык вселенский.

И лягут и, смежив ресницы,
Заснут, счастливые, как боги.
И сон один двоим приснится
На середине их дороги.

ПРО ВАНЮШКУ

Просит Ванюшка у мамушки:

– Испеки ты мне шанежки –

Целый пуд.

– А зачем тебе, Ванюшка,

Шанежек

Целый пуд?

– Я шанежки возьму

Да на торг пойду.

Продам я шанежки,

Получу за них денежки.

– А зачем тебе, Ваня, денежки?

– Куплю кафтан ала бархата,

Да сапожки козловые,

Да ружье куплю с насечками.

Как откину у кафтана полу,

Как топну три раза сапожками,

Как начну из ружья палить,

Бояре в городе испужаются,

Слуги боярские поразбегаются.

Заберу я у них казну,

Заберу и себе возьму.

– Ах ты, Ванюшка, глупый Ванюшка.

Бояре-то в городе сильные.

Не дадут тебе казну.

Лучше ты ступай ко сну.

Поздние стихи
1985–1990

БЕАТРИЧЕ

БЕАТРИЧЕ

Говорят, Беатриче была горожанка,
Некрасивая, толстая, злая.
Но упала любовь на сурового Данта,
Как на камень серьга золотая.

Он ее подобрал. И рассматривал долго.
И смотрел и держал на ладони.
И забрал навсегда. И запел от восторга
О своей некрасивой мадонне.

А она, несмотря на свою неученость,
Вдруг расслышала в кухонном гаме
Тайный зов. И узнала свою обреченность.
И надела набор с жемчугами.

И, свою обреченность почувствовав скромно,
Хорошела, худела, бледнела,
Обрела розоватую матовость, словно
Мертвый жемчуг близ теплого тела.

Он же издали сетовал на безответность
И не знал, озаренный веками,

Каково было ей, обреченной на вечность,
Спорить в лавочках с зеленщиками.

В шумном доме орали драчливые дети,
Слуги бегали, хлопали двери.
Но они были двое. Не нужен был третий
Этой женщине и Алигьери.

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА «ЛАУРИ»

У нас с тобой каникулы
В круглогодичной школе
Взаимных обучений.
Кругом леса и выгоны.
Дорога вьется в поле.
Автобус предвечерний.

А остановка «Лаури»
Вдруг может стать Лаурой,
На фоне ровной травки
Возможно в светлой ауре
Среди природы хмурой
Явление Петрарки.

Откуда здесь? В неведение.
Но где-то за лугами,
Где не подозревают,
«Божественной комедии»
Зловещими кругами
Округа назревает.

А дальше — силы женственной
Два образа, что мѣлы
Душе в своем различье.
Поэзии божественной
Две жертвы. Две могилы.
Лаура. Беатриче.

* * *

Ждать не умею! Вмиг! Через минуту!
Ведь каждый миг я изменяюсь сам.
А нынче мне приснилось почему-то,
Что мы живем по солнечным часам.

А солнца нет. В душе темно, как в штольне.
И циферблат луны туманом скрыт.
И лишь на вильяндистской колокольне
Двенадцатый удар. Звонарь не спит.

* * *

Желанье и совесть — две чаши
Весов. Если нет равновесья,
Желанья бессовестны наши.
А совесть — сплошное увечье.
И в самоубийственном раже,
Как жуткий пожар чернолесья,
Дымится нутро человеچه.

ДОН КИХОТ

Так за день устаю от битвы с ветряками
И от фантазии испанской,
Что к вечеру хочу в трактире с мужиками
Стать Санчо Пансой.
Смешной старик, худой, седоволосый,
Молчу. Кому нужна изысканная проза!
Молчу и слушаю. Но вдруг бледнею,
Когда заговорят про Дульцинею,
Про Дульцинею из Тобозо!

Что говорят о ней, о девке с сеновала!
Смешной гидальго, встань, ведь ночь не миновала,
Клой до утра свое небесное зерно.
А утром вновь пойдешь войной на мнимых чудищ.
Но с Санчо Пансой воевать не будешь.
Да и ему с тобой сразиться не дано.

* * *

Ты подарила мне вино,
Как крепость старому вину.

Сперва меня давила в чане,
Как кахетинские крестьяне
Тугие грозди Алазани
Жмут, беспощадные к плодам.

Потом меня лишила плоти.
А кровь мою, что изопьете,
Я при застолье вам подам.

СТРАСТЬ

В страстях, в которых нет таланта,
Заложено самоубийство
Или убийство. Страсти Данта
Равны ему. Растут ветвисто.

Страсть — вовсе не прообраз адюльтера.
В ней слепота соседствует с прозреньем,
С безмерностью — изысканная мера:
Слиянье Бога со своим твореньем.

В ней вождельня нет. И плотью в ней не пахнет.
Есть страсть духовная. Все остальное — ложь.
И криворотый образ леди Макбет,
Которая под фартук прячет нож.

* * *

Вот в эту пору листопада,
Где ветра кислое вино,
Когда и лишних слез не надо —
В глазницах сада их полно,

Тебя умею пожалеть.
Понять умею. Но доньне
Никто не мог преодолеть
Твоей заботливой гордыни.

Ты и сама над ней не властна,
Как все не властны над судьбой.
А осень гибелью опасна.
И прямо в горло бьет прибор.

45-я ГАЙДНА

Исчерпан разговор. Осточертели речи.
Все ясно и наглядно.
Уходят наши дни и задувают свечи,
Как музыканты Гайдна.

Братъ многого с собой я вовсе не хочу:
Платок, рубашка, бритва.
Хотел бы только взять последнюю свечу
С последнего пюпитра.

Когда свой приговор произнесу в ночи
Под завыванье ветра,
Быть может, отрезвлюсь, увидев, как свечи
Истаивает цедра.

* * *

Не для меня вдевают серьги в ушки
И в зеркало глядятся.
О милая, обмана не нарушайте,
Свершая святотатство!

Не для меня небрежна эта складка,
Блеск янтаря на шейке.
О милая! Так улыбайтесь сладко,
Цветите, хорошейте.

Я знаю все равно, что на излете
Сей тривиальной прозы,
Заплаканная вы ко мне придете.
Я поцелую слезы.

Я обниму вас с болью злобной ласки
И жалостной отрады.
И потечет размыв ресничной краски
На кровь губной помады.

БАБОЧКА

Я тебя с ладони сдуну,
Чтоб не повредить пыльцу.
Улетай за эту дюну.
Лето близится к концу.

Над цветами по полянам,
Над стеною камыша
Поживи своим обманом,
Мятлик, бабочка, душа.

* * *

Ах, наверное, Анна Андревна,
Вы вовсе не правы.
Не из сора рождаются стихи,
А из горькой отравы,
А из горькой и жгучей,
Которая корчит и травит.
И погубит.

И только травинку
Для строчки оставит.

ИДИЛЛИЯ НА ПОТОМ

Рассчитаемся не мы — потомки
Порешат, кто прав, кто виноват.
Так давай оставим им потемки.
Пусть мой стих им будет темноват.

Пусть от нас останется легенда,
Росказни, почтовые лубки,
Бонбоньерка, выпускная лента,
Поздравительные голубки.

И еще — любительские снимки,
Где улыбчивы Она и Он,
Что, наверно, выжмут две слезинки
У красавиц будущих времен.

Пусть останется... А остальное
Поскорей пусть порастет быльем —
Все, что мы с тобою знаем двое.
Ночь. Тоска. И ветер за окном.

РЕПЛИКА ДАНТЕ

О, вы ее не знаете!
В ней есть
Умение обуздывать порывы.
И, следовательно, свобода воли.
Мы оба несчастливы,
Но откровенны.
Это можно нам зачесть
За счастье в каждом нашем разговоре.

Она меня не любит. Да и я
Люблю, быть может, лишь свое творенье.
Но часть его — она.
Когда душа моя отрешена,
Когда картину ада видит зренье, —
Она со мной и целиком моя.

По улицам в толпе я прохожу ненастен,
Извозчичьих трактиров чуя чад.
На площади ее встечаю.

— Мастер,

Как спали вы?

— Я спал, мадонна, видел Ад.

ПОД УТРО

Так с тобой повязаны,
Что и в снах ночных
Видеть мы обязаны
Только на двоих.

Не расстаться и во сне
Мы обречены,
Ибо мы с тобою не
Две величины.

И когда расстонется
За окном борей,
Я боюсь бессоницы
Не моей — твоей.

Думаешь. О чем, о ком?
И хоть здесь лежишь,

Все равно мне целиком
Не принадлежишь.

Я с твоими мыслями
Быть хочу во мгле.
Я хочу их выследить,
Как мосье Мегре.

А когда задышишь ты
Так, как те, что спят,
Выхожу из пустоты
В сон, как в темный сад.

Тучи чуть светаючи.
Месяц невесом.
Мысли лишь пугаючи.
Сон есть только сон.

* * *

Действительно ли счастье — краткий миг
И суть его — несовершенство,
И правы ль мы, когда лобзаем лик
Минутного блаженства?

И где оно, мерило наших прав?..
О, жалкое мгновенье,
Когда пчела взлетает с вольных трав
И падает в варенье!

Нам суждено копить тяжелый мед,
И воск лепить, и строить соты.

Пусть счастья нет. Есть долгие заботы.
И этой жизни милый гнет.

* * *

Я вас измучил не разлукой — возвращеньем,
Тяжелой страстью и свинцовым мщеньем,
Пленен когда-то легкостью разлук,
Я их предпочитал, рубя узлы и сети.
Как трудно вновь учить азы наук
В забушевавшем университете!

Как длинны расстоянья расставаний!..
В тоске деревья... Но твоя рука.
И капор твой в дожде. И ночью ранней
Угрюмый стук дверного молотка...

ОНА

Неверие тому, что даже очевидно.
Мир полон призраков, как Лысая гора.
Ни пенье петуха, ни жаркая молитва
Не прогоняют их с утра и до утра.

Сгинь, наважденье, сгинь! Замкни страницы, книга,
Слепи между собой, чтоб их не перечесть!..

.....

Она томит, как ярость, злость и месть.
Она не чтит причин. Она равновелика,
Когда причины нет, когда причины есть.

* * *

Устал. Но все равно свербишь,
Настырный яд, наперекор хотеньям.
Как будто душу подгрызает мышь.
Душа живет под солнечным сплетеньем.

Казалось, что она парит везде
И незаметно нам ее передвиженье.
И почему теперь я знаю, где
Ее точнейшее расположение?

И почему она
В иные времена
Как бы растворена в потоке ровной воли?
Как будто нет ее. И лишь в минуты боли
Я знаю: есть душа и где она.

* * *

Веселой радости общенья
Я был когда-то весь исполнен.
Оно подобно освещенью —
Включаем и о нем не помним.
Мой быт не требовал решений,
Он был поверх добра и зла...
А огненная лава отношений
Сжигает. Душит, как помпейская зола.

* * *

Как я завидую тому,
В ком чувство гордости сильнее
Обид. Кто может, камня,
Как древний истукан глядеть во тьму.

Но сердце, подступивши к рубежу,
Окаменеть уже не может.
Его воображенье изничтожит...
Уже себе я не принадлежу.

ФАНТАЗИЯ

Фантазия — болезнь причин и следствий,
Их раж, их беззаконный произвол.
И непоследовательность последствий.
Фантазия! Она — начало зол!

Фантазия — свержение с престола,
Разъятье мировых кругов и сфер.
Ее для нас придумал Люцифер.
Фантазия — слепая ярость пола,

Ломание рогов и рык самца.
Крушение систем и крах теорий.
Она — недостоверность всех историй
До губительной нелепости свинца.

В ней странно то, что голубых красот
Нам не рисует кисть воображенья.
А только хаос, только разрушенье.
Ее не сыщешь в устроенье сот,

В идиллии пчелиных медосборов,
В мелодиях аркадских пастушков...
Несчастлив тот, кто испытал, каков
Ее неукротимый норов.

* * *

В меня ты бросишь грешные слова.
От них ты отречешься вскоре.
Но слово — нет! — не сорная трава,
Не палый лист на косогоре.

Как жалко мне тебя в минуты отреченья,
Когда любое слово — не твое.
И побеждает ум, а увлечение
Отжато, как белье.

Прости меня за то, что я суров,
Что повторяюсь и бегу по кругу,
За справедливость всех несправедливых слов,
Кидаемых друг другу.

* * *

Ты скажи, чем тебя я могу одарить?
Ни свободой, ни силой, ни славой,
Не могу отпустить тебя жить и творить
И свой путь по земле невозбранно торить, —
Только горстью поэзии шалой.

Потому-то у нас перекресток пути,
Потому-то нам в разные страны идти,
Где мы оба недолго покружим.
Ты раздаривать будешь осенний букет,
Я – разбрасывать старости злой пустоцвет,
Что лишь мне самому только нужен .

* * *

Ты не добра.
Ко мне добра.
Ты не жестока.
Ты со мной жестока.
Хоть ты из моего ребра,
Но требуешь
За око
Око.

Я очи отдал.
Новая заря
Прольется на меня,
Как неживая.
Тогда себе найду поводыря.
И побредем мы,
Песни распевая.

* * *

Простите, милые, ведь вас я скоро брошу.
Не вынесет спина
Ту дьявольскую ношу,
Что мне подкинул сатана.

Но все равно я буду видеть вас
И ощущать отчизну.
Я просочусь, как газ,
Как облачко повисну.

Но Бога не увижу – сатану
Среди кривляющихся ратей,
Когда, узрев тебя в жару чужих объятий,
Услышу вздох твой и, как буря, застону.

НА РАССВЕТЕ

Почти светает. После объясненья,
Где все разъяснено,
Прозрачный воздух льется в помещенье
Сквозь тусклое окно.

Все фразы завершаем многоточьем...
Проснулись воробьи.
Залаял сонный пес.

И между прочим –
Признание в нелюбви.

* * *

Жалость нежная пронзительней любви.
Состраданье в ней преобладает.
В лад другой душе душа страдает.
Себялюбье сходит с колеи.

Страсти, что недавно бушевали
И стремились все снести вокруг,

Утихают,
 возвышаясь вдруг
До самоотверженной печали.

* * *

Я написал стихи о нелюбви.
И ты меня немедля разлюбила.
Неужто есть в стихах такая сила,
Что разгоняет в море корабли?

Неужто без руля и без ветрил
Мы будем врозь блуждать по морю ночью?
Не верь тому, что я наговорил,
И я тебе иное напорочу.

ПОСЛЕДНИЙ ПРОХОД БЕАТРИЧЕ

По окончанье этой грустной драмы
Пусть Беатриче снова просквозит.
Разъехались актеры. До утра мы
Одни. И нам не нужен реквизит.

Ах, реквизит не нужен. Только тени
Вещей, предметов, туч, деревьев, трав.
Я предпочту играть на голой сцене,
Всю нашу бутафорию убрав.

Я бы сыграл одни лишь наважденья.
Но вдруг услышу Беатриче шаг,
Когда она походкой Возрожденья
Минует зал и делает мне знак.

Уже от глаз моих бегут предметы,
И только слышатся ее шаги.
Ты — силуэт. Все вещи — силуэты.
Не вижу, Беатриче, помоги!

Не надо. У меня не хватит духа
На монолог — венец старинных драм.
Ступай. Уже мне яду влили в ухо.
А остальное доиграю сам.

Сыграю среди этой ахинеи
Деревья, травы, тучи и дожди...
Играть себя мне с каждым днем труднее.
Не нужно, Беатриче. Уходи.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Трудней всего выздоровленье памяти.
Спрошу:

— Ты помнишь?

Скажешь:

— Нет причины.

Увижу камедь — я леплю из камеди.

Увижу глину — я леплю из глины.

И лепится какая-то нелепица,
Какие-то уродцы, карлы, мимы,
А память, может, вовсе и не лечится.
Пути господни неисповедимы!

«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»

Стояли они у картины:
Саврасов. «Грачи прилетели».
Там было простое, родное.
Никак уходить не хотели.

Случайно разговорились,
Поскольку случилась причина.
— Саврасов. «Грачи прилетели» —
Хорошая это картина.

Мужчина был плохо одетый.
Видать, одинокий. Из пьющих.
Она — из не больно красивых
И личного счастья не ждущих.

Ее проводил он до дома.
На улице было морозно.
Она бы его пригласила,
Но в комнате хаос и поздно.

Он сам напросился к ней в гости
Во вторник на чашечку чая.
— У нас с вами общие вкусы
В картинах, как я замечаю.

Два дня она драила, терла
Свой угол для скромного пира.
Пошла, на последние деньги
Сиреневый тортик купила.

Под вечер осталось одеться,
А также открытку повесить —
«Грачи прилетели». Оделась.
Семь, восемь. И девять. И десять.

Семь, восемь, и девять, и десять.
Поглядывала из-за шторы.
Всплакнула. И полюбовалась
Коричневой розой на торте.

Себя она не пожалела.
А про неудавшийся ужин
Подумала: «Бедненький тортик,
Ведь вот никому ты не нужен.

Наверно, забыл. Или занят...
Известное дело — мужчина...»
А все же «Грачи прилетели»
Хорошая очень картина.

В НОЧНОМ

Были ветер и дым.
Были травы и кони.
Совершенством своим
Конь подобен иконе.

Так же чист его лик,
Так же взор его светел.
Были луг и тальник,
Были травы и ветер.

Был костер и казан,
Полунощная птица.
Конь, луна и цыган.
Сны, которым не сбыться.

* * *

Знаю: дерево это в июне
Достигает духовных высот.
Как роскошно оно в новолунье,
Как сильны его запах и пот!

Расстиляется лунная пажить,
Расплаваясь в рассветном дыму.
Молча дерево что-нибудь скажет,
Молча месяц ответит ему.

Друг на друга с улыбкою глянут
И увидят, что скоро рассвет.
И тогда уж пернатые грянут
Уходящему месяцу вслед.

* * *

Слышно все. В соседней улице
Просквозила легковая.
Ветер с яблоней целуется
До зари, не уставая.

Фортка хлопнула. Калитка пискнула.
«Скорая» проквкала сиреной.

Слышно: с расстояния неблизкого —
Крякнул дуб под тяжестью вселенной.

Слышно: яблоко, достигнув спелости,
С ветки уронилося с мягким стуком.
Каждый звук здесь остается в целости,
Не соединяясь с прочим звуком.

Даже слово медлит на губах,
Чтоб не затеряться в разговоре.
Главное, что в пятистах шагах
Молча страсти сдерживает море.

* * *

А иногда в туманном освещенье
Евангельский сюжет изображает клен —
Сиянье, золотое облаченье
И поворот лица, и головы наклон.

И, замерев, ты чувствуешь усладу
И с умиленьем ждешь своей судьбы.
И ждешь, чтоб месяц засветил лампаду,
Чтоб вознести молитвы и мольбы.

* * *

Овсяновки, малиновки, щеглы,
Клесты, кукушки, иволги, синицы.
На рассвете так они щедры,
Что нельзя не присоединиться.

Хочется защелкать, засвистать,
Повторить мотив певучей птахи.
Или с палочкой за пультом встать,
Как бывало некогда при Бахе.

Но, пожалуй, из таких затей
Только гений извлечет немало.
Без шестнадцатых и четвертей
Он услышит главный тон хорала.

Это могут Моцарт или Бах —
Всею стаей в нотный стан нагрять,
Рассадить на всех линейках птах,
Встать за пульт, взмахнуть смычком —
и грянуть.

Гений прост, когда часов с пяти
Птицы скопом распевают в чаще.
Вслушаться, понять, что это — счастье,
И свободно воспроизвести.

ОСЕНЬ

Д. Х.

В уходе есть свое величье.
Когда, не подсчитав потерь,
Выходят прямо в безграничье
И не запахивают дверь.

Перед морозом, перед снегом,
Перед бесчинством непогод.
И можно ли считать побегом
Великой Осени уход?

Уж ветер северо-восточный
В листве копается, сварлив,
Как архивариус дотошный,
Долистывающий архив.

А тот архив уже не нужен.
Отказываться нам пора
От стилистических жемчужин,
От легких шалостей пера.

Ступай вдоль серого залива,
Мечи следы на пляж пустой,
Беседуя неторопливо
С землей, водой и высотой.

ПОСЛЕ СУРОВОЙ ЗИМЫ

Снег все же начал таять. Суть
Победна. И весна, хоть робко,
Но начала торить свой путь.
Уже подтаивает тропка.

Черны, крепки деревья так
В рисунке своего скелета,
Что могут сохранить костяк
В роскошном оперенье лета.

Уже на новом рубеже
Стоят небесные светила.
И время летнее уже
Нам радио провозгласило.

Так побеждает суть. В саду
Вокруг деревьев глубже лунки.
И радуют на холоду
Синиц серебряные струнки.

Суть времени уже ясна.
Пусть неуступчива погода,
Грядут иные времена,
Извечно, как у Гесиода.

Снег начал таять. В этом суть.
И здесь мерило высшей пробы.
Уже весна торит свой путь.
А формы тают, как сугробы.

* * *

Мать ушла. И тонкий полог
Вдруг исчез.
Надо мною звездный холод
В семь небес.

Небеса бездонны эти —
Синь и жуть.
Нас, как рыбу, манит в сети
Млечный Путь.

И теперь иные ночи
Начались.
Ведь твои слепые очи
Смотрят вниз.

ДВА ГОЛОСА

Первый

Когда ты восстанешь из мертвых,
Какие ты скажешь слова?

Второй

Нет, я не восстану из мертвых,
Душа моя будет мертва.

Первый

Когда ты вернешься на землю,
Ты снова полюбишь ее.

Второй

Нет, я не хочу возвращаться
В убогое тело мое.

Первый

Да что тебе брренное тело!
Ты явишь божественный лик.

Второй

Но как же я буду без тела?
Ведь я без него не привык.

Первый

Когда ты восстанешь из мертвых,
Себя от себя отреши.

Второй

Но нужно ли мне воскресенье
Одной бестелесой души?..

* * *

Когда бы спел я наконец
Нежнейшее четверостишие,
Как иногда поет скворец
Весною в утреннем затишье!

Про что? Да как вам объясню?
Все так нелепо в разговоре.
Ну, предположим, про весну,
Про вас, про облако, про море.

* * *

Чудо — познаваемость Вселенной
И с природой дивный диалог.
Этот чистый, темный и целебный
Рек, небес, пустынь и моря слог.

Этих гор возвышенные оды,
Пестрые элегии лесов,
Разговор осмысленной Природы,
Примечанья птичьих голосов.

Осторожней принимай признанья
И о тайнах сбивчивый рассказ.
Что-то пусть останется за гранью,
В любопытстве сдерживая нас.

* * *

Э. С.

Несовпадение в пространстве
Мы не заметим. Просто мимо
Пройдем рассеянны, бесстрастны,
Рассеемся, как струйки дыма.

Несовпадение во времени —
Тоска о том, чему не сбыться.
Бессмысленное озарение
Томящегося ясновидца.

* * *

Есть спор двух душ слиянных — о разъятье.
Спор двух неосторожных, жадных душ,
Спор о свободе, словно о проклятье, —
Двух душ слиянных, залетевших в глушь.

И оба мы живем под впечатленьем
Поэмы, не написанной пером.
То с просветлением, то с утомленьем
Поэмой этой дышим и живем.

В боренье том неистовом, но истом,
Слиянные навек, как два ручья,
Мы обращаемся к евангелистам:
Ведь верно — боль ценней небытия.

* * *

Меня ты не отпустишь. Осторожно
Введешь меня в Харонову ладью.
И мы тогда поймем, как невозможно
Сказать: «Постой. Не уходи. Люблю».

Но перевозчик строго, отрешенно
Нас будет ждать, нетороплив и тих,
Покуда я из той ладьи Харона
Благословлю на жизнь детей моих.

И лодочник опустит весла плавно,
Вокруг сомкнется черная вода.
Прости-прощай, княгиня Ярославна,
Твой Игорь не вернется никогда!

Так омочи в реке рукав бобровый,
Омой свои шелковые крыла!
Увидишь тень ладьи во мгле лиловой.
Тогда поймешь, что молодость прошла.

* * *

Владеть всем тем, что нам дано,
Чем человек богат и чуток!
Не опускаться до того,
Чтобы руководил рассудок!

А отдаваться тем, земным,
Слепым, глухим и безрассудным
Желаньям — тем, что мы храним
Наперекор понятиям скудным, —

Любви, сочувствию, слезам,
Прощенью, отвращенью к крови.
Все это, относясь к азам,
Естественно в своей основе.

ВОЗНЕСЕНИЕ АУГУСТА ЛИМА
(*Местная быль*)

I

Люблю легенды. В них разбег
И краткость. (Ибо я не стайер.)
Пишу, покуда снег не стаял.
Но очень скоро стает снег.
Пишу сугробам. Но люблю,
Чтобы растаяли сугробы,
Чтоб потекли, осели, чтобы
Служили пополнению рек.

II

Вот так же думал Аугуст Лим.
(Но не ручаюсь, что об этом,
Поскольку не был он поэтом,
А просто – нелюбитель зим.)
Он жил в приморском городке,
В домишке чистом и прелестном.
И слыл философом известным.
Сейчас я познакомлю с ним.

III

Мужчина. Лет за пятьдесят.
Он за столом работал редко:
Три слова, изредка — заметка.
А там его тянуло в сад.
Он наблюдал, как рос редис
Или подобное растенье.
С восторгом он встречал цветенье
И с неохотой — листопад.

IV

Амалья-Гамадрилла Фюнф
Жила у Лима экономкой.
Была девицею негромкой,
Зато достоинств — целый фунт.
Не буду я касаться здесь
О них неблагоприятных сплетен.
Философ был великолепен,
Но перед ней стоял во фрунт.

V

Я даже кратко излагать
Его учения не стану,
Поскольку много в нем туману:
Идея, что Природа — мать,
Но неизвестно кто отец.
Ну и так далее. Не страшно
Прослыть профанами. Нам важно
Лишь то, что Лим любил гулять.

VI

Да! Я ведь начал про снега,
Но, отвлекаясь, их оставил.
А снег тем временем растаял.
И отделились берега
От моря. По большой воде
Бежали легкие буруны.
По вечерам сияли дюны,
Как лысина без парика.

VII

Лим вышел прогуляться. Он
В плаще легко шагал по дюнам.
Но вдруг весенний ветер дунул
И охватил со всех сторон.
И загремел весенний шторм.
Забушевала Мать-Природа,
Как часто в это время года.
Лим в этот грохот был влюблен.

VIII

От волн неслась морская пыль,
Волненье затопило пляжи,
Распространяясь ввысь и вширь.
Деревья закричали в раже.
Бесстрашный Лим, закутан в плащ,
Стоял среди морского гула.
Но вдруг порывом плащ раздуло —
И он взлетел, как нетопырь.

IX

Превыше всех высоких крон
Его взнесло одним ударом.
По воле ветра став Икаром,
Он мчал, врезаясь в небосклон.
Стал воздух бледен, как сукно.
В груди дыхание спирало.
Вокруг гремело и орало:
На город Лима нес циклон.

X

Стемнело. Город стал глухим.
Шторм, разрастаясь, бил по крышам.
Как бы влеком порывом высшим,
Летел философ Аугуст Лим.
В его душе восторг и страх,
Вблизи шарахаются тучи.
Шторм, разъяренный и могучий,
Свеж, молод и неумолим.

XI

От притяжения земли
Совсем освободилось тело.
Оно, блаженствуя, летело,
Как парусные корабли.
Внизу десяток огоньков
Мерцал в пространстве нелюдимом,
Порою тучами, как дымом,
Прикрыт.
Ветры вознесли

XII

Философа. И он решил,
Что это знак его величья.
Мелькнула мимо стая птичья,
Почти лишившаяся сил.
Его же призывал Зевес,
Чтоб воспарил ширококрыло.
Что там Амалья-Гамадрилла
Тому, кто от небес вкусил!

XIII

И было страшно глянуть вниз,
Где все расплылось и погасло.
Стихии, плотные, как масло,
Его держали. И лились,
Куда неведомо. Летун
Был акробатом в диком цирке...
Но вдруг задел за флюгер кирхи —
Задел за флюгер и повис.

XIV

И сразу прохватила дрожь:
Ведь можно на землю свалиться!
Вот и летай теперь как птица...
Клянусь, что этот факт не ложь.
Ну что ж, коль этот факт не ложь?
Лишь для пустого очевидца
Любая правда пригодится,
Хотя в ней смысла ни на грош.

XV

Я правдою по горло сыт.
А перед смыслом ум пасует.
Пусть тот, кого интересует,
О смысле сам сообразит.
И разберется что к чему.
Мне это не необходимо.
Итак, мы отвлеклись от Лима.
Что сним? Пока еще висит.

XVI

Висел он, как пиратский флаг.
И слабо вопиял: «Амалья,
Спаси меня!» Ведь знал, каналья,
Что дело не оставят так.
И впрямь, его пошли искать.
И обнаружили на шпиле,
Воздели руки, возопили:
«Вот до чего довел кабак!»

XVII

Наутро люди собрались.
Смеялись, гикали, орали,
С недоумением взирали,
Как Лим над городом повис.
Пожарный прискакал обоз.
И, наконец, беднягу сняли...
А все же, как насчет морали?
Возможно так: не возносись!

XVIII

Да что мораль!

 Пришла весна,
Повеял с моря ветер вешний,
В его дыханье каждый грешный
Пьянеет, словно от вина,
И можно даже вознестись,
А хочешь — повисеть на шпиле...
Ужасно надоели штили
И благостная тишина!

ПОСЛЕДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Смысл истории, значенье лиц,
Может быть, нам растолкует гений,
Нас убережет от небьлиц
И замусоренных представлений.

Может быть, как это было встарь,
Люди снова приобщатся к тайне.
В небе звезды вспыхнут, как янтарь.
В них прочтем судеб предначертанье.

Не по звездам ли пора прочесть
То, что философии неясно?
И принять судьбу, какая есть,
Не противоборствуя напрасно.

* * *

Покаяньям публичным не верится.
Лучше бы промолчать, утаить.
Как заветную веточку вереска,
Как во тьме ариаднину нить.

Нынче нужно с собою по строгости
Говорить, а не так, как тогда —
Помнишь? — при оупении совести.
Ой, какая случилась беда!

Горе скоро свое не размыкаю,
Но ответчу, уйдя в тишину,
За свою, за твою, за великую,
За неявную нашу вину.

* * *

В памяти угасла строчка,
Как падучая звезда.
В памяти моей непрочной
Не оставила следа.

Ни следа от той, летучей,
Строчки, что легко забыть,
Строчки на какой-то случай,
Пустяковый, может быть.

Пустяковый, может статьсся,
Чуть нарушивший покой,
Но никак нельзя расстаться,
Вспомнить хочется — какой?

* * *

Не кажется ли, что наивней
Я был всего лишь год назад,
Когда в громаду поздних ливней
Вошел огромный листопад.

И с ним каких-то чувств громада.
И с ним растерянность, дабы
Рождалось чувство листопада,
Как оголение судьбы.

* * *

Вспоминай про звезды неба,
Потому что звезды неба
Упасают от набега
Половца и печенега.

Потому что в жизни вздорной,
Часто празднующей труса,
Поднимают до Нагорной
Проповеди Иисуса.

Потому что в их чертоге
Без вражды и без тревоги
Обитают полубоги,
Рыбы, псы и козероги.

Потому что различимый
Привкус тайны в их настое.
Потому что нет причины
Отвлекаться на пустое.

* * *

Памяти Ф. Ю. Зигеля

Вот еще один ушел
В даль, откуда нет возврата.
Серебристый снег лежит.
Каркнул ворон. Как в трехстишье
По-японски. Я один.
Дерево бежит с холма.
Мимо неподвижной речки
Протекают берега.

Не хватает мне коня,
Чтобы с ним вести беседу,
Потому что здесь все меньше
Разумеющих меня.
Я бы с ним поговорил
На серебряном наречье
Про призванье человечье,
Про игру вселенских сил.
Мне здесь жить не надоело,
Но у Господа для тела
Я бессмертья не просил.

* * *

Январь в слезах, февраль в дожде. Как усмотреть,
Что будет так: январь в слезах, февраль в дожде.
А если утром из окошка поглядеть,
Не угадать — когда живешь, когда и где.

Как разобраться нам в невнятице такой —
Январь в слезах, февраль в дожде. Престранный год.
Уж не нарушился ли (как у нас с тобой)
На веки вечные времен круговорот.

ЗА ГОРОДОМ

Тот запах вымытых волос,
Благоуханье свежей кожи!
И поцелуй в глаза, от слез
Соленые, и в губы тоже.

И кучевые облака,
Курчавящиеся над чащей.
И спящая твоя рука,
И спящий лоб, и локон спящий.

Повремени, певец разлук!
Мы скоро разойдемся сами.
Не разнимай сплетенных рук,
Не разлучай уста с устами.

Ведь кучевые облака
Весь день курчавятся над чащей.
И слышится издалека
Дневной кукушки счет горчащий.

Не лги, не лги, считая дни,
Кукушка — мы живем часами...
Певец разлук, повремени!
Мы скоро разойдемся сами.

* * *

Уйти, раствориться в России,
Почувствовать радость ухода.
При этом пространство расширить —
Вселенная, космос, природа.

Все это услышать духовно,
Все это усвоить телесно —
Что пахнет, как свежие бревна,
Морозная, синяя бездна.

Пригубить такого настоя
Из хвои, созвездий и трав.
Вершить свое дело простое,
В России себя затеряв.

* * *

Писем напишу пяток,
Лягу и умру.
Знай сверчок свой шесток —
Хватит жить в миру.
Но умру не насовсем
И не навсегда.
Надо мною будет сень,
А над ней звезда.
Над звездою будет Бог,
А над Богом свет.
А над светом голубок
Посреди планет.

А над голубем цветок,
А в цветке пчела,
Что опустит хоботок

.....

Декабрь 1989

Последнее стихотворение

Поэмы

Конец двадцатых годов



Станция Алабино. Август 1934 г.
С отцом Самуилом Абрамовичем
и матерью Цецилией Израилевной



Середина тридцатых годов



Середина сороковых годов



Берлин. Июнь 1945 г.



Каунас. Лето 1947 г. С женой
Ольгой и родственниками



Конец сороковых годов.
С женой Ольгой



Середина пятидесятих годов.
С Б. Слущким и П. Гореликом



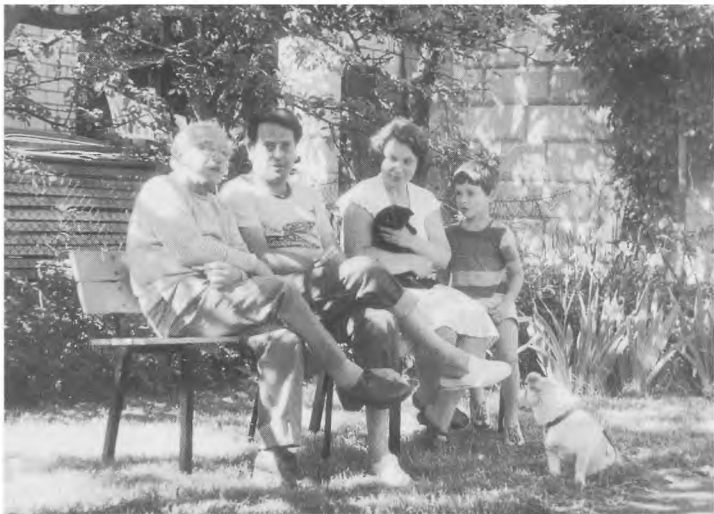
Начало шестидесятих годов



Начало семидесятых годов



Пярну. 1987 г. С женой Галиной, сыновьями
Петей (слева) и Пашей, дочерью Варей



Пяру. Середина восьмидесятых годов.
С сыном Александром, невесткой Еленой
и внуком Сережей



Пяру.
Конец восьмидесятых годов



Пярну. 1990 г. У могилы Самойлова его вдова Галина, сыновья Александр, Павел, другие близкие. Крайний справа Г. Евграфов

ЧАЙНАЯ

1

Поле. Даль бескрайная.
У дороги – чайная,
Чайная обычная,
Чистая, приличная.
Заходите погреться,
Если некуда деться!

Там буфетчица Варвара,
Рыжая, бедовая,
Чаю даст из самовара,
Пряники медовые.
И поет Варвара звонче колокольчика:
«Коля, Коля, Колечка,
Не люблю нисколечко...»

А на улице – мороз,
Словно спирт горючий.
И сугроб у окна
Крепче свежего кочна,
Белый и скрипучий.
Облепил провода
Игловатый иней.

Холода, холода –
Воздух синий.

Ну, а в чайной
Двери хлопают.
У порога
Люди топают.
Рукавицей
О стол брякают,
Выпивают водки,
Крякают.
Мастера, шофера
Пьют свои законные.
Рядом, полные забот, –
Райпотреб,
Райзагот –
Ангелы районные.

И старушка робкая
Ворожит над стопкою.

Две красавицы колхозные,
Как два облака морозные.

А в углу – мужичок,
Закурил табачок –
И молчок.

2

Дым летит к небесам,
Пар течет по усам,
Входит в чайную сам –
Федор Федорыч сам.

Враз видать по глазам –
То ли зав,
То ли зам.
Ишь, какой грозный!
А за ним
И над ним
Вьется облаком дым –
Пар морозный.

Федор Федорыча все приветствуют,
Федор Федорыч всем отвечает:
Вот, мол, выпить зашел
Прохладительной...
Ничего человек –
Обходительный.

А буфетчица Варвара
Медной змейкой вьется.
И сама того не знает,
Отчего смеется.
Смех ее летит, как снег, –
В руки не дается.
И поет Варвара звонче колокольчика:
«Коля, Коля, Колечка,
Не люблю нисколечко...»

3

Заиграли утки в дудки,
Тараканы в барабаны.
Инвалиды шли –
Прямо в дверь вошли.

А один без рук,
А другой без ног,
Забрели сам-друг,
Увидав дымок.

Ванька и Петяха,
Веселы, хмельны.
На одном рубаха,
На другом штаны.

Говорят Брюки:
«Мне бы только – руки!
Взял бы в руки я гармонь,
Вот тогда меня не тронь –
Заиграл бы тогда,
Заиграл бы!»

Говорит Рубаха:
«Мне бы только полноги,
На полноги – сапоги,
Заплясал бы тогда,
Заплясал бы!»

«Подайте убогим,
Безруким-безногим,
Бывшим морякам,
Вашим землякам,

Людям божьим,
Кто сколько может –
А кто не может,
Тому мы поможем...»

Словно рыбка в сеть,
Полетела медь –
Караси-медяки,
Гривенники-окуньки.

«Ну, а ты, начальничек,
Дал бы хоть на чайничек!»
Федор Федорыч встает,
Кошелек достает,
Лезет вглубь,
Вынул – рупь.

4

Стали рядом инвалиды
Возле стойки тесной.
И запели инвалиды
На мотив известный.
А о чем они запели –
Не расскажешь, в самом деле!

Поют, как из Германии,
С оторванной рукой,
Идет солдат израненный
Тихонечко домой.

Не очень песня складная –
И голос и слова,
А очень безотрадная...
А может, и права?..

Приумолкла чайная,
Тишина застыла.

Песня та печальная
Всех разбередила:
Всяк грустит о себе,
О солдатской судьбе,
О российской беде,
О мужицкой нужде.

Федор Федорыч тоже слушает,
Не прихлебывает и не кушает.

«Распроклятая война
Слишком долгая была!
Девка год ждала,
И другой ждала,
А на третий год
К мужику ушла.
Ушла к мужику,
К нефронтовику...»
Вот о чем она поет,
Почему тревожит!
Федор Федорыч встает,
Больше он не может –
У него душа горит,
Лопнуло терпение:
«Прекратить, – говорит, –
Прекратить, – говорит, –
Пение!»

Бабка стопочку взяла,
Да и разом в горло,
Не закусывая,
Рот
Рукавом отерла.

«Это как же терпеть,
Чтобы людям не петь!
Ишь, начальники!
Ишь, охальники!»

А за ней шоферня,
В кулаки пятерня,
Говорят:
«Пусть поют!
Что ж им петь не дают!
Дайте петь ребятам!»
И еще –
Матом.
Лишь один мужичок
Закурил табачок –
И молчок!..

5

Как Варвара встала,
Сразу тихо стало.
Федор Федорычу
Медленно сказала:
«Не ходи ты сюда,
Не ищи ты стыда.
А столкнешься со мной –
Обходи стороной.
Не затем я ушла,
Что другого ждала,
А за тем я ушла,
Что твоей не была.
Так тому и быть,
Нам с тобой не жить!»

Тут ему бы помолчать,
Не искать обиды,
Тут ему бы не кричать:
«Эй вы, инвалиды!
Нынче свадьба на селе –
Парень женится.
Там потребуется
Ваше пеньце!
Раздобудьте адресок,
Загляните на часок!»

Шапку сгреб,
Дверью – хлоп!

Все тихонько сидят,
На Варвару не глядят...

6

А на улице –
Зорька зимняя.
Солнце щурится,
Тени синие.
И мороз лихой –
Из стекла литой.

Едет свадьба на трехтонке,
Едут парни и девчонки,
Сестры и братья,
Дружки и сваты.
Мимо чайной пролетели –
Завернуть не захотели...

Говорит бабка:
«Чтой-то здесь зябко».
А за ней шофера:
«Ну и нам пора».
Лишь один мужичок
Закурил табачок
Напоследок:
«Так-то вот! Эдак!»

В чайной стало пусто.
Варе стало грустно.
Лечь бы спать бы –
Не слышать той свадьбы...

7

Где-то в дальнем отдаленье
За дворами брешут псы.
На мерцающих камнях
Ходят звездные часы,
Все оковано кругом
Легким, звонким чугуном.
Старый сторож в теплой шубе
Спит, объятый сладким сном.

Тишина на белом свете!
А в проулке снег скрипит:
Федор Федорыч не спит.
Он идет под синей стужей
По тропинкам голубым –
Никому-то он не нужен,
И никем он не любим!

На краю села гуляют,
Свадьбу новую справляют.
Там и пляшут и поют,
А его не позовут.

И еще в одном окошке
Нынче за полночь светло.
Заморожено стекло,
Желтым воском затекло.
Варя вышивает,
Песню папеваает –
Поет в одиночку
Малому сыночку:
«Поздно вечером
Делать нечего,
Нет ни месяца,
Ни огней.
Баю-баюшки,
Баю-баюшки,
Утро вечера
Мудреней...»

Заморожено стекло,
Желтым воском затекло.
В снег скатилась звезда...
Холода,
Холода.

1956

Щекотнул папиросный дымок.
Итальянец и сам бы не мог
Дать ответ на вопрос откровенный.
Он – никто: ни военный, ни пленный,
Ни гражданский. Нездешний. Ничей.
Приоткрыв свои веки усталые,
Он покорно лепечет: «Италия!»
Лешка Быков, насмешник и хват,
Молча скинул с плеча автомат,
Снял котомку, где пара портянок,
Старый песенник, соль в узелке
И портреты крестьян и крестьянок
Запеленаты в чистом платке,
Целлулоидовый воротничок,
Нитки, мыло, табак и так далее.
– На, бери, заправляйся, Италия!
Хлеба нету, одни сухари.
Ничего, не стесняйся, бери.–
Страх прошел. Итальянец встает
И лопочет с комичным поклоном.
Старшина говорит:

– Ну и клоун! –

Тут и впрямь начинается цирк.
Итальянец, незнамо откуда,
Вынул зеркальце, бритву, посуду,
Оселок, помазок. Чирк да чирк!
И ребята моргнуть не успели,
Как, буквально в секунду одну,
Итальянец побрил старшину.
– Ну и парень, – сказал старшина.
На шоссе загудела машина.
И опять от предместий Берлина
Донеслась канонадой война.

Было холодно. Мутно. Пустынно.
К небесам устремляя свой взгляд,
Итальянец шептал исступленно:
– О, спаси наши души мадонна,
Матерь Божья, помилуй солдат!

2

Рассветало. Обычное утро,
Не зависимое от войны.
Мы слонялись без дела по хутору,
Мы до вечера были вольны
И не думали, что будет вечером.
Скучновато казалось разведчикам...
Немцев не было. Дом был пустой.
Дом просторный. Покрыт черепицей.
Двор квадратный. Сарай. Хлева.
Все добротное – бороны, плуги...
А над нами текла синева.
Тучки плыли, как белые струги,
И весна предъявляла права.

Мы на солнышке грелись. И вдруг
В воротах появилась корова.
Не спеша огляделась вокруг.
Удивилась. Моргнула глазами.
И понюхала воздух.

Мой друг
Старшина засмеялся: здорово!
И тогда обернулась корова,
И, мыча простодушное «му!»,
Осторожно шагнула к нему.

– Ишь, признала! Нашла земляка! –
Мы смеялись, держась за бока,
А корова мычала простецки
И глазами моргала по-детски.

Старшина усмехнулся хитро:
– Сопляки. Не понять вам скотину! –
Он поднялся, забрался в машину
И достал для чего-то ведро.
А корова уже поняла
И поближе к нему подошла.
И доверчиво и благодарно
Перед ним замычала она,
Предлагая свои вымена.

Мы замолкли. Струя молока
Свежим звуком ударила в днище,
И в ведро потекло молочище,
Воркоча и пузырясь слегка,
Как ручей, как поток, как река...
Мы почтительно встали кругом,
И никак не могли наглядеться,
И дышали парным молоком,
Теплым запахом дома и детства,
Пьяным запахом пота, земли,
Разнотравья, ветров и соломы...

Было тихо. И только вдали
Вновь прошлись орудийные громы.

Вечер. Снова слегка моросит.
 В доме, возле переднего края,
 Мы сидим, шестерых провожая
 На заданье. Задача ясна.
 – Ну, валяйте, – сказал старшина.
 – Перекурим, – сказали ребята.
 Вдоль стены разместились горбато
 Угловатые тени. Свеча
 Их качала. И тени курили
 Тень табачного дыма, с плеча
 Не снимая теней автомата.
 – Ну, валяйте! – сказал старшина. –
 Зря не суйтесь! Обратно – к рассвету,
 В два пятнадцать мы пустим ракету...

Вышли. Ночь не казалась темна.
 Мгла была лиловой от зарев,
 От сухих дальнобойных зарниц,
 От бесшумных прожекторных бликов.
 – Ну, давай попрощаемся, Быков!
 До свиданья.

– Прощай!

(Я сказал:

«До свиданья». – «Прощай», – он ответил.)
 Моросило. Строчил пулемет –
 Немец ночь решетил с перепугу.
 Шесть теней уходили по лугу,
 Чуть пригнувшись, цепочкой, вперед...
 – Ты чего? – вдруг спросил старшина.
 – Ничего.

За деревьями где-то
В небесах расплескалась ракета,
Свет разлился холодный, нагой,
Чем-то схожий с зеленой фольгой.
Тени плыли бесшумно и низко...
Где-то рядом смеялась связистка,
Балагурил веселый басок.
– Ну, ступай. Отдохнул бы часок.
Быков должен вернуться к рассвету.
В два пятнадцать мы пустим ракету. –
Ночь вокруг не казалась темна.
Становилось прохладно и сыро.
– Между прочим, – сказал старшина, –
Дней пяток остается до мира...

... Я ночую в разрушенном доме
С изреченьем в ореховой рамке:
«Здесь ты дома, оставь все заботы».
Здесь я дома... На улице танки
Громыкают, гудят самолеты,
Дом разрушен, и пулей пробита
Эта заповедь чуждого быта.
За стеной, чтобы нас не тревожить,
Осторожно рыдает хозяйка.
Муж ее, лысоватый мужчина,
Перепуган, хотя и не слишком.
У него есть на это причина:
Он запаса полезным письмишком –
На обычном тетрадном листочке
Три-четыре корявые строчки:

«Этот немец Фриц Прант, разбомбленный,
Был хороший, не делал худого.

Я жила у них. Оля Козлова».
Этот немец Фриц Прант Разбомбленный
Предложил мне дурного винишка
И заботливо спрятал письмишко.
Я улегся на старом диване.
Черт с ним, с Прантом. Не вредно соснуть.
Ночь бомбило. Мне снилась бомбежка...

... Три часа. Возвратится ли Лешка?
Ждем в окопчике... Ждем. Небосвод
Чуть светлей. Бой смещается к югу...
Пять теней возвращались по лугу,
Чуть пригнувшись, цепочкой, вперед.

Лешки Быкова не было.

Баллада о конце Гитлера

...Все диктаторы веруют в чудо.
В десяти километрах отсюда,
Под землю, под толщей столицы,
Гитлер мечется зеленолицый...

В полумраке подземного зала
Он сидит, словно коршун больной,
И угрюмо стоят адъютанты,
Молчаливо стоят за спиной.

Сотрясается почва Берлина
От налета воздушных армад.
А эсэсовцы личной охраны
Пьют коньяк и жуют шоколад.

Приближаясь, гремит канонада,
Все слышней голоса батарей.
И несут сундуки с орденами,
Чтоб устроить завал у дверей.

В полумраке подземного зала,
Под крылами обвисших знамен,
Он сидит, словно коршун подбитый,
И кричит и кричит в микрофон.

Он опять обещает солдатам
Солнце славы и трубы побед.
Он сулит им полки и бригады,
Но полков у него уже нет.

Заклинает и кровью и волей,
Умоляет отречься от благ;
Ведь не зря с ирреальной невестой
Совершился мистический брак.

Он сулит ордена и награды,
Раздает офицерам чины...
Но уже провода микрофона
Двое суток отключены.

В полумраке подземного зала
Адьютанты угрюмо стоят.
И диктатор, не верящий в чудо,
Достает заготовленный яд.

БЕРЛИНСКИЙ МАЙ

1

...Monat Mai! Месяц май!

И над нами
Небеса без конца и без края.
Лейб-гвардейские рощи в Потсдаме
Блещут всей амуницией мая.

Отдых! Отдых! Стоим у дороги,
Дышим запахом листьев и влаги,
Перед нами на длинной дороге –
Люди, люди, и флаги, и флаги
Всех цветов, и расцветок, и наций.
Как во время больших демонстраций.
Поглядим, что такое там, братцы,
Почему это у поворота
Собираются толпы народа?

2

Я увидел слепого тирольца.
Он стоял на шоссе без улыбки,
И дрожащим смычком, осторожно,
Он пиликал на старенькой скрипке.
И никто из прохожих-проезжих
Устоять перед скрипкой не мог:
Так звучал простодушный и нежный
Старомодный тирольский вальсок.
Что за музыка, музыка, музыка!
(Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три!)
Вон с поляком танцует француженка,
Посмотри на нее, посмотри!

Долговязый голландец с бельгийкою,
Со словацкой девчонкой – хорват,
С нашей девушкой круглоликою –
Бывший пленный французский солдат.
Эта музыка! Ах, эта музыка!
Так и манит сплясать налегке.
Пляшет парень в забавном картузике,
Пляшет девушка в пестром платке.
Так все просто, открыто, доверчиво,
Так откинута прядь на висок.
Что ж, давайте кружиться до вечера
Под старинный тирольский вальсок.
(О, быть может, без умысла злого,
А вот так же, как этот вальсок,
Пресловутый напев крысолова
Всех детей за собою увлек.
Может, злобные бюргеры Гаммельна
Подозреньем смутили умы,
Может, все нам сказали неправильно,
Чтоб не верили музыке мы.)

3

Отдых! Отдых! Потсдамские парки
Высоки, как парадные залы.
В пышном замке заздравные чарки
Поднимают за мир генералы.

В городке открываются ставни.
С крыш снимаются белые флаги.
Вспоминая о битве недавней,
Мы вино наливаем из фляги.
Летний ливень бушует снаружи –

Он топочет, лопочет, лепечет
И охапками в синие лужи
Разноцветные радуги мечет.
Я-то думал, что радуги – дома,
В Подмоскowie, что здесь оно тише.
Вот и здесь от беспечного грома
Расклепались железные крыши.
Окна в гущу весеннего гуда!
Ишь, какая кругом благодать!
Вот и кончено все.

А отсюда
До Парижа рукою подать!

ПОМОЛВКА В ЛЕЙПЦИГЕ

Город Лейпциг не очень разрушен,
Город Лейпциг почти что радушен.
В нешикарной гостинице «Оппель»
Пьем мы водку, и пиво, и доппель.
(Доппель-кюммель – спиртыга с мятой.)
Я сижу в гимнастерке помятой,
Целый день отчего-то страдаю,
Словно болен и словно не болен –
Почему-то судьбой недоволен.
Вот окончено главное дело,
Вот и юность моя пролетела!
Все победы мои отгремели,
И салюты мои отпылали.
Отмахало мое поколенье
Годы странствий и годы ученья...
Да, испита до дна круговая,
Хмелем юности полная чаша.
Отгремела война мировая –
Наша, кровная, злая, вторая.
Ну а третья уж будет не наша!

В этом Лейпциге возле вокзала
У меня неплохая девчонка.
Пахнет мылом ее комнатенка.
Пахнет мятой ее одеяло.
Спим с ней вместе и пьем с ней нередко
(Инге нравится русская водка),
И меня уже знает соседка,
И тактично ведет себя тетка
(Тетке нравится русская водка
И мясная тушенка в придачу).
Я с моею девчонкой судачу,
Кое-как по-немецки болтаю,
Переуврава падежи и артикли.
Мы друг к другу почти что привыкли.

Милой девочке нравится фюрер,
Инге нравится также Россия.
Англичане не нравятся Инге.
(Ах, интриги, сплошные интриги!)
«Мы могли бы разбить их совместно.
Впрочем, это не так интересно.
От политики люди устали,
Ею все человечество сыто.
Кто командует? Это – детали.
Мы – эпоха уюта и быта».

Инге хочется личного счастья,
Ей милей водевиль, а не драма...
У нее есть жених, между прочим,
Молодой букинист из Потсдама.
К ней он шествует в трепете сладком
По Германии пешим порядком.
Ночью сызнова спать неохота.

И мне чудится в сумраке сером
Угловатая тень Дон-Кихота.
Он идет с деревянным торшером
По Германии полуразбитой,
Он грядет неустанно, упрямо,
Знаменосец уюта и быта,
Легендарный жених из Потсдама...
Он шагает один на просторе.
Ночь. Развалины. Филины. Волки...

Впрочем, мы с ним увиделись вскоре –
Я был гостем у них на помолвке.
– Познакомься. Мой друг из Потсдама.
Вот кузина. А вот ее мама. –
Поражен моложавой матроной,
Я с улыбкой стою церемонной.
Мне жених, долговязый и рыжий,
Руку жмет, без ума от знакомства.
Мне прибор придвигает поближе –
Он, ей-богу, счастлив без притворства!
Инге нравится русская водка,
Тетке нравится русская водка –
Вся родня очарована водкой.
Я сижу с перезрелой красоткой,
И она задает мне вопросы,
Как по-нашему «масло» и «сало».
(Шпек ист «сало» унд бутер ист «мало».)
– Масло! – я поправляю устало. –
Масло, масло! И сало и сало! –
Два кита. Два святых идеала.
И в глазах перезрелой матроны
Реют сливочные купидоны.

Выпиваю четвертую рюмку,
Жму украдкой кузину руку.
Ах, ей-богу, не так уже худо,
Что мы все еще живы-здоровы.
Придвигаю какое-то блюдо,
Выпиваю: так будьте здоровы!
И жених не такой уж противный:
Он спортивный, инициативный.
Он поет, дирижируя вилкой.
Тетка лезет в тушенку без спроса.
Дама просит – «один бабироса».
– Папироса! – цежу я с ухмылкой.

Мы сидим с женихом, словно братья,
Мы как будто полвека знакомы.
Нам невеста находит занятие:
Нам показывают альбомы.
Вот чертовски забавная штука!
Вся история этого дома!
Полтора или более века
Запрессовано в два полутома.

Вот какой-то страдающий Вертер
Начертал в предыдущем столетье:
«Ах, Матильда! Люблю вас до смерти!»
А вокруг голубочки и ветви.
Рядом – вежливый почерк чинуши,
Кисло-сладкий, как мясо с брусникой,
Ниже – роща рифмованной чуши,
Где любовь именуют «великой».
Дальше – запах солдатских постоев:
Сто мундиров, наречий и наций
Расписалось, сей дом удостоив
Самых лучших своих аттестаций.

Вот француз, настоящий мужчина,
Нацарапал беспечно и браво:
Вив! (Да здравствует!) Родина, слава,
Император и некая Минна,
Ниже следуют шведы, поляки,
А потом пруссаки, австрияки,
Наконец – как забор из еров,
Без единой калитки в заборе –
Расписался Макар сын Петров:
«Чюдной барышне Лизе Авроре».
Дальше вновь положительный люд:
Проповедники, негоцианты –
Просвещение, налоги и суд,
Шульцы, Мюллеры, Миллеры, Пранты,
Век и вправду достоин хвалы!
Вера в прочность и взгляд без опаски.
Но голубок сменяют орлы –
Императорско-прусские каски:
Новобранцы и кадровики,
Инвалиды и отпусчники,
Запасные и фронтовики,
Батальоны, бригады, полки –
Человечество новой закваски.
Те же Мюллеры, Миллеры, Шмидты,
Что в трех войнах со славой убиты.
Инге! Дай-ка и я наугад
Напишу изречение простое:
«Фройляйн Инге! Любите солдат,
Всех, что будут у вас на постое».

Лейпциг ночью гораздо голей –
Лейпциг ночью почти что разрушен.
Поздно. Свет уже в окнах потушен.
Только слышны шаги патрулей.

Небеса высоки и темны,
Скупо падают метеориты.
Двери заперты, ставни прикрыты.
Людам хочется счастья и быта,
И спокойствия, и тишины...

Я стою и гляжу на окно,
От него оторваться не в силах.
Тень мелькнула. Вот свет погасила.
Погасила. И стало темно...
Вот и все. Небольшая беда,
Это все не имеет значенья,
Потому что ушли навсегда
Годы странствий и годы ученья.

БАЛЛАДА О НЕМЕЦКОМ ЦЕНЗОРЕ

Жил в Германии маленький цензор
Невысокого чина и званья.
Он вымарывал, чиркал и резал
И не ведал иного призванья.

Он вынюхивал вредные фразы
И замазывал тушью чернила.
Он умы сберегал от заразы.
И начальство его оценило.

В зимний день сорок третьего года
Он был срочно направлен «нах Остен».
И глядел он из окон вагона
На снега, на поля, на погосты.

Было холодно ехать без шубы
Мимо сел, где ни дома, ни люда,
Где одни обгоревшие трубы
Шли, как ящеры или верблюды.

И ему показалась Россия
Степью, Азией – голой, верблюжьей.
То, что он называл «ностальгия»,
Было, в сущности, страхом и стужей.

Полевая военная почта,
Часть такая-то, номер такой-то,
Три стены, а в четвертой окошко,
Стол и стул, и железная койка.

Ах, в России не знают комфорта!
И пришлось по сугробам полазать.
А работа? Работы до черта:
Надо резать, и чиркать, и мазать.

Перед ним были писем завалы,
Буквы, строчки – прямые, кривые.
И писали друзьям генералы,
И писали домой рядовые.

Были письма, посланья, записки
От живых, от смешавшихся с прахом.
То, что он называл «неарийским»,
Было, в сущности, стужей и страхом.

Он читал чуть не круглые сутки,
Забывая поесть и побриться.
И в его утомленном рассудке
Что-то странное стало твориться.

То, что днем он вымарывал, чиркал,
Приходило и мучило ночью
И каким-то невиданным цирком
Перед ним представало воочью.

Черной тушью убитые строки
Постепенно слагались в тирады:
«На Востоке, Востоке, Востоке
Нам не будет, не будет пощады...»

Текст слагался из черных мозаик,
Слово цепко хваталось за слово.
Никакой гениальный прозаик
Не сумел бы придумать такого.

Мысли длинные, словно обозы,
Заезжали в углы мозговые,
И извилины слабого мозга
Сотрясались, как мостовые.

Он стал груб, нелюдим и печален
И с приятелями неприятен.
Он был несколько дней гениален,
А потом надорвался и спятил.

Он проснулся от страха и стужи
С диким чувством, подобным удушью.
Тьма была непрогляднее туши,
Окна были заляпаны тушью.

Он вдруг понял, что жизнь не бравада
И что существование ничтожно.
И в душе его черная правда
Утвердилась над белой ложью.

Бедный цензор родился педантом.
Он достал небольшую тетрадку
И с правдивостью, то есть с талантом,
Все туда записал по порядку.

А наутро он взялся ретиво
За свое... нет, скорей – за иное:
Он подчеркивал все, что правдиво,
И вычеркивал все остальное.

Бедный цензор, лишенный рассудка!
Человечишка мелкий, как просо!
На себя он донес через сутки
И был взят в результате доноса...

Жил-был маленький цензор в Германии
Невысокого чина и звания.
Он погиб, и его закопали,
А могилку его запахали.

СКВОЗЬ ПАМЯТЬ

1

От Москвы до Берлина не близко.
Сколько лет, сколько жизней – не счесть.
А обратно, считаю без риска,
Суток восемь, а может, и шесть.
Аккуратно упрятав гостинцы,
Словно плотники с летних работ,
Уезжают домой пехотинцы,
Всю войну отмахавший народ.
Наши проводы были недолги.

Протрубил «По вагонам!» горнист,
Марш ударили медные трубы,
А прощаться никто не пришел.
Прибежала одна собачонка
Непутевая, ростом с котенка.

Что ей в голову только взбрело:
Приблудилась, юлит под ногами.
Отгоняли ее и ругали.
А она хоть бы хны. Наконец
Из шестого вагона боец
Произнес:

– Залезай, кабыздошка!

Сразу видно – любовь не картошка. –
Так и взяли собачку с собой.
Барахло рассовали под нары,
И вагоны, войдя в колею,
Повели – растата-растабары –
Надоедную повесть свою.
Мимо шли черепичные крыши,
Чистоплотных деревьев строи,
И казалось, что гуще и выше
Травы там, где гремели бои.
Поезд начал мостами чеканить,
Придорожное эхо будить,
Потянулись вагоны сквозь память –
Раны старые вновь бередить,
Говорить про беду и про счастье,
Рваться в дебри забытых вестей...
Бранденбургские рощи, прощайте,
Провожайте российских гостей!..

...Привыкаешь к колесному грому.
 Просыпаемся от тишины.
 Где стоим? Далеко ли до дому?
 Город чей? И которой страны?
 Здесь теперь ошибиться нетрудно...
 Тишина. На вокзале безлюдно.
 Рассвело. Выхожу из вагона.
 Ах, мне станция эта знакома!
 Небольшой городишко на Варте,
 Я здесь был в феврале или в марте.
 Помню – ночью ввалились два взвода.
 Непогода. Плутаем во мраке.
 (Ночью так вас и пустят поляки!)
 Вдруг – бараки. Пустые бараки
 За стеной небольшого завода.
 Лезь под крышу! В тепле веселее!
 – Эй, ребята, а здесь – население!
 – Потеснитесь-ка, местные жители!
 Нас в компанию взять не хотите ли?!

Струйка света скользнула по стенам,
 По углам, по фигурам согбенным
 Стариков. Да, их было здесь двое,
 Неподвижных, угрюмых и странных.
 Я искал выраженье живое
 Хоть одно в их чертах деревянных –
 Горя, ужаса, злобы, печали...
 – Кто такие? – спросил я. И глухо
 Из угла отвечала старуха:
 – Он больной. Нас оттуда прогнали.
 Все уши. Мы дорогой отстали.

Это немцы! Мы видели многих:
Офицеров, солдат, генералов,
Смелых, вшивых, убитых, убогих,
Наглых, жалких, хвастливых, усталых,
А таких не видали ни разу.
Что ж! Германия рядом, ребята,
И, выходит, настала расплата!
Кто ж заплатит? Неужто вот эти?
Эти – или немецкие дети?
Неужели же – око за око?
О, не слишком ли это жестоко?

Мы молчали, стояли без слова.
Чуть дрожал огонек желтоватый.
И старуха глядела сурово,
И сурово глядели солдаты.
Разошлись, запахнулись в шинели,
И усталость сомкнула ресницы.
А старуха с незрячим сидели
Рядом с нами, как дряхлые птицы...

З

...Поезд мчится дорогою дальней,
Словно память летит сквозь года.
Рядом струйкою горизонтальной
Вдоль дороги текут провода.
Как тетрадь, разлинованы дали,
И записано в эту тетрадь
То, что некогда мы повидали,
Что пришлось обретать и терять.

Эх, и молодо-зелено было!
Сколько радости, ярости, пыла!

И не то, что в году сорок первом
В ледяном подмосковном окопе.
Мы войну повернули к победе,
Мы со славой идем по Европе.
И всего-то нам двадцать с немногим –
На два, на три годочка побольше.
Наша молодость мчится по Польше.
И в ушах, как воды воркованье,
Женский лепет, слова и названья –
То ли Луков поет, то ли Любень,
То ли Демблин звенит, словно бубен,
То Ленчица мелькнет, раззвенится
Возле Седлеца Конколевница.

Есть у Вислы село Змиовиско.
Там есть кузница пана Антона.
А жена у Антона – Марыска,
Молодая, а пан уже старый.
Он хоть старый, Антон, да не хворый,
Ходит, бродит, шныряет глазами,
На дверях проверяет запоры –
Как бы люди чего не украли.
Ой, не пробуй ты, пане, запоры,
Мы – солдаты, а вовсе не воры.
Ничего твоего нам не надо,
Уж сиди и глазами не рыскай!
Дай словцом молодому солдату
Перекинуться с пани Марыской!
А Марыска поет на крылечке,
Словно звонкие нижет колечки,
И грустит голосок ее свежий:
«Ой, уйдут через Вислу жолнежи!»
А ночами гремят переправы

И войска ожидают приказа.
На плацдарме, левее Пулавы,
Танков, пушек и войск до отказа.
И январь неуютный, бесснежный...
«Ой, уйдут через Вислу жолнежи!»

4

На рассвете ударили пушки,
И, ломая узлы обороны,
Наши танки рванули с опушки,
И за ними пошли батальоны.
А рассвет был багров и огромен
И тяжелою тучей завален.
Он пылал, словно тысяча домен,
И гремел, как мильон наковален.
И под ним, как под сводами цеха,
Грохотала машина сраженья...
После долгих часов напряженья
Вдруг – свободное чувство успеха.
И уже боевые порядки
Шли, не кланяясь перед снарядом.
И противник пошел без оглядки,
И войска покатались на Радом,
Растекаясь, как жидкая лава,
Не давая противнику драпать,
Шли на запад, на северо-запад
И на север, туда, где Варшава.

К ночи, где-то в районе Опочно,
Нарвались головные заставы
На засаду, засевшую прочно
Возле мостика у переправы.

Бой был краткий. Почти что мгновенный.
Нам достался один только пленный.
Что возьмете с солдата пехотного?
Номер части, фамилию ротного.
У него ведь совета не спрашивали,
Когда планы кампаний вынашивали.
Что он знает? Ни много, ни мало.
Что война его жизнь поломала,
Что схватила его, окрутила,
Обещала, но не заплатила.
Что он хочет? Он хочет покоя.
Да, покоя от жизни такой.
Он не верует в счастье людское.
Пусть хоть смерть – но покой и покой!
Что он понял? Во всем виноваты
Те, что головы им задурманили.
А еще виноваты солдаты –
Он и прочие люди Германии.

Он не ждет для себя снисхождения,
Пусть поступят, как нужным найдут.
Он готов за свои заблуждения
Быть расстрелянным (аллес капут!).

Он сидел, опустив свою голову,
Ждал решения (гезагт унд гетан!).
И тогда я сказал Богомолу:
– Что с ним делать, решай, капитан.
Нет людей – конвоировать пленного,
Да и много ли скажет он ценного?
Жизнь солдатская стоит немного.
Молвят слово – пойдешь под прицел.
В роли грозного Господа Бога
Перед пленным стоял офицер.

И сказал капитан Богомолов:
– Дьявол с ним. Пусть живет этот олух!
Хоть вопрос для него и не ясен,
Кто мы есть и на чем мы стоим,
Но для нас он уже не опасен.
Пусть идет восвояси, к своим!

Утро. Пленный идет через поле,
Рад, а может, не рад своей воле?..

Капитан Богомолов! Недаром
Ты почти что полгода комбат.
Ты имеешь четыре раненья,
Три контузии, пару наград.
И такое особое право
Жизнь дарить и на смерть посылать,
Что сумел бы по этому делу
Даже Бога порой замещать.
Не такая уж сложная должность
Среди наших земных должностей.
Ты бы, может быть, лучше устроил
Этот мир из простейших частей.
Ты бы, может, судил справедливей,
Насадил благодать и покой.
Может, люди бы жили счастливей
Под твоею господней рукой...

Где ты нынче, комбат Богомолов?
Я один возвращаюсь домой...

5

Мимо сел, деревенок, костелов
Мчится поезд дорогой прямой.

Мчится поезд дорогою дальней,
Словно память летит сквозь года.
Рядом струйкою горизонтальной
Вдоль дороги текут провода –
Мимо ключев осеннего дыма,
Мимо давних скорбей и тревог,
И того, что мной было любимо,
И того, что забыть я не мог.
Все хорошее или дурное,
Все добытое тяжелой ценой
Навсегда остается со мною,
Постепенно становится мной:
Все вобрал я – и пулю, и поле,
Песню, брань, воркованье ручья...

Человек – это память и воля.
Дальше тронемся, память моя!

НА ТОМ БЕРЕГУ

1

Обжигаясь о жаркие листья,
Осень падает птицей с откоса.
В рощах, как в недостроенном доме,
Запах сырости и купороса,
Листья выютя багровые, ржавые.
Поезд мчится полями, дубравами.
Будит села, застывшие в спячке,
Будит станции и водокачки,
И вослед ему смотрят полячки –
Деревенские пани лукавые...
Жду сегодня свиданья с Варшавою.

Вот прошло уже около года
После встречи короткой. И снова
Я взволнован.

А может, Ядвига
Выбегает встречать эшелоны?
Без платочка, в убогом пальтишке,
Плечи острые, как у мальчишки,
Шея тонкая, как у галчонка, –
Некрасивая, в общем, девчонка.
Помню, как она нас провожала.
Сколько дней с той поры пробежало!
Лешка Быков, сержант белозубый,
Хохотал:

– Да куда тебе с нами!
Воевать – не девчачья работа! –
А кругом потешалась пехота:
– Как-нибудь довоюем и сами!
– Ишь влюбилась в сержанта, что кошка!
– Ну и сукин же сын этот Лешка! –
Лешка крикнул:

– Ну, ладно! Довольно!
Жди, Ядвига, вернемся по войне!

Лешка Быков погиб под Марцаном,
Он уже не вернется «по войне».
Он под памятником деревянным
Спит, в немецкую землю зарытый,
Спит в Германии рядом с врагами,
Им убитыми, ими убитый.
Жизнь его была родине отдана,
Его тело земле было предано,
Ну а память – друзьями разобрана,
И тревожит меня столько лет она!..
Все записано в ней, словно в книге, –
Мне досталась глава о Ядвиге.

...Мы впервые вступили в Варшаву
 Поздно ночью. Ни улиц, ни зданий.
 Только камни да ветер шершавый,
 Налетевший со звуком рыданий.
 Ни домов, ни прохожих, ни света,
 Только стены одни нежилые.
 Мы стояли и ждали рассвета
 В иностранной столице впервые.

Не пришлось побывать мне туристом
 В городах зарубежных держав.
 Мы стояли в разбитой Варшаве,
 Автоматы невольно прижав.
 И в холодном январском рассвете,
 Возникавшем из зимних глубин,
 Все казалось сперва лиловатым,
 Только снег был слегка голубым.
 Словно соль, растравлявшая раны,
 Он пропитывался зарей.
 Обожженные зданья и храмы
 Были странны под снежной корой.
 Но страшнее всего были окна –
 Сотни, тысячи, в каждой стене –
 И рассветное зимнее небо,
 Холодевшее в каждом окне.
 Словно рты, закосневшие в крике, –
 Окна – Оо!

Окна – Аа!

Окна – Уу!..

И дырявые тени, и блики
 На снегу... на варшавском снегу...

И тогда я до ужаса ясно
Все увидел. Забыть не могу...

Мы стояли на том берегу.
Рядом. В Праге. Отсюда два шага.
Там, за Вислою, – вон она, Прага.
Мы стояли на том берегу.
Здесь отчаянно билась Варшава,
Пред судьбою не павшая ниц,
Горемычная, злая гордячка,
Непокорнейшая из столиц.
Польский город и польское горе,
Польский гонор, и говор, и голод
Здесь легли раскаленной подковой.
А война – наковальня и молот.
Люди жили, служили, корпели,
Все терпели, что им суждено.
Но однажды суровое время
Кулаком постучалось в окно.
И тогда, как бойцы по тревоге,
Поднялись и пошли на редут.
Ни отсрочек, ни белых билетов
В этот час никому не дадут.

Никуда не уйти человеку
От губительных дел и страстей,
От мостов, опрокинутых в реку,
От развеянных в прах крепостей.
Всюду танки корежат заборы,
Под лафетами гибнет трава.
И растут из мальчишек саперы,
А девчонки живут для вдовства.

Век берет человека за ворот,
Век велит защищать ему город,

Не отпустит его нипочем,
В дверь стучится, запоры ломает
И на выбор ему предлагает
Жертвой стать или быть палачом.
Он дает ему гордое право
Воевать, как воюет Варшава,
Умирать, не согнувшись в дугу,
И не жить, превратившись в слугу,
И не ждать – а идти на расправу.

Мы стояли на том берегу...

З

А в одном осажденном квартале
Автоматы весь день стрекотали
И отрезанный немцем отряд
Был разбит, и у Вислы прижат,
И блокирован в полуподвале.
Десять ружей. Полсотни гранат.
На исходе патроны. Стонали
Трое раненых в дальнем углу,
Остальные у окон лежали.
А эсэсовцы не торопились
И в соседних постройках копились,
Били изредка и наугад.
Утром сунулись и откатились.
Ожидали чего-то. Один
Из повстанцев, по виду – рабочий,
Взял команду. Решили до ночи
Продержаться. Потом – пробиваться
Через Вислу. Не выйдет? Ну что ж!
Будем здесь помирать не за грош!
А Ядвига пусть гибнет без муки.

Дать ей «вальтер». Патронов три штуки.
Так приставишь ко лбу – и нажмешь...
– Ясно?

– Ясно.

– Тогда – по местам! –

И опять разошлись к амбразурам.
Рядом с ними Ядвига легла,
С любопытством немым озирая
Часть двора и обломки сарая,
Клен без кроны и дом без угла,
Битый камень, осколки стекла,
Запустенье, безлюдье.

И вдруг

Неожиданно внятно и четко
Прокричали команду.

И вдруг

Даже воздух напрягся вокруг:
Батарея. Прямая наводка.
Ружья вбиты в плечо и в ладонь.
Щеки к жестким прикладам прижались.
«Дейчланд! Дейчланд!

(Огонь!)

...юбер аллес!»

«Дейчланд...

(Снова огонь!)

...юбер аллес!»

«Дейчланд! Дейчланд!»

(Огонь и огонь!)

Каждый нерв напряжен до предела,
Тишина прорвалась, как нарыв.
«Еще Польша...

(Разрыв!)

...не сгинела!»

«Еще...
(Снова разрыв!)
...не сгинела!»

«Не сгинела!»
(Разрыв и разрыв!)
Штукатурка скрипит на зубах.
На бинты не хватает рубаш.
Артиллерия смолкла. Атака.
Оживают обломки сарая.
Клен без кроны. И дом без угла.
Пули градом – обломки стекла.
И опять тишина гробовая.
Жить не хочется. Хочется пить.
Сердце замерло. Оцепенело.
«Еще Польша...

(Разрыв!)
...не сгинела!»

«Еще...
(Снова разрыв!)
...не сгинела!»

Артиллерия смолкла. Ползут.
Как зеленые змеи, ползут.
Ближе, ближе. Все ближе. Все ближе...
Я их вижу. Прекрасно их вижу!
Но молчу. Но помочь не могу...

Мы стояли на том берегу.

4

Ночью штаб Комаровского-Бура
Выходил, чтобы сдать врагу.

Генерал безучастно и хмуро
Слушал то же, что слышали мы
Этой ночью, придя на прибрежье:
Средь прорезанной заревом тьмы
Перестрелка звучала все реже.
Реже. Глуше. Короче. Мрачней.
В отраженьи багровых огней
Воды Вислы текли, словно лава.
Мы угрюмо стояли над ней.

А к рассвету замолкла Варшава.

РУБЕЖИ

1

Он отходит уже, этот дух,
Этот дых паровозного дыма,
Этот яблочный смех молодух
На перронах, мелькающих мимо;
Огуречный ядреный рассол
На лотках станционных базаров;
Формалиновый запах вокзалов,
Где мешками заставленный пол
И телами забитые лавки,
Где в махорочном дыме и давке
Спят, едят, ожидают, скандалят,
Пьют, едят, ожидают и спят,
Балагурят, качают ребят,
Девочек тискают и зубоскалят,
Делят хлеб и торгуют тряпьем.

Как Россия легка на подъем!
Как привыкла она к поездам
От японской войны до германской,
От германской войны до гражданской,
От гражданской войны до финляндской,
От финляндской до новой германской,
До великого переселенья
Эшелонов, заводов, столиц
В степь, в Заволжье или Закамье,
Где морозов спиртовое пламя
Руки крючило без рукавиц.
Ну а после – от Волги к Берлину,
Всей накатной волной, всей войной,
Понесло двухколейкой стальной
Эшелонную нашу былинку.
Он отходит в преданье – вагон,
Обжитая, надежная хата,
Где поют вечерами ребята
Песни новых и старых времен,
Про Чапаева, про Ермака,
«Эх, комроты, даешь пулеметы!..»,
«То не ветер...», «Эх, сад-виноград...»,
«Три танкиста», «Калинку», «Землянку»,
«Соловьи, не будите солдат...»,
Вальс «Маньчжурские сопки», «Тачанку»...
Так мы едем в Россию, назад.
Сквозь вагонную дверь спозаранку
Видим – вот она, эта черта:
Здесь родная земля начата.

Как такое бывает – не знаю;
Я почувствовал сердцем рубеж.
Та же осень стояла сквозная,
И луга и деревья все те ж.
Только что-то иное, родное,
Было в облике каждого пня,
Словно было вчера за стеною,
А сейчас принимало меня.
Принимало меня и прощало
(Хоть с себя не снимаю вины)
За былое, худое начало
И за первую осень войны...
А вокруг все щедрее и гуще
Звездопадом летела листва.
И сродни вдохновенью и грусти –
Чувство родины, чувство родства.
Голубели речные излуки,
Ветер прядал в открытую дверь...
Возвращенье трудней, чем разлуки, –
В нем мучительней привкус потерь.
Рано утром почувался снег.
Он не падал, он лишь намечался.
А потом полетел, заметался.
Было чувство, что вдруг повстречался
По дороге родной человек.
А ведь это был попросту снег –
Первый снег и пейзаж Подмосковья.
И врывался в открытую дверь
Запах леса, зимы и здоровья.
А навстречу бежали уже
Нам знакомые всем до единого

Одинцово, Двдцдткд, Немчиново,
Сетунь, Кунцево. Скоро Фили!
Мост. Москва-река в снежной пыли.
И внезапно запел эшелон.
Пели в третьем вагоне: «Страна моя!»
И в четвертом вагоне: «Москва моя!»
И в девятом вагоне: «Ты самая!»
И в десятом вагоне: «Любимая!»
И во всем эшелоне: «Любимая!»
Пели дружно, душевно, напористо
Все вагоны поющего поезда.
Паровоз отдышался и стал.
Вылезай! Белорусский вокзал!

1954–1959

ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ*

В поэме автор путешествует вместе с гениальным польским скульптором Витом Ствошем, пренебрегая последовательностью времен. Наш третий спутник – кот Четверг (фигура вымысленная).

Ствош жил пять веков тому назад. Закончив великое свое творение – резной алтарь Краковского собора, – он ушел в Нюрнберг и запропал на пути. После оккупации Польши гитлеровскими войсками фюрер приказал перевезти знаменитый алтарь в Нюрнберг. Алтарь прибыл туда, куда не дошел его создатель. И был возвращен в Краков лишь после войны.

Четырехстопный ямб
Мне надоел. Другьям
Я подарю трехстопный,
Он много расторопней...

В нем стопы словно стопки –
И не идут колом.
И рифмы словно пробки
В графине удалом.

Настоянный на корках
Лимонных и иных,
Он цвет моих восторгов
Впитал, трехстопный стих.

И все стихотворенье
Цветет средь бела дня
Бесплотную сиренью
Спиртового огня...

СМЕРТЬ ЛОСЯ

Стихи за пятьдесят!
На мне они висят
Невыносимой ношей.
Бог с ними! Мне пора
Сбираться. И с утра
В дорогу с Витом Ствошем.

Закончен мой алтарь.
В нем золото и янтарь,
И ангелы и черти,
И даже образ смерти.

* Поэма «Последние каникулы» при жизни автора никогда не публиковалась целиком, в первую очередь по цензурным соображениям. Композиция глав из нее была впервые опубликована в сборнике «Волна и камень» (1974) с подзаголовком «из поэмы». В двухтомнике «Избранное» (1990) была дополнена главой «Прощание». Не вошедшие в нее части удалось опубликовать в альманахе «Весть» (1989), первом независимом издании в СССР. Из всех текстов, относящихся к поэме, оставался неопубликованным только эпизод «Мерзилов». А существовал ли канонический ее вариант? Первый вариант поэмы был написан в июне 1970 г. В том же году он был дополнен эпизодом «Смерть лося» (часть одноименной главы) и главой «Балаган». Несколько позднее, но не позже 1972 г. (авторская датировка поэмы) — «Молением об алтаре» и «Молением о сыне». Эти вставки потребовали некоторых перестановок в первоначальном тексте. По свидетельству Н. Мирской, литературного секретаря Самойлова, в последние месяцы жизни он намеревался собрать поэму воедино, однако не успел. Эту задачу взял на себя составитель, ориентируясь на первый вариант поэмы, но с учетом внесенных автором композиционных изменений. (Примеч. составителя)

Пора не вниз, а вверх –
Туда, поближе к Богу, –
В беспечную дорогу,
В преславный Нюрнберг...

Как хорошо в полях
Встречать свой день рожденья!
Как весело хождение
В сообществе бродяг!

А если есть трояк,
Определим по нюху
Ближайшую пивнуху,
Пристанище гуляк.

Хозяйка, наливай!
И не жалей, читатель,
Что, словно невзначай,
Я свой талант растратил!

Читатель мой – сурок.
Он писем мне не пишет!..
Но, впрочем, пару строк,
В которых правду слышит,
Он знает назубок...

Однако думы прочь!
В походе к Нюрнбергу
Звезд полную тарелку
Мне насыпает ночь.

Передо мной лежат
Прекрасные поляны,

Жемчужные туманы
Их мирно сторожат.

Передо мной текут
Прохладные потоки.
И где-то кони ржут,
Нежны и одиноки.

Вечерний свет померк.
Залаяла собака...
Как далеко, однако,
Преславный Нюрнберг!

* * *

Ночь пала. Все слилось.
В костре пылали ветви.
И в красноватом свете
Явился черный лось.

Роскошный рог над ним
Стоял, как мощный дым.

И в бархатных губах
Держал он ветвь осины.
И, беззащитно-сильный,
Внушал невольный страх.

Он был как древний бог,
И в небе черно-чистом
Созвездием ветвистым
Светился лосий рог.

(Недаром древле Лось
Созвездием звалось.)

Распахнутый для нас
От паха и до холки,
Смотрел он взглядом долгим
Своих тенистых глаз,

– Зачем, – Вит Ствош вскричал
В мучительном порыве, –
Я за плечом Марии
Его не изваял!
И почему царей,
Младенца Иисуса
По манию искусства
Не превратил в зверей!
Но я ответил:

– Брось!

Мы зря переживаем.
Пусть лучше неизваян
Гуляет этот лось.
Пусть вечности бежит
Прекрасное создание
И нашему страданью
Пусть не принадлежит!
Смири себя, ваятель!
Забудь, что было встарь,
Когда ты свой алтарь
Выдалбливал, как дятел!
Смири себя, смири!
Сомкни плотнее веки!
И отрекись навеки!
И больше не твори!

И долго Вит сидел,
Помешивая угли.
Потом они потухли,
А он в золу глядел.

Вся эта ночь насквозь
Была прозрачной, ясной.
И, как корабль прекрасный,
Плыл по поляне лось.

Вдруг изо тьмы – удар
Остановил мгновенье...
Пороховой угар.
И в нем поникновенье
Творенья красоты
И беззащитной мощи...
И в озаренной роще –
Хрустнувшие кусты.
Как девушка, вразброс,
Лежал тишайший лось.
И на его главе –
Глаз, смертью отягченный,
И – папоротник черный –
Рога в ночной траве...

Охотник подошел:
– Пудов пятнадцать мяса!
Вот бык! – Он рассмеялся. –
Однако хорошо!

Он сел и закурил...
.....
Для нас погибель зверя –
Начальная потеря,
Начало всех мерил.

– Скажи мне, мастер Вит!
Как при таком мериле
Плечо святой Марии
Кого-то заслонит!

Нам с Витом не спалось.
И мы лесною тропкой
Пошли. И тенью робкой
Плыл перед нами лось.

Лось-куст и лось-туман,
Лось-дерево, лось-темень,
Лось-зверь, и лось-растенье,
И лось-самообман...

Так шли мы – я и мастер, -
Пока не рассвело.
И дивное несчастье
Нас медленно вело...

Вверху подобьем знака
Ветвился лосий рог..
Как далеко, однако,
Преславный городок!..

[ПРОЩЕНИЕ]

Но вот запел петух
И крыльями захлопал.
Потом проснулся тополь
И помолился вслух.

И я услышал птиц
На утренней поверке.

И голос: «Воротись!
Что делать в Нюренберге?»
Но я сказал: «Окстись!
Там золотое место.
Я волен. Наконец-то
Я больше не артист.

Я сотворил алтарь
С мученьем и печалью.
Но я не отвечаю,
Что вышел неказист.
Ведь я его отверг!..»

– Но ты бы мог над Тибром
Бродить. Зачем же выбран
Тобою Нюренберг?

– Да, город не хорош.
Я видел много лучших.
Но просто есть попутчик –
Алтарный мастер Ствош.

– Но как же навсегда
Ты родину покинешь?
Пошел бы в город Китеж
Или еще куда!..

– Превыше всех Россий,
Америк, Польш и Англий
Мне мил дорожный ангел,
Сказавший – не убий!

– Понятно, – произнес
Тот голос очень сухо.

Явленье злого духа
На этом прервалось.

Не надо отвечать
Тому, кто сух и важен.
Не увлечен пейзажем
Я начал все прощать.

– Прощение Ивану,
Российскому тирану,
Прощение Петру
За плаху и петлю.

Прощение тому
Ученому кретину,
Что создал гильотину!
Прощение всему!

Прощенье молодцам,
Однажды бунт поднявшим,
А также подлецам,
Их в каторгу погнавшим,
Прощение уму
И бескорыстной страсти,
Прощенье высшей власти!
Прощение всему!

Прощенье облакам,
Туманностям, пропойцам,
Профанам, альбигойцам,
Фазанам, червякам,
Прощение врагам,
Шпикам, цареубийцам,

Татарам и индийцам,
Хапугам, беднякам,
Поэтам из газет,
Бандитам из Чикаго,
Глупцам от А до Зет,
И доктору Живаго,
Майору Сердюку,
Немецкому генштабу,
А также мужику,
Угробившему бабу,
Слепцу, борцу за мир,
Дантисту, богоборцу,
Журналу «Новый мир»
И автору-глетворцу,
И тем, кто сеет ложь,
То вольно, то невольно...

Ну, знаешь что! Довольно! –
Сказал мне мастер Ствош.

[ТИША]

Меж тем, невдалеке
Сиял какой-то Суздаль.
И некто в армяке
К нам обратился: «Сударь!»
И пригласил рукой
В харчевню за рекой.

Мы съели щей горшок
И хлеба две краюхи.
И я в народном духе
Спросил его: «Браток!
На Нюренберг, – скажи, –

Податься как поближе?»
– Допрежь ступай к Парижу,
А там левой держи.

Тот парень был не прост.
И прямым из чайной
С какой-то мыслью тайной
Повел нас на погост.

Прекрасный уголок
Близ городских окраин!
Тут памятник: «А. Каин,
Поэт и педагог».

Здесь мирно спал пиит.
Но на могиле скромной
Разлегся кот огромный,
Черней, чем антрацит.

(Скажу, чтоб не нескучить:
Он третий стал попутчик
Наш в город Нюрнберг.
И назван был Четверг,
Поскольку был четверг.)

Итак, любя народ,
Поэт Алеша Каин
Для всех, кто неприкаян,
Придумал хоровод.

Чтоб ни Восток, ни Запад
Растлить нас не могли,
Воспел он русский лапоть
С припевом: «Ай-любли!»

(Алешу упрекнули,
Что лучше петь: «Ай-лю́ли!»)

Но местные селянки
На солнечной полянке
Плясали, как могли,
С припевом: «Ай-лю́ли!».

.....

– Счастливы те народы,
Что водят хороводы, –
Заметил мастер Вит.

Тут из травы немятой
Явился некто пятый
И так нам говорит:

– Сегодня ровно сорок
Лет, как под камень сей
Лег, тот кто всем нам дорог,
Писатель Алексей.

Он был не из последних,
Но я его наследник.
И я его первой.

Я – гений современный –
Нашел прямой и верный
Путь к счастью и добру:
Я изобрел икру.

Все эти хороводы –
Прекрасная игра.

Но красная икра –
Есть верный знак свободы!

Пусть я не ко двору,
Но это современно –
Я изобрел икру
Из полиэтилена.

Моя икра – для всех.
И в том ее успех.

Вы скажете: икры бы!
А я уж тут как тут.
Пусть мне за это рыбы
Руки не подают. –

От этих рассуждений
Вит Ствош совсем размяк.
– Да, Тиша это гений, –
Нам прошептал Армяк.

Узнав, что здесь мы гости,
И что Вит Ствош поляк,
Умелец на погосте
Поставил нам коньяк.

И прямо на могиле
Мы славно закутили.

По первой, по второй,
А дальше не считая,
Искусственной икрой
Спиртное заедая.

Гуляли мы по-царски
И пили мы по-братски,
Трепались по-швейцарски,
Ругались по-канадски.

Наш икрометный гений
Вздымал за тостом тост.
От наших вольных мнений
Коробило погост.

И разговор был дивен.
Но вдруг раздался блеск,
Ударил гром, и ливень
Посыпался с небес.

О, летний, полновесный,
Роскошный, молодой,
Дождь, хлынувший небесной
Проветренной водой.

Когда видны с изнанки
Древесные миры
И на воде ветрянкой
Вспухают волдыри!

Мы забрались в сторожку
И слушали всю ночь,
Как свежую окрошку
Изготавливает дождь.

И пахло хлебным квасом,
Редиской, огурцом,
И стопудовым басом
Рычал стозевный гром...

Шишиги, вурдалаки,
Осатанев совсем,
Восстали, как поляки,
И собрались на сейм.

И было нам не страшно.
И пили мы коньяк.
И было нам прекрасно.
Да будет вечно так!

ПРОЩАНИЕ

Я своего стиха
Оставил стиль спартанский.
– Ха-ха, ха-ха, ха-ха! –
Сказал бы Л. Итанский,
Который был готов
Пойти со мной и с Витом,
Но был заеден быгом
И значит – не готов.

Готов кроме него
Был некий Пересветов,
Но множество советов
Замучили его.

Кого б еще сманить?
Петра или Бориса?
Володю, может быть?
Но с ним мы разошлись.

Так в мой понурый бег
Я взял кота и Ствоша.
Как хорошо, что все же
Не близок Нюренберг!

Один, Леон Тоом,
Пошел бы ты со мною
Дорогою дневною
Или ночным путем.
Ты, сокрушитель стен,
Ниспровергатель окон,
Прозревший острым оком
Убожество систем!

Как шли бы мы с тобой,
То веселы, то пьяны!
И нам наперебой
Гремели б барабаны!
Всем девушкам с тобой
Дарили б мы конфеты.
Играли б нам гобой,
И флейты, и кларнеты!
И чьи-нибудь невесты
Порой сбегали к нам.

Играли б нам челесты,
И бубны, и тимпан,
Взлетал бы фейерверк,
Стреляли бы мортиры!
Так шли б мы в Нюренберг,
Веселые сатиры!..

Прощай, мой милый друг!
Прощай, беспечный гений!
Из всех твоих умений
Остался дар разлук.

Прощай, мой милый друг!
Прощай, свободный гений!

Отвергший из наук
Науку возвращений!

Прощай, мой вечный друг!
Прощай, мой слабый гений!
Как суть твоих учений
Осуществилась вдруг!

Прощай! Ты был во всем
Иной, не нашей мерки...

Быть может, в Нюренберге
Мы встретимся потом.

БАЛАГАН

– Да, он один убит, –
Сказал мне мастер Вит, –
А вы еще живете
По собственной охоте.
Здесь только скукота
И люди с рыбьей кровью,
Пойдем в средневековье,
Возьмем с собой кота!

– Ах, разве можно вспять
Куда-то возвратиться?
Давай-ка лучше спать
И видеть то, что снится.
Давай-ка бредить вслух!..
– Ну что ж, вернемся, друг,
Туда, где и поныне
Царит вселенский дух
Трактира и латыни,

Где, шляясь по торгам,
Увидим мы, коллега,
Под небом – балаган,
Над балаганом – небо...
– Пьянчуги, торгаши! –
Я подхватил в восторге.
А ну, вольней дыши
На этом шумном торге,
Где толпы горожан
И теснота ковчега.
Под небом – балаган.
Над балаганом – небо.

Вит Ствош был весел вновь
И вновь в своей тарелке.
– Как горячат нам кровь
Лукавые паненки!

– Как раздражает нюх
Благоуханье пира!
– Виват! Вселенский дух
Латыни и трактира!..
– Гляди, а там правеж:
Попал в беду пройдоха!.. –
Я говорю: – Ну что ж,
Эпоха как эпоха.

– А вон карманный вор!
– А вон доминиканец!
– Вон сбир!
– Вот страж!
– Вон спор
Оборвышей и пьяниц!

А ближе к облакам
Раскинут балаган.

– Про это – я! Пстой! –
Воскликнул Вит. – Прстой
Сюжет. Весьма наивный.
Сей шут богопротивный –
Диáвол. Мрака сын
Решил смутить Юстина.
А этот вот детина
Есть человек Юстин.
Отродье сатаны,
Чтоб парня не прохлопать,
В нем разжигает похоть,
Сулит ему чины.
Юстин же стал мечтать
Про все земные блага.
И вот посмел, бедняга,
На Бога возроптать...
Ликует гений зла!..
Но, сжалясь, Матерь Божья
Опутанного ложью
Юстина утасла...
– Дай я!.. Пустив слезу,
Спасенный на колени
Упал. Его моленья
Сейчас произнесу:
«Спасибо вам, Господь
И Пресвятая Дева,
За то, что свою плоть
Я вызволил из хлева!
За то, что вы спасли
Меня от вожделенья.

С поклоном до земли
За то мое моление!
За то, что дух тщеславный
Не указал мне путь
И в городок преславный
Приду когда-нибудь!..»

– Нет, мне невоготу, –
Прервал Вит Ствош. – Надейся,
Что ты спасен. Но в действо
Пора войти коту. –
И закричал: – Ату!
– Ату! Держи! Ага!
– В чем дело?

– Ты не зрячий?

Какой-то пес бродячий
Заметил Четверга! –
Сцепились пес и кот.
И вдруг, заулюлюкав,
Рванулся весь народ,
Как тыща мамелюков,
Вслед за котом и псом –
Весь наш цветущий сон:
Мальчишки, бернардины,
Красотки, паладины,
Монахи, игроки,
Торговцы, голяки,
Лиценциаты, шлюхи,
Младенцы и старухи...
Пустились в этот гон...
И скрылись в гул времен...

Мы с Витом хохоча
Переживали праздник.

Куда, куда уйду
От русского глагола,
Так молодо и голо
Воспевшего беду?

И где, в какой стране
Так солью травят совесть?..
(Вновь к выстрелу готовясь,
Прибегнул я к строке!)

Но продолжаю повесть...
Совсем невдалеке
Мы увидали дом,
Стоявший на опушке.
Я, Вита подтолкнувши,
Сказал ему: «Войдем!»

С высокого крыльца
Спустилась к нам хозяйка.
Вит – перед ней козявка –
Буквально спал с лица.

Знаток барочных форм
Был поражен картиной.
(Хозяйку звали Зиной,
Но не в коня был корм.)

Из-за ее плеча,
Приятно лепеча,
Выглядывал Мерзилов,
Представившись – Мерзилов.

Он, чей-то референт,
Сын графа и циркачки,

Вполне интеллигент,
Устав от вечной скачки,
Здесь отдыхал от дел,
Поскольку не успел
Себе построить дачки.

Он тут же возгласил,
Что в дом войти нас просит
И скоро подморозит...
Я не сообразил,
Что он имел в виду,
И говорю невольно:
– Где вы достали льду?
– В России льда довольно.

Он утверждал, что мир
И благо для народа
Приносит не свобода,
А лишь один пломбир.

В прекрасный сладкий снег,
Молочный и ванильный,
Замыслил раб умильный
Ничтожный свой побег!

Алтарный мастер Вит
Не понял мысли мутность.
(Поляки не поймут нас!)
И принял бравый вид.

Короче говоря,
Мы с Витом на перине
Легли, к хозяйке Зине
Не подступаясь зря.

Она легла на печь.
Мерзилов – на полати.
А кот... О нем-то, кстати,
Пойдет сегодня речь.

Едва в потемках храп
Раздался мой и Ствоша,
Как осторожно с ложа
Восстал лукавый раб.
И медленно в ночи
Направился к печи.

Уже его нога
Нашупывала лавку,
Как, оступясь неловко,
Задела Четверга.

Кот взвизгнул. Но в момент
Нашелся референт:

– Ах, негодяй! Подлец!
Гляди, куда полез!
Распутник! Гад! Паршивец!
О, как вы в нем ошиблись!

Подобному коту
Определить черту
Оседлости!.. Нет – мало!
Кастрация!.. Тюрьма!..

– Ну что вы! Я сама
Кис-кис ему сказала! –
С печи произнесла
Хозяйка.

– Я не в силах...
Пардон, – сказал Мерзилов, –
А, впрочем, о-ла-ла!

.....

Итак, Вит Ствош, Четверг
И я – дорогой мира
Пошли (лишась пломбира)
Все в тот же Нюренберг.

ВСТРЕЧА

Шагая вдоль страны,
Зашли мы в дивный угол,
Где зверь еще не пуган
И реки не мутны.

Вблизи текла река.
Угадывалось это
По перебежке света
И шуму лозняка.

Простор летел под яр,
Огромный, как цунами,
И прямо перед нами
Преображался в пар.

И повисал, светясь,
Над луговым заречьем,
И расширялся в нас
Дыханьем человечьим.

В реке – прицельность Цейса
И ясность лучших линз,

Но, как в глазах младенца,
Все – головою вниз:
И облака, и горы,
И темные леса,
И старичок, который
У брода пас гуся,
И дерево хромое,
Сбежавшее под склон,
И лодочка, и трое
Искателей икон.

Прекрасная порода!
О, как я был влюблен
Тому назад три года
В искателей икон.
В искательниц особо!
Одна из их числа
Прелестная особа
С ума меня свела!

Штаны, ковбойка, кеды
И свитер шерстяной
Невольные победы
Свершали надо мной.

Доныне эту вязку
Я помню под рукой
И грустную развязку
С искательницей той...
Подходим.

– Старина!
Так это же она!..

Неловкость. Я, как школьник,
Краснею. О, мила,
Как прежде. В треугольник
Вонзились два угла.

– Знакомьтесь. Это муж.
А это мой поклонник. –
И вот пятиугольник,
Томительная чушь!

Но задал верный тон
Четверг. Пока я мялся,
Он мирно слопал мясо
Искателей икон...

Старик, что пас гуся,
Приблизился, неся
Под мышкой эту птицу,

Чтобы опохмелиться,
Он полагал продать
Гуся рублей за пять.

– На! Выпей-ка, старик! –
Сказал ее поклонник –
Он был унылый комик,
И у него был тик.
Затеяли шашлык.

Муж скрупулезно знал,
Как есть должны авгуры,
И тихо напевал,
Ворочая шампуры:

«Шашлык мой, шашлычонок,
Шашлык мой, шашлычон,
Ты создан для ученых –
Искателей икон.
Вся истина и правда
Прекрасней с шашлыком.
И только в нем отрада
Искателей икон!»

А мы поднялись с ней
Вверх по крутому берегу.
– Куда вы? – К Нюренбергу
Идем. Оно честней...
– Гляди, как с высоты
Просторна эта местность...
– Обыкновенно...
– Честность....
– Ты виноват...
– Нет, ты.

Шел нудный разговор
В полутонах... Но ах!
Бесчисленное стадо
Гусей спускалось вниз
Подобьем снегопада
И гогоча толклись.
Они спускались вниз,
Мгновенно спутав карты.
И крылья, как штандарты
Разбойные, тряслись.
Под гогот, шум и крик,
Как конница степная,
Спускались, наступая
На суп и на шашлык,

А этот старый черт,
Не струсивший нимало,
Гоня их от мангала,
Плясал, как Пугачев.

.....
Расстались вечерком.
Искатели икон
Уплыли вниз на лодке
С едой и коньяком.
А мы пошли пешком.
Вдвоем остаток водки
Допили в полутьме,
Опустошив манерку
У знака: «К Нюренбергу.
Две тысячи км».

ДВА МОНОЛОГА

Итак, мы шли втроем.
Четверг был наша ноша –
То на плече у Ствоша,
То на плече моем.

Густой сосновый лес
Вздвигался до небес.
Он был пустым, печальным
Во взлете вертикальном.
Лишь наискось секло
Его свеченье пыли,
Как будто сквозь стекло
В подвале.

Мы испили
Воды, найдя ручей.
И шли еще бойчей...

Лес кончился. Дорога
Текла за край земли.
И мы произнесли
Тогда два монолога.
Лицо воздев горе
В неизреченной страсти,
Вит Ствош, алтарный мастер,
Запел об алтаре.

Моление об алтаре

– Алтарь! Каков он был!
Звук дерева цветущий,
Цвет дерева поющий,
Исполненного сил!
Я в каждом существе
Изобразил цветенье
И смесь объема с тенью
В естественном родстве.
Я знал, как должен свет
С высот соборных литься,
И как он должен длиться,
И как сходить на нет!
Пространство! Бытие!
Ты знаешь, как пристрастно
Я размещал пространство
И превращал в свое
Пространство бытия
В его древесном смысле.
И воспаряла к мысли
Вещественность моя.
Тогда я наконец
Увидел образ Бога!

Но знаю, как убого
Витийствует резец!
Казалось мне, что дух
Моей руки коснулся.
Я грезил. Я очнулся...
Небесный свет потух...
О Боже, дай узреть
Мне снова свет небесный
И в наготе телесной
Его запечатлеть! –
Так говорил он. Бор
Пел, как соборный хор.
И солнце пролилось
И растворилось в сини.
Тогда я произнес
Моление о сыне,
Не отирая слез.

Моление о сыне

– Ну что ж, – я говорю, –
Уже пора уйти нам.
Смерть возблагодарю,
Но жаль расстаться с сыном.
Еще он мал и слаб –
Ни государь, ни раб.
И он не то чтоб – дух,
Он плоть моя живая,
Он – бесконечный круг,
И он живет, сливая
Меня с небытием,
С тем самым, с изначальным.
И трудно быть печальным,
Когда мы с ним вдвоем.

Судьбу благодарю,
Благодарю за сына.
Ну что ж, – я говорю, –
Ведь радость беспричинна. –
Я говорю: – Ну что ж!
Благодаренье Богу
За боль и за тревогу,
Которых не уймешь.
О, высший произвол!
Ты – ипостась добра
За то, что произвел
Мне малого Петра.
За то благодарю,
Что он раним, печален,
За то, что изначален.
Ни Богу, ни царю
Еще не посвящен.
И, может, разум темный
Потом его спасет.
Он будет сын высот.
Молю, продли мне дни!
Продли мне с ним слиянье,
Чтоб это расстоянье
Прошли бы мы одни.
Одни – то есть вдвоем.
Нам никого не надо...
Явленье вертограда,
Священный водоем!
Судьба, мне дни продли,
Чтоб шли мы вдоль земли.
Чтоб шли мы постоянно,
Безвинно и слиянно.
Судьба! Продли мне дни!

Не мучай болью, голодом
И нас соедини,
Чтоб шли мы с сыном рядом. –
Примерно так моя
Звучала песнь о сыне.
И пели Вит и я,
Как дервиши в пустыне.
О тех, кого с собой
В дорогу взять не можем,
Мы пели вразнобой,
Подобно птицам божьим.
Мы плакали и пели,
Друг друга не стыдясь.
Из голубой купели
Лучи лились на нас.

[ДЕТЕКТИВ]

Все позабыв на свете,
Я был почти счастлив.
Но на мотоциклете
Догнал нас детектив.

(Мерзилов не был подл,
Но нас невольно продал.)

Вопрос был:
– Кто такие?
Зачем вы по России
Штатаетесь, притом
С сомнительным котом?

– Ах, этот кот из честных.
Но если надоест,
Хотите – он исчезнет. –
– Фу-фу! – и кот исчез.

Начальник был смущен,
И малость сбавил тон:
– Придется вас проверить.
Ведь можно ли поверить?..
Здесь колдовство...
– Ничуть.

Я лишь умею судить,
То, что могу придумать:
Мне стоит только дунуть.
– Ну а меня?
– И вас.

Желаете – сейчас
На эту вот осину
Подвешу за штанину?..

На лоб глаза полезли
У малого:
– А если
То можно все и вся...
Сдунуть...
– Нет, нельзя.

Лишь то возможно сдунуть,
Что я могу придумать:
Кота, себя, его
(Я показал на Ствоша),
Поэта одного
По имени Алеша...

А вот пивной ларек –
Его я не придумал,
И даже если б дунул,
То сдунуть бы не мог...
А где ж наш кот? Явись!
И снова кот явился. –

Тут детектив решился
Пойти на компромисс.
– Ну ладно... (ход не глупый!)
Мы вас туристской группой
Оформим в Нюренберг.
В составе: кот Четверг,
Тот польский ваш молодчик
И вы, как переводчик.

Да, кстати, этот кот
Пускай перед отправкой
За медицинской справкой
На час ко мне зайдет...
Получишь колбасы!

Кот распушил усы.

Я говорю: – Ну что ж!
Зато в тени дубровы
Мы выпьем выборовой!
Давай-ка, мастер Ствош!

И мигом на траве
Образовались две
Бутылки, помидоры,
Салака, колбаса,

А через полчаса
Запел «Златые горы»
Наш славный детектив.
Немыслимый мотив
Подхвачен всей оравой.
Потом включился кот.
Пошли немедля в ход
Высоцкий с Окуджавой,
Анчаров, Галич, Ким,
И «Польша не сгинела»...

И вот, пока темнело,
Мы нализились в дым.

Заснули кот и Ствош
И новый наш приятель.

А воздух был приятен,
И вечер так хорош!

Донесся песий брех
Откуда-то из мрака.
Как далеко, однако,
Преславный Нюренберг.

[НЮРЕНБЕРГ]

И начало светать
Над игловатой елью.
И, видимо, с похмелья
Я начал отрицать.

– Проклятие Ивану,
Российскому тирану.
Проклятие Петру
За плаху и петлю!..

Проклятие тому...
Проклятие уму...
Проклятие сему...
Проклятие всему...

Проклятие икре,
Проклятие пломбиру,
И морю, и горе,
И городу, и миру.

Прекрасная дорога –
Зачем ты мне нужна?
Ужасная тревога –
Зачем ты мне нужна?

Каникулы от смерти –
Зачем вы мне нужны?
И ангелы, и черти –
Зачем вы мне нужны?

Алтарь, который создан,
Зачем ты нужен мне?
И устремленье к звездам –
Зачем ты нужно мне?

И недруги, и други –
Зачем вы мне нужны?
И господа, и слуги –
Зачем вы мне нужны?

И женщины, и дети –
Зачем я нужен вам?
И все, что есть на свете –
Зачем я нужен вам?

Те, с кем бывало пьяно –
Зачем я нужен вам?
Татьяна или Анна –
Зачем я нужен вам?

И Виктор или Юра –
Зачем я нужен вам?
И Вы, литература,
Зачем я нужен Вам?

И все-таки – дорога
Передо мной лежит.
Свободно и отлого
Дорога вверх бежит.

И кот, и мастер милый
Рядом со мной идут.
И нежные могилы
По сторонам цветут.

Воркуя голубь сизый
Летит на грустный глог.
Как хорошо, что близок
Преславный городок!

На легком океане,
В предутреннем тумане,
Как парус островерх,
Всплывает Нюренберг.

1970-1972

СТРУФИАН

Недостоверная повесть

1

А где-то, говорят, в Сахаре,
Нашел рисунки Питер Пэн:
Подобные скафандрам хари
И усики вроде антенн,
А может – маленькие роги.
(Возможно – духи или боги, –
Писал профессор Ольдерогге.)

2

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Многообразные тревоги
Томили русского царя,
От неустройства и досад
Он выходил в осенний сад
Для совершенья моциона,
Где кроны пели исступленно
И собирался снегопад.
Я, впрочем, не был в том саду
И точно ведать не могу,
Как ветры веяли морские
В том достопамятном году.
Есть документы, дневники,
Но твердым фактам вопреки
Есть данные кое-какие.
А эти данные гласят
(И в них загадка для потомства),

Что более ста лет назад
В одной заимке возле Томска
Жил некий старец непростой,
Феодором он прозывался.
Лев Николаевич Толстой
Весьма им интересовался.
О старце шел в народе слух,
Что, не в пример земным владыкам,
Царь Александр покинул вдруг
Дворец и власть, семейный круг
И поселился в месте диком.

Мне жаль всегда таких легенд!
В них запечатлено движенье
Народного воображенья.
Увы! всему опроверженье –
Один престранный документ,
Оставшийся по смерти старца:
Так называемая «тайна» –
Листы бумаги в виде лент,
На них цифирь, и может статья,
Расставленная не случайно.

Один знакомый программист
Искал загадку той цифири
И сообщил: «Понятен смысл
Ее, как дважды два – четыре.
Слова – “а крыют струфиан” –
Являются ключом разгадки».
И излагал – в каком порядке
И как случилось, что царя
С отшельником сошлись дороги...

Э

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.

Топталось море, словно гурт,
Захватывало дух от гула.
Но почему-то в Петербург
Царя нисколько не тянуло.
Себе внимая, Александр
Испытывал рождение чувства,
Похожего на этот сад,
Где было сумрачно и пусто.
Пейзаж осенний был под стать
Его душевному бессилью.
– Но кто же будет за Россию
Перед Всевышним отвечать?
Неужто братец Николай,
Который хуже Константина...
А Миша груб и шелопай...
Какая грустная картина!.. –
Темнел от мыслей царский лик
И делался *mélancolique*.
– Уход от власти – страшный шаг.
В России трудны перемены...
И небывалые измены
Сужают душный свой кушак...
Одиннадцатого числа
Царь принял тайного посла.
То прибыл унтер-офицер
Шервуд, ему открывший цель
И деятельность тайных обществ.
– О да! Уже не только ропщут! –
Он шел, вдыхая горький яд
И дух осеннего убранства.
– Цвет гвардии и цвет дворянства!
А знают ли, чего хотят?..
Но я им, впрочем, не судья...

У нас цари, цареубийцы
Не знают меж собой границы
И мрут от одного питья...
Ужасно за своим плечом
Все время чуют тень злодея...
Быть жертвою иль палачом... –
Он обернулся, холодея.
Смеркалось. Облачно, туманно
Над Таганрогом. И тогда
Подумал император:
«Странно,
Что в небе светится звезда...»

4

«Звезда! А может, Божий знак?» –
На небо глянув, думал Федор
Кузьмин. Он пробрался обходом
К ограде царского жилья.
И вслушивался в полумрак.
Он родом был донской казак.
На Бонапарта шел походом.
Потом торговлей в Таганроге
Он пробавлялся год за годом
И вдруг затосковал о Боге
И перестал курить табак.
Торговлю бросил. Слобожанам
Внушал Кузьмин невольный страх.
Он жил в домишке деревянном
Близ моря на семи ветрах.
Уж не бесовское ли дело
Творилось в доме Кузьмича,
Где часто за полночь горела
В окошке тусклая свеча!

Кузьмин писал. А что писал
И для чего – никто не знал.
А он, под вечный хруст прибоя,
Склонясь над стопкою бумаг,
Который год писал: «Благое
Намеренье об исправленье
Империи Российской». Так
Именовалось сочиненье,
Которое, как откровенье,
Писал задумчивый казак.
И для того стоял сейчас
Близ императорского дома,
Где было все ему знакомо –
Любой проход и каждый лаз –
Феодор неприметной тенью,
Чтоб государю в ноги пасть,
Дабы осуществила власть
«Намеренье об исправленье».

5

Поскольку не был сей трактат
Вручен (читайте нашу повесть),
Мы суть его изложим, то есть
Представим несколько цитат.
«На нас, как ядовитый чад,
Европа насылает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
Не будет девы с коромыслом,
Не будет молодца с сохой.
Восторжествует дух сухой,
Несовместимый с русским смыслом,
И эта духа сухота
Убьет все промыслы, ремесла;

Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута.
Дабы России не остаться
Без колеса и хомута,
Необходимо наше царство
В глухие увести места –
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный.
Но, завершив исход синайский,
Во все концы пресечь пути.
А супротив стены Китайской
Превыше оной возвести.»
«В Руси должна быть только Русь.
Татары ж и киргиз-кайсаки
Пусть платят легкие ясаки,
А там как знают, так и пусть...»
 «Необходимы также меры
Для возвращенья старой веры,
В никонианстве есть порок,
И суть его – замах вселенский.
Руси сибирской, деревенской
Пойти сие не может впрок.»
 В провинции любых времен
Есть свой уездный Сен-Симон.
Кузьмин был этого закала.
И потому он излагал
С таким упорством идеал
Российского провинциала.
И вот настал высокий час
Вручения царю прожекта.
Кузьмин вздохнул и, помолясь,
Просунул тело в узкий лаз.

Дом, где располагался царь,
А вместе с ним императрица,
Напоминал собою ларь,
Как в описаньях говорится,
И выходил его фасад
На небольшой фруктовый сад.
От моря дальнобойный гул
Был слышен – волны набегали.
Гвардеец, взяв на караул,
Стоял в дверях и не дыхнул.
В покоях свечи зажигали.
Барон Иван Иванович Дибич
Глядел из кабинета в сад,
Стараясь в сумраке увидеть,
Идет ли к дому Александр.
А государь замедлил шаг,
Увидев в небе звездный знак.
Кузьмин шел прямо на него,
Готовый сразу падать ниц.

Прошу запомнить: таково
Расположение было лиц –
Гвардеец, Дибич, государь
И Федор, обыватель местный, –
Когда послышался удар
И вдруг разлился свет небесный.

Был непонятен и внезапен
Зеленоватый свет. Его,
Биясь как сердце, источало
Неведомое существо,
Или, скорее, вещество,
Которое в тот миг упало
С негромким звуком, вроде «пах!»,

Напоминавшее колпак
Или, точнее, полушарье,
Чуть сплюснутое по бокам,
Производившее шуршанье,
Подобно легким сквознякам...
Оно держалось на лучах,
Как бы на тысяче ресничин.
В нем свет то вспыхивал, то чах,
И звук, напоминавший «пах!»,
Был страшноват и непривычен.
И в том полупрозрачном теле
Уродцы странные сидели.
Как мог потом поклясться Федор,
На головах у тех уродов
Торчали небольшие рожки.
Пока же, как это постичь
Не зная, завопил Кузьмич
И рухнул посреди дорожки.
Он видел в сорока шагах,
Как это чудо, разгораясь,
Вдруг поднялось на двух ногах
И встало, словно птица страус.
И тут уж Федор пал в туман,
Шепча: «Крылатый струфиан...»
В окно все это видел Дибич,
Но не успел из дому выбежать.
А выбежав, увидел – пуст
И дик был сад. И пал без чувств...
Очнулся. На часах гвардейца
Хватил удар. И он был мертв.
Неподалеку был простерт
Свидетель чуда иль злодейства,
А может быть, и сам злодей.

А больше не было людей.
И понял Дибич, сад обшаря,
Что не хватало государя.

7

Был Дибич умный генерал
И голову не потерял.
Кузьмин с пристрастьем был допрошен
И в каземат тюремный брошен,
Где бредил словом «струфиан».
Елизавете Алексевне
Последовало донесенье,
Там слез был целый океан.
Потом с фельдъегерем в столицу
Послали экстренный доклад
О том, что августейший брат
Изволил как бы... испариться.
И Николай, великий князь,
Смут или слухов убоясь,
Велел словами манифеста
Оповестить, что царь усоп.
Гвардейца положили в гроб
На императорское место.

8

А что Кузьмин? Куда девался
Истории свидетель той,
Которым интересовался
Лев Николаевич Толстой?
Лет на десять забыт в тюрьме,
Он в полном здравье и уме
Был выпущен и плетью бит.

И вновь лет на десять забыт.
Потом возник уже в Сибири,
Жил на заимке у купца,
Храня секрет своей цифири.
И привлекать умел сердца.
Подозревали в нем царя,
Что бросил царские чертоги.

9

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Он через степи и леса
Летел, как весть, летел на север
Через Москву. И снег он сеял.
И тут декабрь уж начался.
А ветер вдоль Невы-реки
По гладким льдам свистал сурово.
Подбадривали Трубецкого
Лейб-гвардии бунтовщики.
Попыхивал морозец хватский,
Морскую трубочку куря.
Попахивало на Сенатской
Четырнадцатым декабря.

10

А неопознанный предмет
Летел себе среди комет.

1974

СНЕГОПАД

Декабрь. И холода стоят
В Москве суровой и печальной.
И некий молодой солдат
В шинели куцей госпитальной
Трамвая ждет.

Его семья
В эвакуации в Сибири.
Чужие лица в их квартире.
И он свободен в целом мире.
Он в отпуску, как был и я.

Морозец звонок, как подкова.
Перефразируя Глазкова,
Трамваи, как официантки,
Когда их ждешь, то не идут.

Вдруг снег посыпал. Ключья ватки
Слетели с неба там и тут,
Потом все гуще и все чаще,
И вот солдат, как в белой чаше,
Полузасыпанный стоит
И очарованный глядит.

Был этот снег так чист и светел,
Что он сперва и не заметил,
Как женщина из-за угла
К той остановке подошла.

Вгляделся: вроде бы знакома.
Ах, у кого-то из их дома
Бывала часто до войны!

И он, тогда подросток праздный,
Тоской охваченный неясной,
За ней следил со стороны.

С ухваткой, свойственной пехоте,
Он подошел:

– Не узнаете? –

Она в ответ:

– Не узнаю.

– Я чуть не час уже стою,
И ждать трамвая безнадежно.
Я провожу вас, если можно.

– Куда?

– Да хоть на край земли.

Пошли? –

Ответила:

– Пошли.

Суровый город освежен
Был медленно летящим снегом.
И каждый дом заморожен
Его пленительным набегом.
Он тек, как легкий ровный душ,
Без звука и без напряженья
И тысячам усталых душ
Дарил покой и утешенье,

Он тек на головной платок,
И на ресницы, и на щеки.
И выбившийся завиток
Плыл, как цветок, в его потоке.
Притихший молодой солдат
За спутницей следил украдкой,
За этой выбившейся прядкой,
Так украшавшей снегопад.

Была ль она красива? Сразу
О том не мог бы я сказать.
Конечно, моему рассказу
Красавица была б под стать!
Она была обыкновенной,
Но с той чертою дерзновенной,
Какую могут обрести
Лет где-то возле тридцати
Иные женщины.

В них есть

Смешенье скромности и риска.
Беспечность молодости близко,
Но зрелости слышнее весть.
Рот бледный и немного грубый.
Зато как ровный жемчуг зубы.
И затаенная душа
В ее зрачках жила стыдливо.
Она не то чтобы красива
Была, но просто хороша.
Во всяком случае, солдату
Она казалась таковой,
Когда кругом была объята
Летучей сетью снеговой.
(Легко влюблялись мы когда-то,
Вернувшись в тыл с передовой.)

Я бы еще сказал о ней.
Но женщины военных дней
В ту пору были не воспеты,
Поскольку новые поэты
Не научились воспевать,
А не устали воевать.
Кое-кого из их числа
Уже навеки приняла
Земля под сень своих просторов:

Кульчицкий, Коган и Майоров,
Смоленский, Лебский и Лапшин,
Борис Рождественский, Суворов –
В чинах сержантов и старшин
Или не выше лейтенантов –
Созвездье молодых талантов,
Им всем по двадцать с небольшим...

Шли по Палихе, по Лесной,
Потом свернули на Миусы.
А там уж снег пошел сплошной,
Он начал городить турусы
И даже застил свет дневной.

– Я здесь живу. А вам куда?
– Мне никуда. Но не беда –
Переночую на вокзале.
А там!.. Ведь есть же города,
Куда доходят поезда...–
Они неловко помолчали.
– А можно к вам? –

Сказала:

–Да.

Прошли заснеженным двором.
Стряхнули снег. Вошли вдвоем
В ее продрогшую каморку.
– Сейчас мы печку разожжем, –
Сказала. И его восторгу
Пришел конец. Так холодна
Была каморка и бедна.

Но вскоре от буржуйки дымной
Пошло желанное тепло.

В окне, скрывая холод зимний,
Лепились хлопья на стекло.
Какая радость в дни войны
Отъединиться от погоды,
Когда над вами не вольны
Лихие прихоти природы!
(Кто помнит: стужа, и окоп,
И ветер в бок, и пуля в лоб.)

Он отвернулся от окна,
От города, от снегопада
И к ней приблизился.

– Не надо, –

Сказала. Сделалась бледна.
Он отступился. Вот досада!
Спросила:

– Как вас звать? –

Сказал.

– А вас как? –

Отвечала:

– Клава.

В окне легко и величаво
Варился зимний снежный бал.
Кружила вьюга в темпе вальса,
Снег падал и опять взвивался.
Смеркалось. Светомаскировку
Она спустила. Подала
Картошку. И полулитровку
Достала. В рюмки разлила.

Отделены от бури снежной
Бумажной шторкою ночной,
Они внимали гул печной.

И долго речью безмятежной
Их ублажал печной огонь.
Он в руки взял ее ладонь.

Он говорил ей:

– Я люблю вас,
Люблю, быть может, навсегда.
За мной война, печаль и юность.
А там – туманная звезда. –

Он говорил ей:

– Я не лгу, .
Вы мне поверьте, бога ради,
Что, встреченную в снегопаде,
Вас вдруг оставить не могу!..

Такой безвкусицей банальной,
Где подлинности был налет,
Любой солдатик госпитальный
Мог растопить сердечный лед.

Его несло. Она внимала,
Руки из рук не отнимала.
И, кажется, не понимала,
Кто перед ней. И поняла.
И вдруг за шею обняла
И в лоб его поцеловала.
Он к ней подался. К ней прильнул.
Лицом уткнулся ей в колени.
И, как хмельной, в одно мгновенье
Уснул... Как так?.. Да так – уснул.
Вояка, балагур, гусар
Спал от усталости, от водки,
От теплоты, от женских чар.

И его руки были кротки.
Лежал, лицо в колени пряча,
Худой, беспомощный – до плача.
Подумала: куда в метель?
И отвела его в постель.

Проснулся. Женское тепло
Почувствовал в постели смятой.
Протер глаза. Был час десятый.
И на дворе еще мело.

Записка: «Я вернусь к пяти,
Если захочешь, оставайся».
Кружила вьюга в темпе вальса.
Успела за ночь замести
Она Тверские и Ямские
И все проезды городские,
Все перепутала пути.
С пургой морозы полегчали,
И молодой солдат в печали
Решал – уйти иль не уйти?

Да и меня в иное время
Печаль внезапно проняла
О том, что женщина ушла
И не появится в поэме.
Хотел бы я ее вернуть,
Опять идти под снегопадом...
Как я хотел бы с нею рядом
В тот переулочек завернуть!

Как бы хотел, шагая с ней,
Залюбоваться снегом, жестом,

Вернуть и холод этих дней,
И рот, искусанный блаженством...

Я постарел, а ты все та же.
И ты в любом моем пейзаже –
Свет неба или свет воды.
И нет тебя, и всюду ты.

Что я мечтал изобразить?
Не знаю сам. Как жизни нить
Непрочная двоих связала,
Чтоб скоро их разъединить?
Нет, этого, пожалуй, мало.
Важней всего здесь снегопад,
Которым с головы до пят
Москва солдата обнимала.

Летел, летел прекрасный снег,
Струился без отдохновенья
И оставался в нас навек,
Как музыка и вдохновенье...

Учусь писать у русской прозы,
Влюблен в ее просторный слог,
Чтобы потом, как речь сквозь слезы,
Я сам в стихи пробиться мог.

1975

БЛУДНЫЙ СЫН

1

По пустому темному проселку
Шел солдат из города домой.
Думал он: «Конечно, мало толку
Жить у нас, особенно зимой...»

2

Время было накануне Святков,
Но еще не вылегли снега.
«А отцу-то за восьмой десяток,
Захворал – и вся тут недолга».

3

Вышел к полю Псовые Охоты,
А оттуда, если глянуть в дол,
Прежде, словно праздничные флоты,
Плыли огоньки окрестных сел.

4

А теперь – хоть глаз коли! Весомо
С четырех сторон стояла мгла.
«С довойны, – подумал, – не был дома,
Может, немец все спалил дотла».

5

Поддувало снизу. Шла поземка.
Далеко кричал локомотив.
Что-то монотонно и негромко
В воздухе гудело, как мотив.

6

Дом был крайний к лесу. Все молчало.
Пес не выл. Петух не голосил.
Во дворе корова не дышала.
Конь не бил копытом о настил.

7

А отец не спал. Ломило руку.
Тараканы терлись на печи.
Он прислушался к ночному стуку
И зажег огарочек свечи.

8

«И кого так поздно носят черти!
Без того нейдет проклятый сон!
– Отворяй! Заколенел до смерти! –
И старик подумал: «Может, он».

9

Ветер режет хуже Божьей кары,
Не найти дорогу без луны.
– Сам ты чей? – «Не он», – подумал старый.
– Сам с войны. Шагаю в Тиуны.

10

«Пусть-ка сам меня признает», – думал
И снедь тем временем извлек.
Печь остыла. От окошка дуло.
Колебался светлый стебелек.

11

– Выпьем, батя, на помин усопших,
Сам своих ушедших помяни.
А еще за тех, кто тропы топчет
Далеко от дома и родни.

12

Парень, видно, был совсем не беден.
Не пустой мешок с войны волок.
Водку в кружки наплескал: «Поедем!»
– С Богом. Тиуны-то немец сжег.

13

Думал сын: «Не стоит открываться,
Только зря расстроишь старика.
Здесь не жить мне, здесь не оставаться.
Лучше напишу издадека».

14

Он молчал и пил, смятенья полон.
И зубами от тоски скрипел.
А держать язык за частоколом
И в хмелю умел. А надо – пел.

15

Пел натужно, диковато, хрипло.
Песню начинал по десять раз.
Долго пел. Но голова поникла.
Был еще далек рассветный час.

16

То, что старый не увидел глазом,
Мог бы он расслышать в песне той.
Но, наверно, помутился разум
От войны, от жизни прожитой.

17

Думал старый: «Он, видать, не беден.
А добро задаром нажито.
Ночью не заглядывал к соседям.
Пропадет – не хватится никто».

18

Дуло-поддувало в чистом поле.
Дуло, снег сметало на пути.
Ветры на бугре стерню пололи.
Время было около пяти.

19

У печи нащупал топориче.
На мгновенье прохватила дрожь.
Отодвинул от хмельного пищу.
«Может – он? Пожалуй, не похож.»

20

Задохнулся. Ноги стали шатки.
«Крепко спит. А если встанет вдруг?
В кошельке, небось, одни тридцатки,
Может, десять, может, двадцать штук...»

21

Дуло, дуло, дуло, дуло, дуло,
Ночь не выдувало со двора.
Посреди избы стоял сугуло
Он, не выпуская топора.

22

Свечка вдруг вздохнула и истлела.
Очи словно дегтем залило.

.....
.....

23

.....
.....
Сын проснулся. За окном белело.
– Шею, – говорит, – совсем светло!

24

Был он трезв. Старик со страху замер.
Думал, вскочит, крикнет: «Загублю!»
А солдат: – Давай топор, хозяин,
Я тебе дровишек нарублю.

25

– Благодарствуй, – старец чуть ответил.
– Слава богу, ветер унялся.
Мне пора. Проселок вон как светел,
А отсюда ходу два часа.

26

Старому при свете стало жутко.
Холод разлился в его крови.
Выдохнул: – Как звать тебя?
– Зовутка. Как захочешь, батя, так зови...

27

...По пустому зимнему проселку
Шел солдат от дома на восток.
Шел солдат и плакал втихомолку.
За плечом висел пустой мешок.

28

Он остановился там, где рядом
У раскrestка стьли две сосны –
Две вершинки срезаны снарядом,
Только вбок росли они с войны.

29

С той межи, где мерзли две калеки,
Дом еще виднелся вдалеке.
И пошел солдат к одноколейке –
Восемь верст не страшно налегке.

ЦЫГАНОВЫ

1. ЗАПЕВ

Конь взвился на дыбы,
но Цыганов
Его сдержал, повиснув на узде.
Огромный конь, коричневато-красный,
Смирясь, ярился под рукою властной,
Мохнатоногий, густогривый конь
Сердился и готов был взвиться снова.
Хозяин хохотал. А Цыганова,
Хозяйка, полногруда и крепка,
Смеялась белозубо с расписного
Крыльца, держа ягненка-сосунка.
А Цыганов уже надел хомут
И жеребца поставил меж оглобель.
И сам он был курчав, силен, огромен.
Все было мощно и огромно тут!
И солнце, и телега, и петух,
И посреди двора дубовый комель.
И Цыганова собрала дрова
И в дом пошла.

И сразу опустело,
Когда исчезли три могучих тела –
Ее, и Цыганова, и коня.
Один петух, свой гребень накреня,
Глядел вослед коню и Цыганову.
Потом хозяйка погнала корову.
И это было лишь начало дня.

И выпила. Тут посреди стола
Вознесся борщ. И был разлит по мискам.
Поверхность благородного борща
Переливалась тяжело, как парча,
Мешая красный отблеск с золотистым.
Картошка плавилась в сковороде.
Вновь желтым самоцветом три стакана
Наполнились. Шипучий квас из жбана
Излился с потным пенистым дымком.
Яичница, как восьмиглазый филин,
Серчала в сале. Стол был изобилен.
А тут – блины! С гречишным же блином
Шутить не стоит! Выпить под него –
Святое дело. Так и порешили.
И повторили вскоре. Не спешили,
Однако время шло. Чтоб подымить,
Окно открыли. Двое пацанов
Соседских с воем бились на кулачки.
По яблоку им кинул Цыганов,
Прицыкнув: – Нате вот и не варначьте! –
Тут наконец хозяйка рядом с мужем
Присела. Байки слушала она
Мужские – кто где ранен, где контужен.
Но снова два соседских пацана
Затеяли возню...

Уже смеркалось.

Тележным осям осень осень откликалась.
Но в каждом звуке зрела тишина.
Гость чокнулся с хозяйкой: – Будь здорова!
– Будь! – крикнул Цыганов.

А Цыганова

Печально отвернулась от окна.

3. РОЖДЕНИЕ СЫНА

Ребенка нес отец. А Цыганова
Была еще бледна и рядом шла.
Ребенок в стеганое одеяльце
Из голубого шелка был одет,
Перепоясан лентой с пышным бантом.
И чуть распахивался, обнаружив
Тугую пену белоснежных кружев.
Оркестра не хватало. Музыкантом
Был только ветер – полевой флейтист.
Он в поле разливал свой ровный свист.
Так Цыганов, казавшийся гигантом
Над низким горизонтом, шел с женой
И нес ребенка поздною весной.

На полевой дороге колеи
Еще хранили форму ранней грязи.
Но было сухо. Рыжие слои
Напоминали про однообразье
Распутицы.

Пот лил ручьем со лба
Отцовского, когда взошли на взлобок.
Там перед ними свежий куст был робок.
Но пел. И поле пело, как труба.
И вся округа перед Цыгановым
Каким-то звуком наполнялась новым
И новым цветом для него цвела.
Он сына нес в атласном одеяльце,
И Цыганова каменные пальцы
Природа вся разжать бы не могла.

Он нес младенца в голубых обновах,
Как продолженье старых Цыгановых
И как начало Цыгановых новых,
Он нес начало будущих веков,

Родоначальника полубогов.
Среди пеленок, кружев, одеялец
Лежал их дома новый постоялец.
И Цыганов глядел при этом вниз,
Чтоб незаметно было, как лились
Из глаз его безудержные слезы...

Остановились около березы.
На валуне присели отдохнуть.
И Цыганова отворила грудь.
Тут он увидел сына. Он не знал,
Что так младенец немощен и мал.
Он только понял, что за это тело
Он все бы отдал, чем душа владела,
И то свершил, чего не совершал.
Но вдруг ребенок сморщил свой носишко
И раз чихнул.

– Чихать умеет, вишь-ко, –
Промолвил с уважением отец.
– А как же звать его? Сережка? Мишка? –
«И впрямь, как звать его? – подумал он. –
И почему же каждое созданье
Не знает, каково его названье.
Зачем на свете тысячи имен?
И странно, что приобретаешь имя,
Которое придумано другими.
А сам бы как назвал себя?»

Трудна
Была та мысль его про имена.
Он бросил думать и сказал:
– Жена,
Пусть сын наш будет Павел. –
И она,
Чуть улыбнувшись, отвечала: – Ладно. –

Они всегда ведь с мужем жили ладно.
И вот они пришли домой. И в люльку
Плетеную ребенка положили,
Чтоб он там спал покуда день и ночь,
Пока пробрезжит свет в его глазах
И первый смысл его коснется слуха.
А впрямь ли он так нем, и слеп, и глух?
Молчал отец. Жена дитя качала.
И это тоже было лишь начало.

4. КОЛКА ДРОВ

С женой дрова пилили. А колоть
Он сам любил. Но тут нужна не сила,
А вольный взмах. Чтобы заголосила
Березы многозвончатая плоть.
Воскресный день. Сентябрьский холодок.
Достал колун. Пиджак с себя совлек.
Приладился. Попробовал. За хатой
Тугое эхо екнуло: ок-ок!
И начал. Вздых и взмах, и зык, и звон.
Мужского пота запах грубоватый.
Сухих поленьев сельский ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.
А Цыганов, который туговат
Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвел он
И молнию, и грозовой раскат.
Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя вносило
К деревьям – густолистным облакам,

К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям – облакам темно-зеленым,
К их шумным и могучим сквознякам.
Он также знал: во время колки дров
Под вздох и взмах как будто думать легче.
Был истым тугодумом Цыганов,
И мысль не споро прилегала к речи.
Какой-нибудь бродячий анекдот
Ворочался на дне его рассудка.
Простейшего сюжета поворот
Мешал ему понять, что это шутка.
«У Карапета теща померла...»
(Как вроде у меня; а ведь была
Хорошая старуха.) «Он с поминок
Идет...»

(У бабы-то была печаль.
Иду, а вечер желтый, словно чай.
А в небе галки – стаями чайнок.)
«И вдруг ему на голову – кирпич.
Он говорит: «Она уже на небе!»
(Однако это вроде наш Кузьмич,
Да только на того свалились слуги,
Когда у тещи в пасху был хмелен...)
Тут Цыганов захохотал. И клен,
Который возрастал вблизи сарая,
Шарахнулся. И листьев легион взлетел.
И встрепенулась птичья стая.
И были смех, и вдох, и зык, и звон.
– Что увидал? – сходя с крыльца резного,
Хозяина спросила Цыганова.
– Да анекдот услышал однава.
Давай, хозяйка, складывать дрова.

5. СМЕРТЬ ЦЫГАНОВА

Под утро снился Цыганову конь.
Приснился Орлик. И его купанье.
И круп коня, и грива, и дыханье,
И фырканье – все было полыханье.
Конь вынесся на берег и в огонь
Зари помчался, вырвавшись из рук
Хозяина. Навстречу два огня
Друг к другу мчались – солнца и коня.
И Цыганов проснулся тяжело.
Открыл глаза. Ему в груди пекло.
Он выпил квасу, но не отлегло.
Пождал и понял: что-то с ним не так.
Сказал:

– Хозяйка, нынче я хвораю. –
С трудом оделся и пошел к сараю.
А там, в сарае, у него – лежак,
Где он любил болеть.

Кряхтя прилег
И папироску медленно зажег.
И начал думать. Начал почему-то
Про смерть: «А что такое жизнь – минута.
А смерть навеки – на века веков.
Зачем живем, зачем коней купаем,
Торопимся и все не успеваем?
И вот у всех людей удел таков».
И думал Цыганов:

«Зачем я жил?
Зачем я этой жизнью дорожил?
Зачем работал, не жалея сил?
Зачем дрова рубил, коней любил?
Зачем я пил, гулял, зачем дружил?

Зачем, когда так скоро песня спета?
Зачем?»

И он не находил ответа.

Вошла хозяйка:

– Как тебе? –

А он:

– Печет в груди. – И рассказал ей сон.

Она сказала:

– Лошади ко лжи.

Ты поболей сегодня, полежи. –

Ушла. А он все думал:

«Как же это?

Зачем я жил? Зачем был молодой?

Зачем учился у отца и деда?

Зачем женился, строился, копил?

Зачем я хлеб свой ел и воду пил?

И сына породил – зачем все это?

Зачем была война, зачем победа?

Зачем?»

И он не находил ответа.

Был день. И в щели старого сарая

Пробилось солнце, на полу играя,

Сарай еще был пуст до Петрова́.

И думал он:

«Зачем растет трава?

Зачем дожди идут, гудят ветра?

А осенью зачем шумит листва?

И снег зачем? Зачем зима и лето?

Зачем?»

И он не находил ответа.

В нем что-то стало таять, как свеча.

Вошла хозяйка.

– Не позвать врача?

– Я сам помру, – ответил ей, – ступай-ка,
Понадобится – позову, хозяйка. –
И вновь стал думать.

Солнце с высоты
Меж тем сошло. Дохнуло влажной тенью.
«Неужто только ради красоты
Живет за поколеньем поколенья –
И лишь она не поддается тленью?
И лишь она бессмысленно играет
В беспечных проявлениях естества?..»
И вот, такие обретя слова,
Вдруг понял Цыганов, что умирает...
...Когда под утро умер Цыганов,
Был месяц в небе свеж, бесцветен, нов;
И ветер вдруг в свои ударил бубны,
И клены были сумрачны и трубны.
Вскричал петух. Пастух погнал коров.
И поднялась заря из-за яров –
И разлился по белу свету свет.
Ему глаза закрыла Цыганова,
А после села возле Цыганова
И прошептала:
– Жалко, Бога нет.

1973–1976

СТАРЫЙ ДОН-ЖУАН

Убогая комната в трактире.

Д о н - Ж у а н. Чума! Холера!
Треск, гитара-мандолина!
Каталина!

К а т а л и н а
(*Входит.*)

Что вам, кабальеро?
Д о н - Ж у а н. Не знает – что мне!
Подойди, чума, холера!
Раз на дню о хвором о хвором вспомни,
Погляди, как он страдает!
Дай мне руку!

К а т а л и н а
Ну вас, старый кабальеро.
(*Каталина убегает.*)

Д о н - Ж у а н. Постой!.. Сбежала,
Внучка Евы, род злодейский,
Чтобы юного нахала
Ублажать в углу лакейской!
Где мой блеск, где бал насущный
Ежедневных наслаждений!
А теперь девчонки скучной
Домогаюсь, бедный гений.
Зеркало! Ну что за рожа!
Кудрей словно кот наплакал.
Нет зубов. Обвисла кожа.
(*Зеркало роняет на пол.*)

Вовремя сойти со сцены
Не желаем, не умеем.

Все Венеры и Елены
Изменяют нам с лакеем.
Видимость важнее сути,
Ибо нет другой приманки
Для великосветской суки
И для нищей оборванки.
Старость хуже, чем увечье.
Довело меня до точки
Страшное противоречье
Существа и оболочки...
Жить на этом свете стоит
Только в молодости. Даже
Если беден, глуп, нестойк,
Старость – ничего нет гаже!
Господи! Убей сначала
Наши страсти, наши жажды!
Неужели смерти мало,
Что ты нас караешь дважды?
Юный дух! Страстей порывы!
Ненасытные желанья!
Почему еще вы живы
На пороге умиранья?
Неужели так, без спора,
Кончилась моя карьера?..
Каталина! Каталина!
(Входит Череп Командора.)
Череп. Здравствуй, кабальеро!
Сорок лет в песке и прахе
Я валялся в бездорожье...
Дон-Жуан *(отпрыгнув в страхе)*.
Матерь Божья! Матерь Божья!
Кто ты?
Череп. Помнишь Анну?

Д о н - Ж у а н. Какая Анна?
Ах, не та ли из Толедо?
Ах, не та ли из Гренады?
Или та, что простоянно
Распевала серенады?
Помню, как мы с ней певали
В эти дивные недели!
Как она теперь? Жива ли?
Ах, о чем я, в самом деле!..
Что-то там с ее супругом
Приключилось ненароком.
Не о том ли ты с намеком?
Череп, я к твоим услугам.
Ч е р е п. Я не за расплатой.
Судит пусть тебя Предвечный.
Расплатился ты утратой
Юности своей беспечной.
Старый череп Командора,
Я пришел злорадства ради,
Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем мы в одной ограде;
Ибо скоро, очень скоро
Ляжем рано средь тумана –
Старый череп Командора,
Старый череп Дон-Жуана.
Д о н - Ж у а н (*смеясь*). Всего лишь!
Мстишь за старую интрижку?
Или впрямь ты мне мирволишь?
Иль пугаешь, как мальчишку?
Мне не страшно. На дуэли
Мог я сгинуть для забавы.
А теперь скрипят, как двери,
Старые мои суставы...

Ч е р е п. Смерть принять – не шлюху
Обнимать. А ты, презренный,
Ничего не отдал духу,
Все ты отдал жизни тленной.
Д о н - Ж у а н. Я жизни тленной
Отдал все. И сей блаженный
Сон мне будет легче пуху.
Ни о чем жалеть не стоит,
Ни о чем не стоит помнить...
Ч е р е п. Крот могилу роет...
Собирайся. Скоро полночь.
Д о н - Ж у а н. Я все растратил,
Что дано мне было Богом.
А теперь пойдем, приятель,
Ляжем в логове убогом.
И не будем медлить боле!..
Но скажи мне, Череп, что там –
За углом, за поворотом,
Там – за гранью?..
Ч е р е п. Что там?
Тьма без времени и воли...

1976

ВОЗВРАЩЕНИЕ

*И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами...*

Ф. Тютчев

... И вот он вышел из вагона
На этой станции. Светало.
Состав ушел. Пристанционно
Пахнуло запахом металла.

И вдруг огрело, словно плетью:
Тоска и жажда возвращения,
У давнего десятилетия
Себе не вымолив прощенья.

И все же он сошел с платформы,
Прошел вдоль станционных зданий,
И сразу осени просторной
Его окутал воздух ранний.

Есть философия ухода.
Ее основы непростые
Закладывает в нас природа
И разъясняют Львы Толстые.

Уход от косяка, от стада
Оленя, чтобы в глухомани
Реки отрадная прохлада
Вошла в последнее дыханье.

Побег от пруда, от истерик,
От дьявола или от Бога
К реке, где невозможен берег,
К реке Железная дорога.
От устоявшегося быта,
Из надоевшего чертога

И от разбитого корыта –
К реке Железная дорога.
Она течет, река стальная,
И мощных поездов громада
Несется, нам напоминая
Огромный грохот водопада.
Плывут по встречным двум теченьям,
Стремясь к покою или к бурям,
От Приазовья к Припечерьям,
От Приднестровий к Приамурьям.
Несет старуху, Растиньяка,
Командировочного, йога,
Студента, дурака, маньяка
Река Железная дорога.
Несет до отбыванья срока,
Подобием соленых рыбин,
Несчастных, втиснутых в «столыпин»,
Река Железная дорога.
Она грохочет неустанно
К черте последнего итога.
И вот уж захлебнулась Анна
В реке Железная дорога.
Захватывает всех подвластных
И увлекает с силой рока,
И сбрасывает в рвы под насыпь
Река Железная дорога...

...Он издавна болел сюжетом
Про женщину и про солдата,
Что, словно пуля рикошетом,
Его судьбу задел когда-то.
...Итак, он вышел из вагона,
Прошел вдоль станционных зданий,

И огляделся изумленно
На улице пустой и ранней.
На улице, что пролежала
Как раз от этого вокзала
Близ городского стадиона.
И вот что было очень странно –
Все те же самые бараки
Располагались в полумраке
Вокруг усохшего фонтана.
 Два раза не вступают в реки,
Как верно отмечали греки.
Но это было наважденье:
Здесь ничего не изменилось,
И возле угловой аптеки
Все то же дерево клонилось,
Почти готовое к падению.

И вот что перед ним предстало
И еще больше поразило:
Она тихонько подходила
Вдоль деревянного настила,
Хоть только-только рассветало.
Она совсем не изменилась,
А времени прошло немало.
Она ничуть не удивилась
И сразу же его узнала.
– Я знала, что ты возвратишься, –
Спокойным голосом сказала.

Она стояла в том же платье
Задумчиво и отрешенно,
Как в миг последнего объятья
Перед отправкой эшелона.

Вошли все в ту же комнатенку –
По коридору слева третью, –
Где ничего не изменилось
За долгие десятилетия.
Все той же чистотой дышало
И было лишь продолговатей
Отражено в мерцанье шара
Никелированной кровати.

– Ну как ты жил? – она спросила.

– Да как и все. Семья, работа...

А ты?

– Воспитывала сына.

– Одна?

– Одна.

Он где?

– На фото.

И он увидел в окруженье
Фигур, заснятых темновато,
Знакомое изображенье
Двадцатилетнего солдата.

– Он весь в тебя, – она сказала.

– Так что ж ты мне не написала?

– Ты сам уже писал мне редко,

А вскорости и вовсе бросил...

(От станции со свистом ветра

Состав вгромыхивался в осень.)

В окошке утро прозревало.

Но были странные провалы

Во времени и изложенье.

И свет был в комнате неясный,

Как будто чуждый, непричастный
К их нынешнему положенью.

– Так как ты жил? –

Ответить: «Худо»?

Но это мало означало.

И он не понимал, откуда

Начать – с конца или с начала?

Что мог он изложить ей, кроме

Отрывочных соображений

О мире, родине и доме

Без неизбежных искажений?

Всегда находятся мотивы,

Чтоб исповедь и покаянье

Откладывать, покуда живы,

И доверять могильной яме.

Как мог он ринуться в бездонность –

И опрометчиво, и слепо, –

Когда вся наша неготовность

Так явственна и так нелепа!

А надо бы начать о том, как

Когда-то, где-то черт нас дернул

Существовать ради потомков

И стать самим землей и дерном.

И как случилось – неизвестно,

Что страшный век нам зренье сузил,

Что исполнители и жертвы

Переплелись в единый узел?

Молчанье, может быть, не частность

(Однако, в приближеньи грубом)

И может означать причастность,

Равняя жертву с душегубом...

...Вот именно под тем напором
Проблем и трудности решений
Он в этот день влетел на скором
На станцию порой осенней,
Схватив с собою что попало,
Оставив дома остальное...

И здесь ответить надлежало
Ему за бытие двойное.
Но обнаружились смещения –
Осенний образ перехода:
В уходе ноты возвращенья
И в возвращенье тень ухода.
И что-то стало в нем мутиться,
Была какая-то нелепость
В том, что «уйти» и «возвратиться»
Слились в единую потребность.
И охватила жажда бегства,
Внезапный приступ ностальгии
По цельности, и по России,
И по Москве эпохи детства.

Не по большой и суматошной,
А по Садово-Самотечной,
По старой, по позавчерашней,
Со стройной Сухаревой башней.

Москва тогда была Москвою –
Домашним теплым караваем,
Где был ему ломоть отвален
Между Мещанской и Тверскою.

Еще в домах топили печи,
Еще полно было московской
Роскошной акающей речи
На Трифоновской и Суцевской.

Купались купола в проточной
Заре. Ковался молоточный
Копытный стук, далёко слышный,
На Александровской булыжной.
А там, под облаком лебяжьим,
Где две ладьи Крестовских башен,
Посвистывали, пар сминая,
Виндавская и Окружная,
Откатываясь от Крестовской
К Савеловской и Брест-Литовской.

А Трубный пахнул огуречным
Рассолом и рогожей с сельдью
И подмосковным просторечьем
Шумел над привозною снедью.
Там молоко лилось из крынок,
Сияло яблочное царство,
И, как с переводных картинок,
Смотрелось важно и цветасто.

А озорство ватаги школьной!
А этот в сумерках морозных
Пар из ноздрей коней обозных!
А голуби над колокольной!
А бублики торговли частной!
А Чаплин около «Экрана»!
А легковых сигнал несчастый!
А грузовик завода АМО!
А петухи! А с вечной «Машей»
Хрип патефона на балконе!
А переливы подгулявшей
Марьинорощинской гармонии!

А эта обозримость мира!
А это обаянье слога!..

Москва, которую размыла
Река Железная дорога.
– Но как ты жил? – опять спросила.
В ее глазах была тревога
...И вновь гудком проголосила
Вблизи железная дорога.
...Он вдруг очнулся в кабинете
Над незакрытым чемоданом.
И давнее десятилетье
Тускнело в воздухе туманном.
Жена спала в соседней спальне.
Сын, возвратившись со свиданья,
На кухне шарил по кастрюлям.
В окне располагались зданья,
Подобные уснувшим ульям.

...Тогда он дернул дверь балкона,
Как открывают дверь вагона,
И вышел в мир микрорайона
Опустошенно и устало,
Не задержавшись у порога...

И вновь вблизи прогрохотала
Река Железная дорога.

СУХОЕ ПЛАМЯ

Драматическая поэма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Александр Данилович Меншиков, светлейший князь, герцог псковский, генерал-фельдмаршал войск и прочая.

Князь Дмитрий Михайлович Голицын, член Верховного Тайного Совета.

Барон Андрей Иванович Остерман, вице-канцлер, член Верховного Тайного Совета, воспитатель Петра Второго.

Петр Второй, тринадцатилетний император.

Граф Петр Андреевич Толстой.

Петр Сапега.

Иван Долгоруков.

Мария Меншикова, невеста императора.

Елизавета Петровна, цесаревна, тетка императора.

1-й вельможа.

2-й вельможа.

Офицеры гвардии, гости на балу, шуты, лекари, придворные, слуги, мастеровые, мужики и пр.

Действие происходит:

Сцены I – XI – в Петербурге (май–сентябрь 1727 г.)

Сцена XII – в Березове на Сосьве (конец 1728 г.)

СЦЕНА I

В Зимнем дворце.

Покои императрицы Екатерины I. Ночное время. Слева из опочивальни выходят Меншиков, Сапега и два лекаря.

Меншиков

Как, лекарь, – худо?

1-й лекарь разводит руками.

Ну а ты что скажешь?

2-й лекарь пожимает плечами.

Понятно. Так. Ступайте.

(Сапеге.)

Ты побудь.

Лекари уходят.

Ты из опочивальни ни на шаг!

К ее величеству не допускай

Ни по какому делу без меня,

Кто б ни ломился!

Сапега

Слушаюсь, патрон.

Меншиков уходит.

Сапега – сторож. Страж его судьбы,

А вот моя судьба на ладан дышит...

Хорошая была, однако, баба.

Я говорю – была. И сам я был.

Был фаворит, жених – тыр-тыр, пыр-пыр!

А кем я нынче буду – вот вопрос?

Входит Толстой.

Толстой

Пусти меня.

Сапега

Не велено.

Толстой

Пусти!

Чай, понимаешь, что здесь затевают?
Князь Меншиков окручивает всех!
Он предал нас, людей Петровых. Он
Пообещал Россию австриякам.
Он вор. Он всю державу раскрадет.
Пусти меня!

Сапега

Нельзя. Никак нельзя.

Толстой

А-а! Я забыл! Зятек стоит за тестя!
Так ведай же, что как своих ушей
Тебе Марию не видать! Уже
Получше ей сыскали жениха –
Петра, мальчишку, сына Алексея.
Его подсаживают на престол
Князь Меншиков, Голицын и иные,
А дочерей великого Петра –
Елизавету и принцессу Анну –
Отпихивают... Если быть тому,
Нам пропадать. Тогда светлейший князь
Начнет хозяйствовать на свой обычай.
На нас он свалит гибель Алексея,
Хоть сам ему был первым палачом!..

Пусти!.. Ей-богу, и тебе, Сапега,
Получше будет с нами...

Сапега

Не могу.

Толстой

Покуда государыня жива,
Не все проиграно... Мне только слово
Ей молвить... Не страшись, ты молодой,
Тебе ли оставаться в дураках!
Пусти!

Сапега

А! Пропадать, так пропадать!

Иди!

Уходят в опочивальню. Меншиков и Остерман входят справа.

Меншиков

Вот здесь присядем. Говори.

Остерман

Согласно вашей светлости приказа,
Вот завещанье, сиречь тестамент.

Меншиков

Читай без титлов.

Остерман

Так. «Великий князь
Петр Алексеевич имеет быть
Сукцессором и именно со всеми
Правами и пре-ро-га-ти-ва-ми,
Как мы владели оным».

Меншиков

Дай-ка мне.

Ага, ага! А здесь вот пункт девятый:
Не много ль цесаревнам отступного?

Остерман

Кто обещает, тот почти дает.

Меншиков

Уразумел.

Остерман

Одиннадцатый пункт

Гласит о государевой невесте.

Какую же из ваших дочерей

Сюда вписать?

Меншиков

Сейчас не время думать.

Напишем: государю учинить

Супружество с одной из двух княжон...

Что ж, завещанье писано толково.

Но писанное надо закрепить.

Ее величество и знать не хочет

О тестаменте. Смертный приговор

Себе подписывать весьма не сладко.

Так, может, эдак... сами подмахнем?

Не все равно, кто это совершит,

Когда права за нами?..

Остерман

Так-то так.

Однако лучше было б по закону.

Известно всем, что многие указы
Подписаны рукой Елизаветы –
Императрица не сильна в письме.
Так вот и этот...

Меншиков

Было б хорошо.
Да трудно уломать ее.

Остерман

Принцесса
Весьма умна и многое поймет.

Меншиков

Она при государыне. Пойду.

Из опочивальни выходят Толстой, Елизавета и Сапега.

Толстой

Она в беспамятстве. Я опоздал.

Меншиков

Кто допустил людей к императрице?
Кто допустил?!

Елизавета

Я допустила.

Меншиков

Но

Ее величество нельзя тревожить.

Елизавета

Он верный наш слуга. А верных слуг
Пускать дозволено.

Меншиков

(Толстому.)

Чего молчишь?

Толстой

С тобой глаголить не о чем.

Меншиков

Смотри!

Заговоришь. А ежели... так взвоешь.
Ведь мне твое известно воровство:
Зачем к Девиеру ты ездил и о чем
С Бутурлиным сговаривался. Здесь
Изменой пахнет... Мимо прежних вин...

Толстой

По прежним винам мы с тобой друзья.
А дальше сам уж будешь виноват.

Меншиков

Э! Ты меня с собою не вяжи!
Почуял, что пришло держать ответ,
И струсил. Да и было от чего!
Ты Алексей Петровича запутал
И погубил. А нынче хочешь вновь
Раскинуть сеть паучью!.. Знайте все:
Вот злейший враг царевича Петра –
Сукцессора российского престола!
Законного!.. По всем правам!.. По всем!..

Толстой

Кричи, кричи! Да не пужайся сам...
По прежним-то по винам мы друзья,

А винное пятно не ототрешь.
Конечно, все ты свалишь на меня,
Но хватит и тебе одних ошметков,
Светлейший князь!.. Прошу прощенья, ваше
Высочество!

(Кланяется Елизавете. Выходит.)

Остерман

Не время спорить с ним.

Меншиков в ярости озирается. Замечает Сапегу.

Меншиков

Ты, граф, ко мне повадился во двор.
Но не напрасно ли?.. Тебе бы знать,
Что нынешнего дня княжна Мария
Объявлена невестою его
Высочества!..

Сапега

Я это угадал.

Меншиков

Пожалуйте со мной, Елизавета
Петровна. Есть негласный разговор
Особой важности.

Меншиков и Елизавета уходят в опочивальню.

Остерман

(Сапеге.)

Оглошно, граф!

Светлейший вам припомнит...

Сапега

Да, барон.

Он памятлив. Подайте мне совет.

Остерман

Расстройте брак царевича Петра
С княжной Марией.

Сапега

Разве я могу?

Остерман

Но вы – жених.

Сапега

Взаправду ли?

Остерман

Увы!

Но вы мужчина. Мне ли вас учить?
К тому ж царевич любит Лизавету.
В супружестве их можно примирить
Две линии наследников Петра.

Сапега

Но он ее племянник!

Остерман

Ну так что ж!

Потомки праотца Адама, граф,
Женились и на сестрах.

Сапега

Что за ум!

Но прецедент изрядно устарел.

Остерман

Ну это мы уладим! Богословы
Найдут резоны. Торопитесь, граф.
Я вас покуда упасу от гнева
Светлейшего. Но помните, что вы
Удачу можете словить за хвост.

Входит Меншиков. Сапега ретируется.

Меншиков

Не вышло ничего. Елизавета
Уперлась и ни с места. Говорит:
Не подпишу... Подгадил нам Толстой.

Остерман

Но отступать не следует. Еще
Представить цесаревне надлежит
Все доводы.

Меншиков

Хоть доводы крепки,
Но есть у нас заручка и покрепче.
Ступай немедля передай приказ
Полковникам гвардейским – от меня,
Чтоб строили полки перед дворцом.

Остерман

Надежный пункт. Спешу исполнить.

Остерман уходит.

Меншиков

Да!

Подумать если, для чего нужна
Вся эта кутерьма? Уйти б в сторонку,
Жить-поживать да горя не знаять...
Уходит наше времечко. И вот
Она уходит... Сам не умираешь,
Но отмирает все, что ты любил, –
И корабли, и крепости, и люди.
И ты, как дерево, что каждый год
Теряет ветку кровную. Один
Лишь ствол остался. И на том стволе
Давно уже не зеленеют листья.
Но дерево спокойно отомрет,
А нам и в смерти не дано покоя.
Власть – дело страшное. Уж если кто
Ввязался, тот живым не удерет:
Или тебя сомнут, иль ты медведем
Стань на дыбы и всех подряд вали.

Из опочивальни выходит плачущая Елизавета.

Плачь, цесаревна, плачь... Так легче будет...
Ей час пришел благой. А нам с тобой
Еще немало предстоит поплакать...
Твой батюшка, великий государь,
Нам дело завещал. И мы стоять
Должны не розно. А стоять едино.
И не шатайся! Вот тебе плечо,
На, обопрись. Доверься мне, царевна.
Над нами кружит стая воронья.
Повыключают глаза.

Елизавета

О том ли думать!

Меншиков

Светлынь какая! Май уже у нас.
Май! Вот и маяться нам до скончанья...

Елизавета

О Господи!

Меншиков

Плачь, цесаревна, плачь...
Май на дворе. Весенняя вода...
Она мне нынче говорит: Данилыч,
А я-то ведь как будто не жила.
Я те полжизни, говорит, забыла,
Когда была девчонкой и служанкой.
А этой жизни был короткий срок.
Вот так оно бывает, цесаревна.
Вот так.

Сапега

(вбегает)

Императрица умирает!

Елизавета

О Боже, Боже! Князь, спаси ее!

Меншиков

Стой, цесаревна!

(Загораживает ей дорогу.)

Матушка, пиши!

Вот тестамент! Подписывай скорее!

Елизавета

Пусти меня!

Меншиков

Подписывай, прошу!
Себя спасешь! Подписывай! Пойми –
Здесь и тебе, и Анне...

Елизавета

Прочь, пусти!
Я к матушке хочу!

Меншиков

Бери перо!
Вот так. Теперь спеши!.. Эх, Катерина!
Эх, матушка! Тебе б еще пожить!
Ведь было сколько, сколько утекло!
О Господи, прости ее за все...
Да и меня прости...

(Уходит.)

В покос шкого нет. За окном негромкая дробь барабанов. Из опочивальни выходят два лекаря. Им навстречу Остерман ведет за руку юного Петра. Лекари кланяются им в спину.

1-й лекарь

Его высочество!

2-й лекарь

Уже – величество!

(Со значением смотрят друг на друга.)

СЦЕНА II

В Зимнем дворце.

Апартаменты перед залом заседаний Верховного Тайного Совета. Вельможи и военные следуют в зал для присяги молодому императору.
Майоры гвардии.

1-й майор

А каково-то нынче будет нам?

2-й майор

Князь Меншиков уже нас не забудет.
Мы за него, а он за нас.

1-й майор

Хотя б

Раздали жалованье.

2-й майор

Это раздадут!

Без нас покуда никуда не деться.

1-й майор

Ну да! Не деться! Старая-то знать,
Что по отечеству, не по заслугам,
Поди, прищемит нас!

2-й майор

Укоротим!

Проходят. Старые вельможи.

1-й вельможа

Ну, дожили до счастья, слава богу!
Теперь у нас законный государь –
По Божеским правам и по гражданским,
А особливо по правам российским.

2-й вельможа

Ах, графушка, ты что ребенок малый!
Князь Меншиков – вот все твои права.

1-й вельможа

До времени. А там, того гляди,
И нас с тобою спросят.

2-й вельможа

Ан, не спросят!

1-й вельможа

Ан, спросят!

2-й вельможа

Ан, не спросят!

1-й вельможа

Не шуми!

Ушей-то здесь чужих полно!

2-й вельможа

Ну то-то!

Проходят. Дипломаты.

1-й дипломат

Россия, господин барон, страна,
Где государь не личность, а устройство.
Его характер есть характер власти.

2-й дипломат

А если государь– дитя?

1-й дипломат

Ну что ж!
И Петр Великий тоже был дитя.
И он играл во флот, в солдат, в прогресс,
В политику...

2-й дипломат

В застенок.

1-й дипломат

И в застенок.

2-й дипломат

Я опасаюсь, господин посол,
Что русские дела уже не игры...

Выбегает карла-шут.

Шут

Иги-и!

2-й дипломат

А это что за существо?

1-й дипломат

Да здешний карла. Он дворцовый шут.

2-й дипломат

Нельзя ли подозвать его?

1-й дипломат

Извольте.

Эй, подойди.

Шут

А-а! Я тебя узнал!

Здорово, кашевар!

1-й дипломат

Ты это мне?

Шут

Тебе, тебе! Ты от голштинца ждешь гостинца за то, что заварил кашу. А каша-то наша! Не разевай рот, папаша! Что про нас, то не про вас. Вот тебе и весь сказ!

1-й дипломат

Пошел прочь, дурак!

Шут

Пожалуюсь! Пожалуюсь! Иги-и!

Из разных дверей выбегают шуты, шутихи и карлы.

Они хороводом окружают дипломатов и поют:

Мужик пашенку пахал
И с сохой туда попал,
И с сохой-бороной,
И с кобылкой вороной!..

Входит Меншиков.

Меншиков

Цыц, племя адово! Прочь! Прочь отсюда!

Шуты разбегаются.

Российское искусство, барон.

Забавы наши.

1-й дипломат

Каждая страна

Имеет свой обычай.

Дипломаты проходят.

Входит Голицын.

Голицын

Ваша светлость!

Покорнейший слуга!

(Кланяется.)

Меншиков

Эх, князь Димитрий

Михайлович! Друг перед другом

Хитрить нам незачем. Да и не время.

Я знаю, вы, старинная-то знать,

Меня не любите. Ну что ж, и вас

Не любят многие. Но мы с тобой

Не суженые – не жених с невестой.

И я скажу, что браки по любви

Порою хуже браков по расчету...

Мы – коренные свая государства,

На нас опора. Знаешь сам, что здесь...

Здесь, в Петербурхе, скверная земля.

Коль свая не повязана со сваей –

Все зданье набок. И тогда пойдет!

Голицын

Оно конечно. Только веры нет.
Не верю я тебе. Чтоб все держалось,
Нужна... нужна плепорция в опорах.

Меншиков

Уразумел. Вот эдак я люблю.
Пусть баш на баш. К примеру, будет так:
Барона Остермана мы поставим
Обер-гофмейстером при государе...

Голицын

А для плепорции?

Меншиков

Уразумел.
Гофмейстером к Наталье Алексевне –
Князь Алексей Григорьича. Пойдет?
А в камергеры, уж не обессудь,
Мы Александра моего назначим.

Голицын

А для плепорции?

Меншиков

Уразумел.
Ивашка Долгоруков, сукин сын,
Хоть шалопай, но тоже – в камергеры.

Голицын

Михайлу Долгорукого – в Сенат.

Меншиков

Здесь спору нет... И есть еще одно.
В Российском государстве так бывало:
Чтоб к новой власти должный был респект
И что б порок к тому же был наказан,
Толпе кидали с царского крыльца
Боярина. А?

Голицын

Было, было, князь.
И мне на ум такое приходило.

Меншиков

Кого, однако?

Голицын

Гм!

Меншиков

Кого? Кого?

Голицын

Сам ведаешь.

Меншиков

Так говори.

Голицын

Нет, ты!

Меншиков

Петра Толстого. Ну?

Голицын

Лишить чинов.

Меншиков

И в Соловки. Не мало ли?

Голицын

Довольно.

Голицын проходит в залу.

Меншиков

Ну, слава богу.

Входит Петр в сопровождении Остермана.

Петр

Батюшка, дозвожь

Мне отдохнуть. Стоять устали ноги.

Меншиков

Присядь, присядь. Ведь скоро выходить.

(Отходит в сторону с Остерманом.)

А на тебя, барон, надежда вся.

Ты государю можешь преподать

Науку жизни – высшую науку.

Остерман

Спасибо, ваша княжеская светлость.

Однако для начала полагаю:

С учением не слишком налегать.

Чтобы не вдруг...

Меншиков

Еще тебе задача:

Царицу-бабку, старицу Елену,

Взять из монастыря и проводить

В Москву. С почетом. К внуку не пускать,
Но подавать надежду.

О с т е р м а н

Полагаю,
Что завершилось время строгих мер.
Резонно ожидают облегченья
И мужики, и шляхта, и купцы.
Порядок нужен на манер Европы.
Пора и пыточное заведение –
Приказ Преображенский – обуздать.

М е н ш и к о в

Европа нам пример, но не указ.
На слабину народец наш решит,
Что слабы мы. Петрово государство –
Машина недостроенная. Нам
Достраивать ее. Сей тяжкий воз
Не вытянешь на горку без кнута.
А там и благодушествовать будем...

О с т е р м а н

Народ уже устал от бурных перемен.

М е н ш и к о в

Пусть погодят...

Отходят, беседуя. Две дамы. Клаивются Петру придворным поклоном.
Он кивает им головой.

1-я дама

Как знает политес!

2-я дама

Осанка какова!

1-я дама

А взгляд!

2-я дама

И взгляд!

1-я дама

А вот княжна Мария рядом с ним...

2-я дама

Премизерна!

1-я дама

Бледна.

2-я дама

Но не бела.

1-я дама

Доска доской.

2-я дама

Глаза без доброты.

1-я дама

И стати нет.

2-я дама

И ноги колесом...

1-я дама

Вот и она!

Входит Мария. Дамы кланяются ей и проходят.

Петр

Поди сюда, Мария!
Я пить хочу.

Мария

Сейчас подам питье,
Ваше величество.

Петр

Я в церкви притомился.
Так много лиц. Глазеют на меня,
Как будто я персона восковая.

Меншиков

Чуть, государь, заслышишь звуки труб,
Тогда входи.
(Проходит в залу с Остерманом.)

Мария

Ты, Петя, не робей!

Петр

Я не робею. Я ведь нонче царь.
А мы, цари, должны не ведать страха,
Я, знаешь ли, что им хочу сказать?
Реченье древнего Веспасиана,
Что никого из подданных моих
Не отпущу с лицом печальным. Как?

Мария

По-моему – изрядно.

Петр
А теперь
Ступай. Я отдохнуть хочу один.

Мария уходит.

Тишина. Потом звучат гвардейские трубы. Распахиваются парадные двери.
Медленной, горделивой поступью Петр направляется в залу.

СЦЕНА III

Во дворе Меншикова на Васильевском острове.
Сапега и Иван Долгоруков.

Сапега

А testament подложный...

Долгоруков

Наплевать!

Все знают – император неподложный,
А я при нем законный камергер...

Сапега

А Меншиков при нем подложный регент,
А дочь его подложная невеста...

Долгоруков

Заело?

Сапега

Олух! Разве ты поймешь!
Люблю Марию! Кóхам! Кóхам! Кóхам!

Долгоруков

Ишь, раскудахтался!

Сапега

В наш подлый век
Любовь повергнута. Ее обрили,
Как бороду, чтоб только гладко было
И голо!.. Все горят сухим огнем,
Все одержимы лишь корыстной жаждой...
Вот хоть бы ты! Скажи, чего ты жаждешь?

Долгоруков

Чтоб скучно не было.

Сапега

А я – чего?
Я – ничего!.. Пылает рабский дух,
Как стог соломенный... И жар, и пыл,
А после – горстка пепла. Я, как все,
Хочу быть мелкой ходовой монетой,
Чтоб только потереться по карманам.

Долгоруков

Ишь, прыть в тебе какая от любви!

Сапега

Какая там любовь!.. Мою любовь
Приспали в государыниной спальне.
Когда бы я еще умел любить,
Я б к ней пришел и я бы ей сказал:
«Уйдем! Бежим! Пускай настигнут нас,
Пускай пыгают, пусть в Сибирь загонят,
Пусть в дальние сошлют монастыри,
Пусть постригут... А мы с тобой – расстриги,
И душу нам не могут обкорнать!..»

Долгоруков

Куда ушел бы с нею? Нет, куда?

Сапега

Ты прав, Ивашка! Прав! Да и она
За мной бы не пошла... Век нынче трезвый...
Тайком в постель – любая побежит.
А чтоб – любовь, Сибирь... не сыщешь дуры.

Долгоруков

Никак тебя, Сапега, не поймешь!
То человек как человек, а то
Какая-то пчела тебя ужалит...
Пойду-ка я, ведь служба у меня.
(Уходит.)

Сапега

Охота было перед дураком
Выкладываться!

Входит Мария. В первое мгновение делает движение, чтобы уйти.

Поздравляю вас,

Ваше высочество.

Мария

Спасибо, Петр.

Сапега

Я рад, что вы счастливы.

Мария

Я спокойна.

Сап е га

Я рад, что вы спокойны.

Ма р и я

Уходи.

Не приходи сюда.

Сап е га

О да, конечно!

Уйти, чтобы не рушить ваш покой!..

Хотя бы слово ты сказала мне,

Хоть малым словом бы со мной простилась!

Ма р и я

Как вы, мужчины, верите в слова!

И как из слов вы строите твердыни!

Сап е га

Твердыни? Нет! На свете нет твердынь...

Твердыни все сдаются обольщениям!

Твердыни нет – одна гордыня есть.

И ложь...

Мария вдруг бьет его по щеке.

Ма р и я

(кричит в исступлении)

Пошел! Пошел отсюда вон!

Сап е га

(тихо)

Прости меня, Мария.

Он низко кланяется и выходит. Входит М е ш и к о в .

Меншиков

Что за крик?

Мария

Собака забежала.

Меншиков

Дочка, глянь, –

Чего тебе принес!

(Открывает ларец.)

Вот ожерелье –

Рогатый жемчуг. Вот тебе сережки –

Лазоревые яхонты с алмазом.

Вот изумруды, словно светляки.

Вот перстни – золотой с алмазом острым,

Его носили русские царицы,

С финифтью перстень, с темным аметистом.

Держи! Владей и радуйся!

Мария

Спасибо.

Меншиков

Ты, дочка, – ты бери пример с меня:

Кто сердцем легок, тот в делах удачлив.

А нам с тобой не время унывать.

Мир так устроен – стоит зазеваться,

Утащат счастье прямо из-под рук.

Мария

Иметь бы счастье, было б что держать!

Меншиков

Ты эдак-то с отцом не говори!
Ведь мне из-за тебя покою нет!
Тебе весь мир завидует... А я
Зубами ляскаю, как шалый волк,
Для-ради чад своих беру за горло,
Хребты ломаю. По ночам не сплю,
Измысливаю хитрости... А ты...
Кого жалеешь? Польский проходимец,
Угодник бабий, вертопрах, прыгун...
Тебе ли он под стать?

Мария

Я не сама
Себя ему в невесты назначала.
Я ничего не ведала о нем.
Мне было велено. И жениха
Я полюбила.

Меншиков

А теперь тебе
Иное велено.

Мария

Прости меня.
Такой приказ возможно лишь однажды
Исполнить.

Меншиков

Выкинь дурь из головы!

Мария падает перед ним на колени.

М а р и я

О батюшка! Помилуйте меня!
Я ничего на свете не хочу!
Я не хочу Сапег! Не хочу
Короны! Отпустите в монастырь!..
Ведь я в императрицы не гожусь...
Мне ничего не надо... Пожалейте
Меня!..

М е н ш и к о в

Неблагодарная, молчи!
Пренебрегать судьбой никто не вправе.
Нам свыше обозначены места.
И мы должны покорствоваться ему.
И в том есть долг. А он превышает счастья.
Что знаешь ты о жизни? Вас, щенят,
Покуда мордой в молоко не ткнешь,
Вы вкуса не почувствуете... Встань!
Утрись! Его величество идет.

Вбегает П е т р.

Как почивать изволили у нас,
Ваше величество?

П е т р

Изрядно спал...
А вот потом не спал почти полночи.
Охота снилась – волки и медведи.

М е н ш и к о в

Дозвольте доложить вам, государь,
Совет решил покорнейше просить
Назначить день помолвки...

Петр

Ну и что?

Назначьте день любви.

Меншиков

А ты о сем

Объявишь завтра Тайному Совету.

Петр

Да, объявлю. А после – на охоту?

Меншиков

Ну да, ну да.

Петр

Постой. А деньги, князь?

Ты ж обещал!

Меншиков

И денег тоже дам.

Петр

Смотри, не обмани. Ведь ты же, князь,
Обманщик!

Меншиков

(смеется)

Ахти, господи! Ну-ну!

Меня-то, старика-то, рассмешили!

Обманщик – как изволили сказать!

Петр

И старый лис!

Меншиков

Еще и старый лис!

Петр

А я – охотник!

Меншиков

Истинно – охотник!

Петр

Ату! Ату! Прицеливаюсь! Бац!
Попал! Ну, падай!

Меншиков

Лис пардону просит
И ноги от охотника уносит...
Побудь вдвоем с невестой, государь,
Придумайте игру или забаву.
А мне дозволяй идти.

Петр

Ну что ж, ступай.

Меншиков уходит.

(Марш.)

Что будем делать?

Мария

Хочешь посмотреть

Мое шитье?

Петр

Тьфу! Девичье занятие!

М а р и я

И правда... Хочешь я тебе спою?

П е т р

Ну спой, пожалуй что... Не надо петь.
Я, знаешь, не люблю, когда поют.
У нас поют лишь в церкви. Это скучно.
Или шуты поют. Тогда зазорно.
Чего бы ты сейчас хотела?

М а р и я

Я?

Быть старенькой-престаренькой старушкой.

П е т р

Вот чепуха... Чего бы захотеть?..
Мне хоть потешных дали б для игры.
Играть-то не с кем.

М а р и я

Для чего потешных?

Иль мало войска у тебя? Играй!

П е т р

Ой, слушай, слушай!

М а р и я

Это гром.

П е т р

А ты

Боишься грома? Я-то не боюсь.
И ты со мной не бойся. Не боишься?

М а р и я

Нет, государь мой.

П е т р

Отвори окно.

Пойди сюда. Гляди-ка: ну и дождь!
И мы попали под такой вот ливень
С Елизаветой. Знаешь: лес кругом,
Нас кличут. Мы под деревом укрылись.
Дождь так и льет... А дальше не скажу.

Молчание.

Мария, ты не знаешь, отчего
У нас, в России, женят против воли?

М а р и я

Нет, государь, не ведаю.

П е т р

И я

Не ведаю. Барон Андрей Иваныч
Мне разъяснял, что так заведено.
А кем заведено? И для чего?..
И твой отец женился против воли?
И мой? И все? И сам Андрей Иваныч?..
Да ты не плачь! Ведь я тебя люблю.
Тебя люблю, сестру люблю Наташу,
Еще – Елизавету... Ты не плачь!
Что плакать-то? Ведь так заведено...

М а р и я

А я не плачу. Я тебя жалею.

Петр

А я – тебя... Теперь утри глаза.
Вот гром утих. И дождик перестал.
Пойду наружу. Ты сама побудь...

СЦЕНА IV

Бал у Меншикова.

Часть парадной залы. С торцевой стороны – двери.
Вдоль другой стены расставлены кресла. Старые вельможи сидят чинно,
переговариваясь и потчuya друг друга табаком. Бал в разгаре. Игрaет музыка.
Танцующие то появляются из глубины зала, то снова удаляются.

Меншиков и Остерман.

Меншиков

Тобой, барон, премного я доволен.
А вот Голицын что-то затаил.
Обижен, а?

Остерман

Быть может.

Меншиков

И завистлив.

Остерман

Быть может.

Меншиков

Я обиженных боюсь.
Пока мы спим, обиженные бдят.

Остерман

Возможно.

Меншиков

Их бы надо подчистую...

А этот вот мечтает о правленье
На шведский или английский манер.
Но каково бы пчелам было в улье,
Когда бы десять маток было в нем?
Спроси вон тех сычей.

(Кивает на вельмож.)

Как, господа,

Годится ли нам шведское правленье?

Вельможа

Нет, не годится, ваша светлость!

Меншиков

Вот,

Что наши говорят. У нас пестро –
Есть мужики, и шляхта, и татары.
Потребна ли палата для татар?

Вельможа

Нет, не потребна, ваша светлость!

Меншиков

Вишь,

Что говорят! А люди-то какие –
Князья, вельможи! Я их не тяну,
Они ведь сами... Эти без обид.
А от обиженных одна морока.

Остерман

Беспорно, ваша светлость.

Меншиков

Так и есть.

Еще скажу... Постой! Что это там?..

Появляется Петр, за ним толпой следуют придворные. Петр идет, уставясь в пол и озираясь, словно что-то ищет. Его игру с недоумением повторяют придворные.

Меншиков

Спросить осмелюсь, что произошло,
Ваше величество?

Петр

Потеря, князь.

Меншиков

Всех на ноги немедля, чтоб найти!
А какова потеря?

Петр

Потерял

Вещь знатную...

Меншиков

Какую?

Петр

Потерял...

Быть может, там?

(Заглядывает под диван.)

А может, там?

(Заглядывает за гардину.)

Нигде!

Меншиков

Так какова потеря?

Петр

Потерял

Фельдмаршала.

Придворные

Фельдмаршала?

Петр

Ага!

Отыскивать не стоит. Поздравляю

Генералиссимусом, ваша светлость!

(Целует оторопевшего Меншикова.)

Меншиков

Генералиссимус!

Петр

И адмирал!

Меншиков

Я, государь, твой верный раб. Спасибо,

Ты первый понял... Первый оценил...

Петр

Ну, полно, полно. Ловко я придумал?

Голицын

Востер юнец!

Петр

Поздравьте, господа,

Генералиссимуса!

Придворные кланяются.

Меншиков

Государь!

В словах я не искусен. Но как будто
В предчувствии, я некому пииту
Велел сложить тебе хвалебный стих.
Эй, где пиит?

Пиит

Я здесь!

Меншиков

Поди сюда.

Скажи-ка вирши.

Пиит кланяется Пестру и Меншикову.

Пиит

Ода в честь его
Величества, где древний бог Юпитер
Беседует с своею дочерью Венус
По правилам пиитики.

Меншиков

Читай!

Пиит

«Твоя, о царственный отрок, особа священна,
Неизреченна мудрость, краса несравненна!
Возвеселились всея Руси веси и грады,
А недруги уползли, аки звери и гады.
Древний Юпитер стал с престола пытати:
“Отколь сей благовонный веет ветер благодати?”
И отвечала ему на то дочь златокудра:
“Скифетр се воссиял младенца премудра”.

И возликовали днесь все боги и человеки,
И да пребудет он благостен вовеки,
Свои рабы не карает, награждает слуги,
Добрым советникам внемлет, коих нетщеты
потуги...

При сем аз, слуга недостойный, к стопам
припадаю
И милости твоей, государь, щедрот ожидаю!»

Петр

Звончее од латинских!

Меншиков

Слог хорош!

Придворные

Изрядно!

Петр

(Меншикову.)

Ты пиита награди,

А мы еще попляшем.

Слова начинаются танцы. Петр танцует с Марией, Сапега – с Елизаветой.

Меншиков

(Голицыну.)

Что-то, князь,

Ты нынче не в духах. И даже ода,

Мне кажется, тебе не по нутру.

Голицын

Язык российский – сладкая музыка,

А сей пиит – немазаная дверь,

Карманный черт.

Меншиков

Ну что же, что карманный.
Иному черту душу продают,
А этого купить не много стоит.
Пойдем-ка лучше выпьем, князь Димитрий
Михайлович!

Голицын

Пойдем, светлейший князь.

Уходят.

Петр и Мария.

Петр

Мне надоело танцевать. Присядем.

Мария

Вы чем-то недовольны, государь?

Петр

Зачем за мной ты ходишь по пятам,
Как за дитем?.. Нет спасу от тебя!
Я всем доволен, всем доволен! Знай!
Но я хочу...

Проходит Иван Долгоруков, кланяется.

Долгоруков

Вы, кажется, хотели,
Ваше величество, Елизавете
Петровне слово молвить.

Петр

Не хочу.

Долгоруков

Сейчас я подзову ее.

Петр

Не надо.

По знаку Долгорукова подходят Елизавета и Сапега.

Елизавета! Я хотел сказать,
Что та борзая – та, с пятном на морде, –
Плоха. Ее кому-нибудь отдай.
Ну вот и все... Постой. Я позабыл...
Ах да! Танцуй с Иваном, только с ним.
Мне нравится, когда ты с ним танцуешь...

Елизавета

Ваше величество, на этот раз
Позвольте даме выбрать кавалера.
Прошу со мной.

Петр

Пойдем, пойдем... Постой!

Мария! И тебе хотел сказать:
Танцуй с одним Иваном... Ну а граф
Сапега пусть подойдет и пригласит
Кого-нибудь... А ты меня, Мария,
Прости. Я рассерчал не на тебя,
А просто так. Пустое было дело.
И ты не обижайся.

Петр, Елизавета, Иван Долгоруков и Мария танцуют.

Сапега

Получил?

Я слишком ревностен, а он ревнив.

Как худо человеку, кто не знает,
Где быть ему. Подальше от двора –
Совсем затрут. Поближе – в пыль сотрут.
Здесь я – никто, сам по себе – ничто...
Ну что ж, пойдем попляшем, граф Сапега.
(Уходит.)

Два гвардейских майора.

1-й майор

А жалованье все еще не платят.

2-й майор

Заплатят.

1-й майор

Нет, теперь уже не жди
До нового...

2-й майор

Чего?

1-й майор

Коропованья.

Петр и Елизавета.

Петр

Елизавета, я тебе хотел
Подарок сделать.

Елизавета

Право, государь...

Петр

Я знаю, ты всегда сидишь без денег.
А я, ей-богу, деньги не люблю,
Как заведутся, тотчас их потрачу.
Покуда есть – тебе и подарю...

Гвардейские майоры.

1-й майор

Пора напиться.

2-й майор

Это завсегда.

Уходят.

Входят Меншиков с Голицыным. Навстречу им придворный
несет поднос. Меншиков заметно пьян.

Меншиков

Чего несешь?

Придворный

Подарок, ваша светлость.

Меншиков

Какой?

Придворный

От государя цесаревне.

Меншиков

(Голицыну.)

Посмотрим, князь! Эге, богатый куш!
Откуда деньги?

Придворный
Ювелирный цех
Поднес их государю, ваша светлость.

Входит Остерман.

Меншиков
Барон, барон, поди-ка, брат, сюда!
Скажи-ка, сколько денег?

Остерман
Здесь немало.

Меншиков
Здесь десять тыщ! На глаз не ошибусь.
Так, сколько денег?

Придворный
Ровно десять тысяч.

Меншиков
Его величество Петр Алексеич молод.
Не так ли, князь?

Голицын молча отходит.
(*Остерману.*)

Не так ли?

Остерман
Государь –
Лицо без возраста, но со значеньем.

Меншиков
И правильно... На деньги нужен глаз...
А он по младости зазря их тратит...

(Придворному)

Покуда деньги отнеси ко мне,
А я ужо спрошу у государя,
Куда и как употребить... Ну что
Стоишь? Неси! А если спросят,
Скажи: генералиссимус велел!

Придворный уходит. Меншиков осоловело усаживается в кресло.

О с т е р м а н

(Голицыну.)

Оплошно.

Г о л и ц ы н

Так и надобно, барон.
Держава – вещь грубейшая. Гляди:
Вот он, Левиафан.

О с т е р м а н

Левиафан?

Преострое словцо. И все же, князь,
Я полагаю сам, что государство –
Вещь тонкая. Недавно получил
Я табакерочку из Амстердама.
На ней фигурки. Ключик повернешь–
И табакерка эта заиграет,
Фигурки кланяются: все – одной,
Изображающей персону. Вот.
А хитрость вся в колесиках. И в том,
Что ключик есть. Без ключика сего
Фигурки не приходят во движенье,
Не кланяются...

Голицын

А Левиафан?

Остерман

Левиафан – без ключика...

Голицын

Ха-ха!

А где же этот ключик?

Остерман

В кутерьме

Запропастился он.

Голицын

А вдруг найдется?

Голицын уходит. Остерман со смешком смотрит ему вслед.

Меншиков

Барон, поди, не прячься! Сядь со мной.

С Голицыным о чем был разговор?

Остерман

О табакерках.

Меншиков

С ним держись востро.

Сначала заведет о табакерках,

А купит за понюшку табаку.

Остерман

Сиим не балуюсь. Здоровьем худ.

Меншиков

Ну, выпьем! Водка гданьская добра,
А я прилежен к питию хмельного.

Остерман

Увольте, ваша светлость. Лекаря
Пить не велят.

Меншиков

Ты что-то слишком свят:
Не куришь табаку, вина не пьешь;
Не лихоманец, говорят, не вор.
По бабьей части, а?

Остерман

И тут профан.

Меншиков

Грешишь, небось, тайком-то?

Остерман

Не охоч.

Меншиков

Ну, выпей водки. Я велю. Не то –
Кругом хмельны, а ты один тверез.
Тверезые, они народ преподлый,
Я им не верю...

Остерман

Надобно сказать,
Что я, хоть и не пью, но от других
Воспринимаю воспаренье хмеля.
Где чуть хмельны – и я слегка хмелен,
А где пьяны – и я изрядно пьян.

Меншиков

Не хошь – не пей. Ты, немец, – голова.
Такую голову воздеть на кол –
Вот то-то было б людям удивленье!
А? Как? Такую голову? Ха-ха!
Чего сидишь?.. Ступай пляши, барон!..
Все пляшете под Меншикову дудку!
Ай-люли-люли-люли!..

Петр танцует с Елизаветой.

Петр

Ваша светлость,
Генералиссимус и адмирал,
И ты танцуй!

Меншиков

Ну что ж, пойду и я...
Мария, ну-ка, становись со мною...
Генералиссимус и адмирал!
Генералиссимус и адмирал!

Танцуют.

Вдруг Меншиков вскрикивает дико и страшно. В то же мгновение прерывается музыка. Танцующие застывают на месте.

Мария

Что с вами, батюшка?

Меншиков

Кольнуло здесь...
Уже прошло!.. А ну! Танцуйте все!
Снова гремит музыка. Танцуют все.

ИНТЕРМЕДИЯ 1

Куча бревен. Забор. Двое мастеровых, молодуха, бабка.

1-й мастеровой

Кого хоронят?

2-й мастеровой

Никого не хоронят. Едет светлейший князь.

1-й мастеровой

А ну, залазь!

Поглядим, как Меншиков едет к царю.

Лезут на забор.

Б а б к а

...Я и говорю:

Обязательно что-нибудь да случится.

В ту ночь, как помирала царица,

Мне снится,

Словно кто стучится.

А наутро курочка пропала. Беда!

1-й мастеровой

Бабка, айда!

Лезь сюда,

Чем болгать без толка!

Б а б к а

У, балаболка.

Я-то смолоду тоже была востра...

Издали приветственные клики.

1-й и 2-й мастеровые
Ура! Ура!

Бабка

А царь-то у нас, поди, новый?

1-й мастеровой

Новый. Был березовый, стал кленовый.

Бабка

Поди, грозный?

2-й мастеровой

Какое! Малец.

1-й мастеровой

А собой – молодец.

Как ногой топнет,

Как рукой хлопнет:

Подать сюда, скажет, бабку, такую-рассякую.

Сейчас я ее арестую!

Молодуха

Да ну тебя, охальник.

Бабка

А кто же у нас нонче начальник?

1-й мастеровой

Князь Меншиков. Первый во всяком деле хват.

Приветственные клики.

1-й и 2-й мастеровые

Виват! Виват!

1-й мастеровой

Ну и кони! Ну и кареты!
А слуги-то как одеты!
То-то жизнь у них веселая!

2-й мастеровой

Манька,
Глянь-ка!

Молодуха

Я не могу, я – тяжелая.

2-й мастеровой

Вот и проехали.

Мастеровые слезают с забора.

1-й мастеровой

Нам бы так.

Ванюха, пошли в кабак!

2-й мастеровой

Опохмелиться – не безделица,
Да вот деньга не шевелится.
У бабы припрятана,
А даст навряд она.

Молодуха

Ступай, откуда у меня деньга.

1-й мастеровой

Ух, и баба у тебя строга.
Дай-ка я ее посмешу,
А там и выпрошу, что попрошу.
(Молодухе.)

Я к вам из дворца,
У царского барана разродилась овца.
А нынче у царской скотины
Крестины.
Не на что купить хворостины.
А без нас асамблей – не асамблей.
Ванюха, блей:
Подайте денежку на подарки
Для царевой ярки!

Молодуха
(смеясь)

Да ну тебя, ирод!

1-й мастеровой

Пожалей нас, сирот.

Молодуха

Ты уж выпросишь.

(Дает ему деньги.)

2-й мастеровой

Ну как?

1-й мастеровой

Пошли в кабак.

2-й мастеровой

Ловок ты. Баба моя и та с деньгой рассталась...

1-й мастеровой

Баба у тебя умна, да дураку досталась.

Мастеровые уходят, горлана песню:

Бережочек зыблется,
А песочек сыплется,
А ледочек ломится,
Добры кони тонут,
Молодцы томятся.

Б а б к а

У, кабацкие души! Распустился народ.
То-то, царь, антихрист, их брал в оборот,
А этот, говорят, малый, да еще дуралей.
Господи, его, сиротинушку, пожалей...

М о л о д у х а

Скушно, бабушка.

Б а б к а

Это ты маешься,
Покуда не опростаешься.
Младенец в тебе сучает.
А там полегчает...

М о л о д у х а

Дал бы Господи.

Б а б к а

Вот я и говорю:
Как тому царю,
Антихристу, помирать пришло –
Целый день ливмя лило.
А в прежнюю-то пору все было тихо.
Господи, минуй нас лихо!..
(Зевает.)

СЦЕНА V

Верховный Тайный Совет.

Голицын, Остерман, 1-й вельможа (граф Апраксин),
2-й вельможа (канцлер граф Головкин).

Голицын

Покойный император положил
Воздвигнуть монумент российской славы.
И с превеликим натяженьем сил
Воздвиг его. Однако в сем труде
Порой рвались построжки государства.
Их связывали наскоро в узлы,
Распутывать же достается нам.
Из тех узлов важнейший есть мужик.
Известно, господа, что недоимка
Растет. И если дальше налегать,
Мужик не выдюжит. А посему
Потребно облегчение крестьянам
Для их увеселенья и надежд...

1-й вельможа

Прибыток мужику – казне убыток.
Как обернется новшество сие?
Не стоит без светлейшего решать,
Покуда он хворает – обождать бы.

Голицын

Напрасно, адмирал. Светлейший князь
Хворать изволит долго. А дела
Совсем помрут, покуда он хворает.
На то и есть Совет, чтобы решать –

Как налагать: с души иль, как у шведов, –
С работников? С дворового числа,
С земли иль с тягол?..

Остерман

Полагаю так:
Комиссию покуда учинить.
А князь Голицын будет председатель.

2-й вельможа

Согласен.

1-й вельможа

Все – отсрочка...

Голицын

Господа!

С оглядкой ничего не учиним.
И так уж разум салом позарос,
И очи духа бельмами прикрыты.
Был поводырь. И нет поводыря.
Ходить учитесь сами. Час не терпит.
Я предлагаю: треть подушных денег
Сложить с плательщиков. И это нам
В заслугу будет. Нам нужны заслуги,
Понеже мало их.

Остерман

Резонно, князь.
Принять сие как временную меру.

1-й вельможа
(ворчит)

Ужо нам будет!

Голицын

Есть еще дела?

2-й вельможа

Те – завтра разберем. Не к спеху, чай.
И так весь день конзилии одни.

Голицын

Добро.

Остерман

До завтра.

Члены Совета встают. Направляются к выходу.
Голицын и 1-й вельможа.

1-й вельможа

Будет нам ужо!

Голицын

Граф, ты ведь адмирал?

1-й вельможа

Я? Адмирал.

Голицын

Так вот, представь корабль среди океана.
Корабль плывет назначенным путем,
А кормчий бражничает... или хвор.
А между тем корабль себе плывет,
Обходит мели, огибает скалы,
Минует бури – ищет верный путь...
И все без кормчего... Так ты скажи:
Быть может, кормчий – вовсе и не кормчий?

1-й вельможа

По-нашему, морскому, кормчий тот,
Кто нас с тобой на рее может вздернуть,
Как выздоровеет... Я поеду, князь.

2-й вельможа

Обедать надо.

1-й и 2-й вельможи уходят.

Голицын

Погоди, барон

Андрей Иванович.

Остерман

Слушаю, Димитрий

Михайлович.

Голицын

Когда секретари

Разъедутся, сойдемся здесь с тобой.

Поговорим.

Остерман

Давай поговорим...

Выходят оба.

1-й секретарь

Голицын – князь...

2-й секретарь

Ага!

1-й секретарь
Апраскин – граф...
2-й секретарь

Угу!

1-й секретарь
Светлейшим им...

2-й секретарь
Ого!

Входят Иван Долгоруков и Сапега. Оба под градусом.

Долгоруков
Здорово!

Секретари кланяются.
Барон Андрей Иванович здесь?

1-й секретарь

Прошли-с.

В коллегию.

Долгоруков
Добро. Мы подождем.
Секретари уходят.

Сапега
Куда ты приволок меня? Мы где?

Долгоруков
Дурак! Мы в зале Тайного Совета...

Сапега

Я думал мы в лесу... Ау! Ау!

Долгоруков

Молчи! Здесь надо тихо!

Сапега

А зачем

Мы здесь?

Долгоруков

Андрей Иванович приказал
Явиться мне. Наверно, будет взбучка.

Сапега

И мне?

Долгоруков

Тебе не будет. Но с тобой
И мне, авось, достанется поменьше.

Сапега

Ну, я пошел.

Долгоруков

Товарища – в беде?

Сапега

Какой ты мне товарищ... Я пошел.

Долгоруков

Постой!

Сапега

Пусти.

Долгоруков

Постой, чего скажу...

Мне государь сказал: вот подрасту,
Тогда тебя... меня... на место князя
Поставлю... Он меня на место князя...
А я тогда тебя... Да погоди!..

Сапега

Не погожу. Мне скучно...

Долгоруков

Стой, Сапега,
Давай с тобою биться об заклад.

Сапега

Давай.

Долгоруков

Ты ставишь перстень.

Сапега

Ну? А ты?

Долгоруков

Бочонок гданьской водки.

Сапега

По рукам!

А спор об чем?

Долгоруков

Когда меня барон
Начнет корить, ты, спрятавшись под стол,
Оттуда трижды крикнешь петухом.

Сапега

И что?

Долгоруков

Ну он начнет ругать тебя,
А про меня забудет...

Сапега

Так и быть.
(Лезет под стол.)

Долгоруков

Сидишь?

Сапега

Сижу.

Долгоруков

Но только чур не спать!
Не то зарю проспишь – ведь ты петух...

Входят Остерман и Голицын.

Цыц! Не шуми!..

Остерман

Ты с кем-то говорил?

Долгоруков

Нет, сам с собой...

Остерман

Иван, Иван! Опять
Ведь ты же много старше государя
И состоишь при нем, и посему
Ты должен подавать ему пример.

Долгоруков

Я подаю...

Остерман

Едва ли не дурной.
Ты погоди меня в соседней зале.
Я скоро выйду.

Иван Долгоруков выходит.

Голицын

Парит. Быть дождю.
В такую бы жару медовой бражки.

Остерман

Или пивка.

Голицын

Недурно и кваску..
Так как же будет с ключиком, барон?

Остерман

С которым ключиком – от табакерки?

Голицын

Нет, от Левиафана... Я, барон,
С тобой решился прямо говорить –
Не о делах, хотя они в развале.

Здесь все мы трусы. Вовсе о другом...
И ты меня не выдашь. Если выдашь –
Я отрекусь. Свидетелей-то нет...

О с т е р м а н

Я не доносчик. Это мне без пользы.

Г о л и ц ы н

Так речь, барон, идет о нашей шкуре.
Болезнь светлейшего нам передышка.
А он, едва оправится – смекнет,
Что государство без него стоит,
Что он не ключик вовсе, не пружина.
Тогда и он начнет рубить с плеча
И первых нас с тобой под корень срубит...
Я думаю, что надобно в Совете
Его валить. Но с толком и умом.
Их надо научить, чтоб не боялись.

О с т е р м а н

Весьма оплошно... Пять преображенцев,
И от Совета щепок не найдешь.

Г о л и ц ы н

Но в гвардии немало недовольства
Против светлейшего... Искру пустить...

О с т е р м а н

Опасно. Гвардия – опасный зверь,
Коль дать ему сырого мяса,
Он всех нас после слопает живьем.

Г о л и ц ы н

Но сам-то ты как мыслишь? Говори!

Остерман

Его величеству пора узнать,
Кто суть губители его отца...

Голицын

Я понял... Рассказать ему всю правду!

Остерман

Нет, князь, не всю... Гиштория, пока
Не отлилася в бронзу, – мягкий воск.
А надобно лепить ее со смыслом.
А есть ли смысл, чтобы великий Петр,
Сей монумент победной нашей славы,
Был обвинен в сыноубийстве? А?
Царевич Алексей загублен был
Злодеями, стоявшими у трона...
И сын несчастного не может стать
Убийцы зятем!

Голицын

Правда.

Остерман

Эту мысль
Пусть исподволь внушают государю
Те, кто стоит при нем. Хотя б Ивашка,
Князь Долгоруков. Если ж государь
Изволит допросить меня, скажу
И я...

Голицын

Затейлив ты, барон.

Остерман

Быть может.

Вне этого затейства, милый князь,
Давно бы мне гулять без головы.
Вот, князь, тебе ответ на откровенность.
Здесь нет свидетелей. И если что –
Я тоже отрекись.

Голицын

Ну что ж, барон,
Мы оба отречемся. По рукам.

Остерман

Там Долгоруков ждет меня как раз!..

Уходят Остерман и Голицын. Из-под стола вылезает Сапега.
Он отрезвел.

Сапега

Брр! По спине мурашки, как в мороз!
Где нет свидетелей, там я свидетель..
Я не хочу! Не знаю ничего!
Но все же знаю!.. Ничего не знаю!..
Но знаю все же... Надо бы кричать
Кукареку в начале разговора!..
Никто не знает! Знаю только я!
Оплошно, господин барон, оплошно!..
А я покуда перстень проиграл...

СЦЕНА VI

Во дворце на Васильевском острове.
Гостиная на половине светлейшего князя.

Сапег а
(один)

Барон – христопродавец, этот – вор
И властолюбец... Князь Голицин – ум
Безжалостный и злобный... К ним еще
Заносчивая свора Долгоруких,
Настырно ожидающих куска.
В каком кумпанстве славном обретаюсь!
Но он мне все же больше по душе –
По нашему несходству. Он умеет
Дерзать, желать – а это значит жить...
Предупрежу его!..

Входит Мария.

Ма р и я

Прискорбно, граф,
Но батюшке сегодня очень худо.
К нему никак нельзя.

Сапег а

Но как же так!
Ведь дело важное.

Ма р и я

Как все дела.

Сапега

Здесь речь идет... Нет, не могу сказать!..
Здесь речь идет, быть может, и о нас.

Мария

О нас? Нас больше нет. Есть вы и я.
Утешьтесь, граф. То, что сегодня важно,
Бывает завтра вовсе ни к чему..

Сапега

О, здесь совсем не то!.. Ясновельможный
Князь не простит нам, если не скажу..

Мария

Что может быть? Какие-нибудь козни?
Князь не боится их. А вам, ей-богу,
Не стоит впутываться. До свиданья.

Сапега

Ну хорошо, княжна, я вам скажу..
Поймете ль вы, что невозможно медлить!

Входит слуга.

Слуга

Его величество!

Сапега

Я лучше после

Приду.

Мария

Зачем?

Сапега

Ко мне ревнуют.

Мария

Нет,

К вам не ревную.

Входят Петр и Иван Долгоруков. Петр в гневе бессвязно
выкрикивает слова.

Петр

Я его сейчас!..

Как он посмел!.. Я приструню его!..

Долгоруков

Не надо, государь!..

Петр

Ты кто таков?!

Я и тебя!.. Ступай отсюда прочь!..

Да я тебя!.. Да я его!..

(Двигается на Сапегу.)

Сапега

Простите,

Ваше величество.

Петр

(внезапно успокаиваясь)

Ах, это ты здесь?..

Остерман входит.

Остерман

Я услышал ваш голос, государь.
Ваше высочество!

(Кланяется Марии.)

О чем тут речь?

Петр

Скажите мне, барон, кто император
В державе этой?

Остерман

Император – вы.

Петр

Тогда я научу повиновенью.
Позвать мне князя!

Мария

Князю нынче худо.

Петр

Позвать его!

Мария

Он болен, государь.

Петр

Мне нужен князь!

Входит Меншиков. Он в халате. Болен.

Меншиков

Я вот он.

М а р и я

Для чего
Вы встали, батюшка!..

О с т е р м а н

Придвиньте кресло.
Присядьте, ваша светлость!

Меншикова усаживают в кресло.

М е н ш и к о в

Я пришел,
Кто звал меня?

П е т р

Я звал! Как вы посмели,
Светлейший князь, подарок мой отнять?

М е н ш и к о в

Казна истощена. Деньгами нам
Нельзя сорить без пользы.

П е т р

Пользу я
Сам понимаю. Я вас образумлю,
Когда не захотите исполнять
Приказы!

М е н ш и к о в

Ваша воля...
(Марии.)

Отвори
Окно. Здесь душно. Тяжко мне дышать.

Мария отворяет окно. С улицы доносится дробь барабанов.
Все молча прислушиваются к ней.

Простите, государь. Еще я слаб...
(Кланяется Петру и медленно выходит.)

Петр

Я научу вас всех повиноваться!

Остерман

(Долгорукову.)

Пусть он остынет. Отвлеки его.
Еще нам рано с Меншиковым спорить!

Долгоруков

Ваше величество! Совсем забыл!
Один голландский шкипер презабавной
Меня недавно шутке обучил.
Глядите: вот платок! Вот нет его!
Он испарился! Так! Теперь – раз! Два!..
Откуда достать?

Петр

Вот у нее

Из носу!..

Мария

Мне сегодня не до шуток!

Петр

Не хочешь – обойдемся без тебя.
Тяни-ка у меня!

Мария уходит.

Долгоруков

Бум! Вот платок!

Петр

Еще раз! Научи меня!..

Отходят в сторону с Долгоруковым.

Остерман

(Сапега.)

Да, граф!

Вы, кажется, уже опять жених?

Сапега

Я уважаю это ремесло.

Остерман

И вас не отпускают из семьи:

Сперва вы были при императрице...

Теперь – ее племянница...

Сапега

Угу!

Я сам себе втираюся в родню.

Ведь я от вас легко усвоил взгляд

На праотца Адама. До виденья!

(Кланяется. Уходит.)

Петр

(Долгорукову)

Да, да, ступай! Нам ехать ввечеру.

Иван Долгоруков уходит.

Остерман

Вы, кажется, обидели невесту.

Петр

Довольно ей, что я ее люблю.
Люблю в душе. А ласки ни к чему.
И вообще, я так решил, барон, –
Жениться в зрелом возрасте, не раньше
Лет двадцати иль двадцати пяти...

Остерман

Ваше величество, угодно ль вам
Сегодня быть в Совете? Вы давно
Там не были.

Петр

Опять? Я там бывал.
И лишь скучал. Скажите мне, барон,
Зачем такое множество законов?
Не лучше ль выбрать добрых пять иль шесть
И их блюсти.

Остерман

Законы, государь, –
Законы рассыхаются, как бочки.
Их надо конопатить каждый день,
Чтобы лазеек не было.

Петр

Лазеек?

На то ли Бог помазал нас на царство,
Чтоб только татей за руку хватать?..
Тогда вам нужен псарь, а то – и пес...

Молчание.

Я нынче отбываю на охоту..
Вы недовольны? Скажете опять,
Что я бегу от книг?.. И вправду я
Книг не люблю: веселых очень мало,
А больше нудных.

О с т е р м а н

Книги, государь,
Нас приучают мыслить.

П е т р

Ну и что ж.
Я мыслю сам. Я мыслить сам учусь.
Особенно, когда лежу в постели –
И думаю... Я думаю о том,
Что добрым быть нельзя и что вокруг
Все лгут. И улыбаются. Да, да!..
Всем кажется, что я еще дитя.
Но я уж взрослый. Я припоминаю –
Совсем недавно не был я любим!
Теперь меня все любят. Но не любят,
А притворяются... Небось, боятся...
Вот был учитель Зейкин... Он как будто
Любил меня... А где-то он сейчас?..
Я ведь тогда один на свете жил...
Я матушку не помню. И отца.
Мне бы хотелось бабушку увидеть...
Зачем ее упрятали от нас,
Туда, в Москву?.. Скажите мне, барон, –
Я вас давно уже хотел спросить...
Как было все тогда... с моим отцом?
Он умер сам?.. Скажите мне, барон...

СЦЕНА VII

В доме Меншикова.

Светлейший князь сидит в кресле у окна, распахнутого на Неву.

Меншиков

Я вновь здоров, как будто возвратился
В былые сочные свои года.
Вновь слышу пенье птиц и ветра гул
И каждый запах пробую ноздрями.
А руки к делу тянутся опять,
И хочется веселья, и затей,
И праздника!.. Порядком надоело
Беседовать со смертью! Вот лежал
И думал: для чего сей шум листвы?
И для чего вино и прелесть бабья?..
Когда меня трепала лихорадка
И кровь шла горлом, страха я не знал.
Ведь смерти лишь в младенчестве страшатся,
А чем старей – боязни меньше в нас.
Смерть – краткий миг. И все, что дивно в мире,
Все кратко. Спуск ли корабля на волны,
Последний, сладкий трепет любострастья,
Или восторг, испытанный в бою!..
Вот ради этой краткости блаженной
Мы все живем... И где иная цель?
Побольше нашуметь на этом свете,
А там навеки кануть в тишину.
Бессмертье – что оно? Лишь дальний отзвук
Громов, рожденных нами... Грех, добро –
Все смешано в том отдаленном громе...
Вот праведники – для чего живут?
Пылинку сеют, вырастят былинку!

Конечно, польза. Но она скудна!
Что сто былинки в сей большой державе!
Всем поровну? Но это нищета!
И сам Господь разумно разделил
Людей на нищих помыслом и силой
И на счастливых пахарей судьбы,
И всех людей соединил в державе.
Держава – смысл людского бытия,
Она есть царство Божье на земле.
Она возносит, судит, награждает,
Наш каждый шаг осмыслен только в ней.
Как различать поступки? Что есть грех
И что добро? Одна держава знает!..
... Какой сегодня ясный, теплый день!
Как хороша Нева и этот город,
Где все мое, где лучшие года
Мои прошли! Как было все легко,
Как было беззаботно и счастливо!
И рядом он, великий государь!
Такой, бывало, в сердце был восторг,
Что пуля не брала и сабля тоже...
Вот помню Нарву! То-то был я хват!
Как выскочил под стены на коне
Под самые под шведские картечи!
Какая фурия во мне была!
А пули, словно пчелы, в волосах –
Жу-жу! А у меня на сердце радость
И дикость некая! И, как сейчас,
Гляжу: у пушки шведский канонир,
Такой чумазый, махонький, смуглявый,
Навел в меня и бахнул! Я кричу:
«Врешь! Не попал!» И радостно, как будто
Целуешь бабу. Но и этот болдырь

Вошел в газард. Бабах! И снова мимо!
И тут за мной в пролом пошли полки!..
Ну разве позабудешь это счастье!
А пили как! Так нонче разве пьют!
От счастья пили, а не от печали,
Замешивали радость на хмелю..
Любая баба с вечера желанна,
А утром – бой, а за полночь – пиры.
Так молодость прошла. Но каждый возраст
Имеет назначение свое.
Что юность строит – зрелость сохраняет.
А нам немало строить довелось!
И мне досталось дивное наследство
Хранить и умножать... Кому еще
Так это дорого, как мне? И кто
Российской славы может быть блюститель?..
Я! Я один!.. Пора и за дела!
Прочь лекарей!.. Я вновь здоров, как прежде!..
Эй! Что за шум?.. Толпа на берегу!
Барахтается кто-то!.. Тонет! Эй!
Да нешто так!.. Пускает пузыри,
А эти зря толкутся! Заробели!
Эй, черти! Лодку! Лодку! Вот народ!
Постойте! Ничего не могут сами!

(Выбегает из комнаты.)

ИНТЕРМЕДИЯ 2

Куча бревен. Забор. Двое мастеровых, молодуха.

1-й мастеровой

Кого хоронят?

2-й мастерой

Никого не хоронят.

Человек на Неве тонет.

1-й мастеровой лезет на забор.

1-й мастеровой

Эй, спасай! Спасай!

Левей, левей бросай!

2-й мастеровой

Не хочет спасаться, леший...

1-й мастеровой

Гляди, гляди – сам светлейший!

(Дает подзатыльника, кому горячего, кому теплого.)

2-й мастеровой

Выгтащили утоплого.

1-й мастеровой

И утоплону по мордасам.

2-й мастеровой

Сюда идет.

Слезь с забора, а то и нам перепадет.

Берись-ка за дело!

Входят Меншиков и солдат.

Меншиков

Тебе чего – жить надоело?
Плавай, сучий сын, на мелком, коли не можешь
на глубоком.

Солдат

Осклизнулся, ваша светлость, ненароком.

Меншиков

Какого звания?

Солдат

Солдатского,
Драгунского регимента Вятского.
С вашей светлостью воевал при Фридрихштате.

Меншиков

А в воду сигаешь с какой стати?

Солдат

От службы уволен по убожеству –
Изрядных ранений пять, мелких множество.

Меншиков

Дрожишь, служба?

1-й мастеровой

Ему бы выпить нужно.

Меншиков

Слетай за вином. Я денег дам.

1-й мастеровой

Мигом, ваша светлость, одна нога здесь,

другая там.

(Убегает.)

Меншиков

А ты, молодуха, чего такая квелая?

2-й мастеровой

Она тяжелая.

Меншиков

А-а!

2-й мастеровой усердно тешет бревно. Меншиков глядит на его работу.

Эй, ты, курицын сын, разве так тешут бревна?

Держи ровно.

Давай сюда топор, мать-перемать!

(Берет топор, работает.)

Вам бы все на печи дремать.

1-й мастеровой

(появляется с вином)

Ваша светлость!

Сдачи – три деньги.

Входит мальчишка-пирожник.

Мальчишка

Кому пироги! Пироги! Пироги!

Меншиков

Эй, малец! Я пироги страсть люблю!
Давай сюда – все куплю!

Мальчишка

Врешь!
Пироги-то схватишь,
Сожрешь,
А не заплатишь!
Ты, бают, все хватаешь подряд.

Меншиков

А ты не слушай, что говорят.
На деньги!

(Забирает пироги.)

Мальчишка

Мало!

Меншиков

Ишь, завирало!
Небось, внутри – собачина?
(Разламывает пирог, нюхает.)

Мальчишка

Назад не пятиться, коли плачено!
(Убегает.)

Меншиков

(смеется)

А ну, налетай! Ешь пироги!

2-й мастеровой

Гыгыгы!

Меншиков

Кто ж так смеется – «гыгы»! Хорошие люди
Смеются «хо-хо» или «ха-ха»!

Молодуха

Пойдем от греха,
Ванюха!

Меншиков

Так, молодуха,
Дай ему духа!
А сама не робей!
Ну, служивый, ешь да пей,
Да не вешай нос!

Солдат

Слушаю, господин генералиссимус!

Меншиков уходит. Мастеровые и солдат садятся пить водку.

1-й мастеровой

Вишь, какой простой! Без чванства!

Солдат

За здоровье всего кумпанства!

Пьют.

2-й мастеровой

Как подойдет, да как глянет...

Солдат

Он вас подтянет.
У него старая хватка...

2-й мастеровой

А тешет как гладко!

Солдат

Прежде-то как все спорилось,
А нынче успокоилось,
Не строят, не воюют
Не радуются, не горюют,
Живут как тараканы.

1-й мастеровой

Утром трезвы, ввечеру не пьяны.

Солдат

То-то! Таков у нас народ.
У немца порядок, у нас – наоборот.

1-й мастеровой

На то и Русь –
Всяк сам себе гусь!

2-й мастеровой

Поели-попили, неча время провожать.
Надо к старосте бежать
Просить досок.

(Уходит.)

1-й мастеровой

А я подремлю часок.
(Заваливается на бревнах и засыпает.)

С о л д а т

Он солдата не обидит...
Он все видит...
Трудно ему с ними ладить,
Каждого по шерстке надо гладить...
Все нынче ни шатко ни валко...
Жалко генералиссимуса, жалко...
(Поэт вполголоса.)

Вот поле, поле, поле...
А что растет на поле?
Одна трава, не боле,
Одна трава, не боле.
А что свистит над полем?
Свистят над полем пули –
Железные грады.
А кто идет по полю?
Военные отряды,
Военные отряды...
Идут они по полю
Полками, полками.
Потом уткнутся в поле
Холодными щеками,
Холодными щеками.

А что потом на поле?
Одна трава, не боле,
Одна трава – не боле...

СЦЕНА VIII

В Петергофе.

Барон Остерман пишет. Он в превосходном расположении. Написал, полюбовался, перечитал.

Остерман

Его величество намерен нынче
После обеда быть в Ораненбоме.
Высококняжескую светлость вашу
Покорнейше прошу о продолженье
Высокой милости и пребываю
С преспектом – вашей светлости слуга.
(Запечатывает письмо, подмурлыкивая какую-то песенку.)

Входит Иван Долгоруков.

Долгоруков

Беда, Андрей Иванович, беда!
Подлец Сапега до всего дознался –
Про замысел, про умысел про наш, –
И нынче полетел в Ораненбом.
Он нас продаст! Не вытерпит!.. Тогда!..
Чай, Меншикова руку знаешь сам!
Там нынче все – Сенявин, Головкин,
Мамонов, Волков... Все они под ним...
Голицыны переметнутся...

Остерман

Стой!

От крику твоего в ушах звенит.
Дай рассудить.

Долгоруков

Не время рассуждать!
Ведь он злодей! И на расправу скор!
Я государя умолил не ехать
К нему в Ораненбом...

Остерман

Весьма оплошно.
Кто есть Сапега! Пьяный дебошан.
И мало ли что с пьяну наплетет...
Коль мы не едем, значит, не чисты,
А коль поедем – не к чему придраться.
Ведь заговора-то на деле нет.
Я, право, и не слыхивал... А ты?
Ты разве слыхивал?

Долгоруков

Постой, постой!..
Ты сам меня... Сам подбивал...

Остерман

Иван,
Ступай проспись. Бог знает, что взрело.
Мерещится тебе!

Долгоруков

Барон! Барон!
Я если что – до крайности дойду!..
То подбивал... А если что случится,
Ты вылезешь сухим. Голицын тож...
Мы, значит, Долгорукие, повинны!..
Жар нашими руками загребать!
Я разгадал! Не выйдет! Я не дам!..

Нас не возьмешь! По-твоему не быть:
Его величество не едет к князю!

Долгоруков выбегает в гнев.

Остерман

Дурак-дурак, а понимает суть.

(Задумывается.)

Еще не время. Но юнец упрям
И раздражен... Они столкнутся в лоб.
А мы пересидим.

(Хлопает в ладоши.)

Входит слуга.

Сие письмо

Немедля отослать в Ораненбом.

Слуга выходит.

Теперь настало время занемочь.

(Громко стонет.)

Входит встревоженная Елизавета.

Елизавета

Андрей Иванович! Что в вами?

Остерман

Ох!

Нутро горит!

Елизавета

Прилягте.

(Укладывает барона.)

Остерман

Ох, горит!

Вбегает Петр.

Петр

Барон, что с вами? Господи, барон!
Да не молчите же!..

Остерман

Горит, горит..

Молю вас, государь, езжайте к князю..
И вы, принцесса..

Елизавета

Я? Я не звана.

Петр

Он оскорбил ее, и значит – нас!
Терпеть ли дольше дерзости его?..
Я приказал Ивану объявить,
Что не желаю быть в Ораненбоме.

Остерман

Ох!

Петр

Лекарей! Немедля лекарей!
(Поспешно выходит.)

Остерман

Ваше высочество, поверьте мне...
Коль бить, так бить враспloch и наповал.
Мы не готовы. И к тому же – князю
Открыли заговор.

Елизавета

А был ли он?

Остерман

Был или не был – Меншикову надо,
Чтобы он был... А тут и повод... Ох!

Елизавета

Меня не посвящали в это прежде,
И для чего мне это знать сейчас?

Остерман

Разумно и весьма, весьма остро...
Но кто поверит вашему незнанию?
И речь идет о пользе государя:
Быть пленником ему и быть игрушкой
Корыстолюбья или наконец
Осуществлять высокие права,
Подаренные провиденьем.

Елизавета

Ах!

Права ничто без силы...

Остерман

Я о том

И говорю. Держава есть загадка.
Склоненье сил зависит в ней порой
От слова. Кто его произнесет
В уместную минуту, тот и взял...

Елизавета

Вот и пора его произнести.
Пора настала прочертить черту
Меж Петергофом и Ораненбомом.
Без государя Меншиков – ничто.

Остерман

Ох!.. Рано!.. Ох!

Входят Петр и два лекаря.

Петр

Андрей Иваныч! Вот...

Вот лекари!..

Лекари склоняются над бароном.

Елизавета

(у окна)

Когда бы мне решать –
Не стала бы я мудрствовать лукаво!
Прийти в квартиры лейб-кампанской роты,
Из собственных бы рук раздать вина...
По чарочке... Как матушка, бывало.
И – с Богом!..

Петр

(лекарям)

Что с бароном?

1-й лекарь

Гастралгия

Акута.

(Кланяется.)

2-й лекарь

Акутиссима.

(Кланяется.)

Лекари под руки выводят Остермана.

Петр

(Елизавете.)

Скажи,

Он не умрет?

Елизавета

Не ранее, чем я.

Петр

Как надоела эта колготня!

Все вокруг меня – толкутся, шепчут, просят,

Советуют, наушничают, льстят.

Одни твердят мне так, другие – эдак.

Что всем им надобно, Елизавета?

Елизавета

За власть тягаются.

Петр

А для чего?

Елизавета

От старости... Уходит все из рук –

Веселье, сила, сон... А особливо –

Любовь... Они слюнявы, старики...

А властью мыслят все себе вернуть,

Себя продлить – богатством, титулом, славой;

А больше страхом.

Петр

Ну, а мне на что?

Елизавета

Ты сроду государь. Тебя на это
Господь избрал.

Петр

А почему меня,
А не другого?

Елизавета

Каждому – свое:
Кому быть зодчим, а кому – купцом...
Иные же призванья не имеют,
Лишь на чужое зарятся...

Петр

А князь, –
Он кто же по призванию?

Елизавета

Он? Денщик.

Петр

Денщик – а князь... А может, где-нибудь
Князь ходит в денщиках?..

(Неожиданно и сильно.)

Елизавета!..

Елизавета, я тебя люблю!

Петр медленно приближается к Елизавете. Она ожидает его с некоторым недоумением и страхом. И вдруг, кокетливо засмеявшись, убегает вокруг стола. Он кидается за ней. Входит Иван Долгоруков.

Долгоруков

Ваше величество! Елизавета
Петровна! Здесь гроза над головой,
А вы хохочете, резвитесь в салки.

Петр

А что ж нам – плакать?

Долгоруков

Плакать буду я...

Мы, Долгоруковы, за все ответим...
Мы, дескать, государя оплели,
От дел отвадили... На князя, дескать,
Поклеп возводим... С нас за нашу верность
Всю шкуру спустит... Он их припугнет...
Все у него... И все под ним...

А мы...

Я...

Петр

Ну чего ты забоялся? Ну их!
Ужо я проучу их как-нибудь!..
А заодно – тебя...

(Елизавете.)

Пойдем отсюда!

Елизавета

(Долгорукову.)

Не убивайтесь. Ждите подлеца.

Петр и Елизавета уходят.

Долгоруков

Оставили! Один! Совсем один!

(Бьет себя кулаком в лоб.)

Дурак! Дурак! Живи своим умом!

Входит Сапега. Долгоруков кидается на него. Душит за горло.

Подлец!

Сапега с трудом отрывает Долгорукова.

Сапега

Сбесился!

Долгоруков

Я тебя убью,

Предатель подлый!

Сапега

Как ты угадал?..

Долгоруков

Подлец!

Сапега

Воистину!

Долгоруков

Сказал?

Сапега

Смолчал.

Долгоруков

Врешь!

Сапега

Вот те крест.

Долгоруков

Сапега! Петька!

Виват!

Сапега

Ура!

Долгоруков

Пойдем-ка к государю!

Влечет его за собой из залы. Некоторое время никого нет. Потом весьма поспешно, запыхавшись, появляются 1-й и 2-й вельможи. За ними с той же поспешностью входят и другие. Постепенно зал заполняется придворными.

1-й вельможа

Какая дерзость!

2-й вельможа

Можно ли терпеть:

Он сесть посмел на место государя!..

1-й придворный

Он бросил вызов! Это неспроста!

2-й придворный

Покою нет!

1-й придворный

Такая наша служба.

1-й майор

А жалованье?

2-й майор
Вот теперь заплатят.

1-й майор
Ты за кого?

2-й майор
Хрен щиплет, редька жжет.

1-я дама
Неужто будет?

2-я дама
Зрелище какое!

1-я дама
Казнят!

2-я дама
Кого?

1-я дама
Кого-нибудь казнят.

1-й дипломат
Сегодняшний банкет в Ораненбоме
По замыслу был должен означать,
Что князь освободился от недугов,
Что с государем разногласий нет,
Что все незыблемо.

2-й дипломат
А разве – нет?

1-й дипломат

Нет! Князь нарушил компромисс. Ведь
Есть компромисс меж лебедем, и раком,
И рыбой, по старинной притче... Князь
Забыл, что он обязан улащать
Шляхетство, гвардию. И подавать надежду,
И брат в расчет Совет, Сенат... А он –
Храня уздечку, упустил коня.
Коллизия дошла до остроты...

Входит Голицын.

2-й дипломат

Вот князь Голицын. Подойдем к нему.

1-й вельможа

А я... а я не мог сего терпеть...
Ушел и первым прибыл в Петергоф...

2-й вельможа

Постой-ка! Я был первым!..

Все присутствующие ропщут. Слышны голоса: «Я – первый!» За шумом не замечают, как входят Остерман, Иван Долгоруков и Сапега.

Долгоруков

Господа!

Позвольте!

Шум смолкает.

Первым прибыл князь Сапега!

Сапсга церемонно кланяется.

1-й дипломат

(Голицыну.)

Скажите, князь... Коли произойдет...

То... можно ли предвидеть, кто возглавит
Правительство?

Происходит движение. Все теснятся к дверям.

Голицын

И вправду – кто?

(В сторону Долгорукова.)

Не для него ль стараемся всюю?

СЦЕНА IX

Верховный Тайный Совет.

Голицын в одиночестве сидит над бумагами. Входит Меншиков.

Меншиков

Один?

Голицын

Один.

Меншиков

Где же граф Апраксин?

Голицын

Хвор.

Меншиков

А Головкин где?

Голицын

Канцлер занемог.

Меншиков

Про Остермана спрашивать не стоит!
Он занедужил. Может, даже – помер
И спрятался со страху в парадиз,
Надеясь, что меня туда не пустят.
Людишки! У меня в Ораненбоме
Откушавши, помчали в Петергоф
С наветами... А нынче по щелям
Сидят, как тараканы. Но напрасно.
Что приключилось? Ровно ничего.
В семье размолвка... Государь горяч
По младости. А мне бы уступить!..
Все это мелкий сор – обиды, козни, –
И липнет, словно глина к сапогам.
А вред кому от этого? Державе.
Пора забыть про это. И пора
Пещись о пользе, не щадя трудов.
А псы пусть брешут. Надоест – отстанут.
Словес не стоит тратить. Есть дела
Великие... Пусть господа министры
Хворают. Не впервой решать без них.
Давай займемся делом, князь Димитрий
Михайлович.

Голицын

Есть именной указ.

Его величество повелевает
Указы, посланные от тебя
Иль от кого их нас партикулярно,
Не исполнять.

Меншиков

Где сей указ?

Голицын

Читай!

(Подает Меншикову бумагу.)

Меншиков

Вот какова награда за труды!
Отставить Меншикова от державы!
А кто придет? Незрелые умы!
Куда же поведут корабль Петра?..
Князь! Я перед тобою виноват.
По жадности плепорцию нарушил!..
Но мы – мужи. И в тяжкую минуту
Должны совместно выручать корабль...
Дитяти можно ли играть с огнем,
А нам на то глядеть со стороны?

Голицын

Нет, Александр Данилыч, нам уже
Не по дороге.

Меншиков

С кем же по дороге?

Голицын

Ни с кем. Не вижу спутников себе.

Меншиков

Злорадствуешь? Ликуешь?

Голицын

Не ликую,

А мыслю.

Меншиков
Мыслишь?

Голицын

О своей судьбе.

В худой державе худо всем – вельможам
И мужикам, владыкам и рабам.
Сегодня ты упал, а завтра – я.
Что ж радоваться! Ты сгубил Толстого,
А мы тебя, а кто-нибудь – и нас.

Меншиков

Так что ж теперь – сидеть, глядеть и ждать!..
Князь! Нас двоих не сломишь! Есть казна.
Солдаты есть – они за мной пойдут.
Ты брату своему пиши немедля,
Фельдмаршалу, чтоб ехал в Питербурх
С Украины. И станем воевать!

Голицын

Нет, Александр Данилыч. Я не стану.
Воюй, коль можешь, сам. А я постиг,
Что все мы не хозяева, а слуги
Державы сей. И посему должны
Угадывать ее слепую волю...
А ты не угадал. И правоты
Нет у тебя. Покойный государь,
Гляди, что делал – все ему сходило:
Сломал бояр, заставил мужиков
Ходить в походы, на болоте зыбком
Построил город. Правота была.
А ты слугою быть забыл. Владыкой –
Не научился... Сам теперь воюй...

Мешать тебе не стану. Погляжу.
Не позлорадствую, коль ты падешь,
И не возрадуюсь, коль одолеешь.
Ступай воюй!

Меншиков

Спасибо и на том!
Угадывать, гадать – не для меня!
Посмотрим, кто хозяин, кто слуга!
А я фортеции покрепче брал,
Чем Долгоруковы и Остерманы!
Хотел мириться – мира не хотят.
А если так – то берегись меня!
Я – Меншиков. И я мелю, как жернов.
А из муки я знаю, что пекчи –
Ведь я пирожник был! Ха-ха! Пирожник!
С зайчатиною пироги таскал!
С зайчатиной, ей-богу, пироги!
Хор-рошие – с зайчатиной, ей-богу!
(Хохочет.)

СЦЕНА X

В Петергофе.
Петр и Елизавета.

Петр

А ну еще! А ну изобрази
Левиафана!

Елизавета

Вот Левиафан.
Я всесветлейший князь, рейхсфельдмаршал
пирожный,
Хапуг-коллегии начальник я безбожный!
Дорогу мне! Не то, как липку, обдеру,
Где плохо что лежит немедля подберу.
Глядите, дотянусь до вашего кармана,
Узнаете еще меня, Левиафана!

Петр

Похож! Ей-ей, похож! Теперь еще
Изобрази барона.

Елизавета

Нет, барона
Я не умею. Подражать ему
Никто не может. Больно он умен –
Умнее всех.

Петр

Тогда давай с тобой
Поговорим.

Елизавета

О чем?

Петр

О красоте.

Елизавета

О чем?

Петр

О красоте. Кто всех пригожей
В Российском государстве?

Елизавета

Я не знаю.

Петр

Скажи, скажи!

Елизавета

Твоя невеста?

Петр

Нет.

Она как статуя. А из людей?

Елизавета

Ну, Долгорукова Екатерина.

Петр

Она лисичка. Хочешь, я скажу?

Елизавета

Ой!

Петр

Что с тобою?

Елизавета

Выпала серьга!

Петр

Давай искать! Чур, первый кто найдет,
Того, тому... Того ты поцелуешь.

Ползают по полу, ища серьгу.

Куда девалась?

Входит Остерман

Остерман

Доброго утра,
Ваше величество. А вас, принцесса,
С днем тезоименитства разрешите
Поздравить.

Елизавета

Благодарствую, барон.
Сережку обронила.

Остерман

Вот она!

(Подает серьгу Елизавете.)

Елизавета

Спасибо!

Петр

Погоди-ка! Погоди!
Андрей Иваныч с нами не играл
И потому с тобой не в уговоре!..

Андрей Иванович! Нынче без занятий
В честь тетушкина тезоименитства!

Остерман

Сегодня я не смею возражать...
Здесь, кстати, прибыл Александр Данилыч,
Генералиссимус.

Елизавета

Совсем некстати.

Петр

Левиафан стал нуден.

Остерман

Государь,
Князь Меншиков намерен видеть вас
И говорить...

Петр

Для этого, барон,
Я должен пожелать вести беседу.
Он хорошо узнал, кто я таков.
Но, впрочем, пусть! Не то вообразит,
Что я боюсь его... Не возмечтал ли
Бить по щекам меня, как он когда-то
Бил моего отца!.. Елизавета,
Останься здесь!

Остерман

А у меня дела,
Не терпящие отлагательств.

Петр

Ой!

Андрей Иванович! Ты его боишься!
Скажи – боишься?

Остерман

Вовсе не боюсь.

И что есть страх? Страх есть дитя незнания,
А здесь мне все известно наперед.
Дозвольте удалиться мне.

(Уходит.)

Слуга

Их светлость

Князь Александр Данилыч Меншиков.

Петр

Ай-ай! Беда! Послушай, Лизавета,
Куда бы спрятаться? Хоть под диван!
Нет, ноги не войдут!.. Я не хочу
С ним видеться!.. Скажи ему, что я
Уехал на охоту. До свиданья!

(Выпрыгивает из окна.)

Меншиков входит.

Меншиков

Где государь?

Елизавета

Он отбыл на охоту.

Меншиков

Он только что был здесь!

Елизавета

Недавно был.

Он волен быть, а волен и не быть.

Меншиков

Я, цесаревна, прибыл для того,
Чтоб вас поздравить в день...

Елизавета

Благодарю...

Меншиков

Ах, матушка Елисавет Петровна,
Я не хотел вам нынче докучать,
Но слишком редко мы наедине,
И слишком много в сердце наболело...
К тому же, цесаревна, и для вас
Сей разговор полезен... Ибо мы
Друг с другом связаны одною нитью.
А эта нить тончает день от дня.

Елизавета

Я не сильна в разгадке аллегорий.

Меншиков

Царевна! Аллегория сия –
Политика, а с нею шутки плохи.
Из аллегии торчит топор.

Елизавета

Кому же он грозит?

Меншиков

Тебе и мне.

Мы оба одного творца творенье.
Я о себе отлично помню все,
Не то бы мне напомнили другие,
Что Петр меня вознес из грязи в князи,
А матушку твою нарек царицей...
Он Русь разворошил, как муравейник,
Поворотил ее, как колесо,
Кто был внизу – сегодня наверху.
Но колесо сие, с великим скрипом,
Враги твои, мои и дел Петровых
Хотят сегодня обратить назад!

Елизавета

Что ж, аллеорию скажу и я:
Уж если колесо в грязи завязло,
Не лучше ли его подать назад?..
Запомни, князь, – ведь мы с тобой не ровни:
Вино с водою – все еще вино,
Но лишь один Господь имеет власть
В вино преобразать простую воду!

Меншиков

Что ж! Ты меня хотела уколоть?
Коли! Себя не жалко мне. Я стар.
А об заслугах что мне говорить –
Об них уже гиштория рассудит.
И мне пора уж, видно, на покой,
Куда-нибудь далече – на Украйну,
Довольно здесь мозолить всем глаза...
Но, цесаревна, ты посожалеешь.
Мы – люди новые – не без греха,

Но ведь грехов и у иных не мене.
Меня не станет – лучших не найдешь,
Взамен придут такие же, как я!
Такие же, царевна, но похуже,
Голей меня и потому жадней...

Елизавета

Довольно, князь! Я бедная принцесса,
И прибегать ко мне – напрасный труд...
Недавно вы жалели мне подарка,
А нынче что хотите подарить?
Престол?.. Но, кажется, прошла пора
Раздаривать престолы... И к тому ж –
Пора идти. У нас сегодня праздник.
(Уходит.)

Меншиков

Пляшите, выблядки! Пляшите в добрый час,
Но мы еще посмотрим, кто из нас
Запляшет напоследок!

Входит Остерман.

Эй, барон!
Тебя-то мне и надо! Ты, барон,
Опасную затеял здесь забаву!

Остерман

О чем высококняжеская светлость
Изволит говорить?

Меншиков

Ты не юли!

Гляди-кось, попадешь на колесо
За то, что совращаешь государя
Во дьявольскую лютерову веру!
Нам, русским, нужен русский государь,
А ты младенца соблазняешь в немцы!..

Остерман

Позвольте, ваша княжеская светлость!
Я на себе не чувствую вины.
И полагаю, что кое-кому,
А уж не мне, грозит колесованье.
Ведь вы меня не брали в долю, князь,
При порче государственной монеты.
Прошу прощенья. Здесь сегодня праздник!
(Уходит.)

Меншиков

Злодей! Злодей! Провел меня! Провел!
Надул! Надул меня, проклятый немец!

Из дверей выбегают шуты, шутихи и карлы.

Шуты

Иги-и!

Хороводом окружают они Меншикова.

Поп женился на козе,
А дьячок на стрекозе,
Пономарь на телке,
И звонарь на пчелке.
Каравай, каравай,
Кого хочешь выбирай!

От ярости, не в силах вымолвить слово, Меншиков
по-медвежьи топчется в кругу шутов.

СЦЕНА XI

Во дворце на Васильевском острове. Мария и Сапега.

Мария

Зачем ты здесь?.. Ступай, ступай скорей!
Поберегись, ведь к нам никто не ходит!

Сапега

А я пришел... А я, подлец Сапега,
Пришел сказать, что я тебя люблю.

Мария

Не надо, Петя... Это слишком поздно.

Сапега

Любить не поздно! Мы бежим с тобой
Куда-нибудь к французам или испанцам!
Ищи-свищи! Вот то-то будет шум!
Вот то-то эти идолы запляшут!..

Мария

Смешной ты, Петя... Некуда бежать,
У государей не крадут невест.
И все равно бы я не побежала.
Ступай. И лучше с нами не водись...

Сапега

Но я люблю тебя...

Мария

Напрасно, Петя.
Тебя я разлюбила. Может быть,
И не любила вовсе никогда...

Меня любить-то, Петя, отучали,
А приучали к верности одной.

Сапега

Пускай! Но я спасу тебя!

Мария

Не надо.

Мы сами. Батюшка еще силен...
Мне надо с ним быть. Я ему нужна.
Спасибо, Петя. И прощай, прощай.
Дай поцелую в лоб тебя... Ну вот
И попрощались... Встань, сюда идут.

Входит секретарь Меншикова.

Сапега

Прощай, Мария.

Мария
(*секретарю*)

Проводите графа.

Секретарь выводит Сапегу и возвращается.

Секретарь

Князь все еще не выходил?

Мария

Сидит

Один в Ореховой гостиной. Мыслит
О чем-то... Я боюсь к нему войти.

Секретарь

Не спрашивал доклада до сих пор...

Входит Меншиков.

Меншиков

(секретарю)

Докладывай.

Секретарь

Ингерманландский полк
Расположен на городских квартирах.

Меншиков

Быть офицерам на местах. Еще?

Секретарь

Его величество прибыть изволил
В свой Летний дом.

Меншиков

Ага!

Секретарь

И отрядил
Юсупова с Семеном Салтыковым
В гвардейские полки...

Меншиков

Ну?

Секретарь

... объявить,

Чтоб слушали отныне приказаний
Его величества, и только их.

Меншиков

А что войска?

Секретарь

Молчат.

Меншиков

Давай кафтан

Со всею кавалерией – парадный.

Поеду сам в полки.

Секретарь

Гоф-интендант...

Меншиков

Еще не все? Быстрее говори!

Нельзя мне медлить... Ну?

Секретарь

Гоф-интендант

Прислал за экипажами его

Величества, а также приказал

Взять вещи императора от нас

И отвезти немедля в Летний дом.

Меншиков

Ага! Ну что ж! немедля собирайте

Пожитки государыни-невесты

И что потребно из моих. И мы

Поедем в Летний.

Секретарь

Есть к тому указ

Вам, ваша светлость, оставаться дома...

Меншиков

Мне дома оставаться?.. Прикажи
Парадный мой кафтан... А сам ступай...

Секретарь выходит.

Мария!

Мария

Здесь я, батюшка.

Меншиков

Садись

И слушай... В жизни я не ведал страха
И вдруг почувал рабский, подлый страх.
Я думал – сила у меня в руках,
А силы нет. И я один. Один!
Все утекли. И страх, который я
Внушал другим, теперь обстал меня.
И уцепиться не за что... Заслуги?
Им грош цена! Народная любовь?
Она, не унавоженная страхом,
Тоща!.. Она обломится, как ветка,
Под тяжестью моей.

Мария

Отдайте все!

Что нужно им от вас? Что нужно вам?
Богатства – не отымут. Славу – тоже.
А власть нужна ли? Разве счастье в ней?

Меншиков

Да, дочка, да! Основа счастья – прочность.
Богатства, титулы – это мишура,

Все мишура, дарованная нам
Одной великой силой – высшей властью.
А в наше время только власть в цене,
Все остальное тленно и непрочно.
Ты нынче князь, фельдмаршал, полубог,
Владелец душ, маетностей, дворцов,
А завтра ты – никто, пустое место.
Вот и держись, как сыч на дереву:
Отпустишь когти – расшибешься оземь!
Возьми меня. Я знатен, я богат.
Почти владею целым государством!
Но в этом-то «почти» загвоздка вся!..
Я – первый из вельмож, но я второй.
А в русском государстве нет вторых –
Есть только первый, а за ним последний.
Я накренился. Если ж упаду,
Падете все. У нас ни жен, ни чад
Не милуют. Не миловал и я...
Хотел сражаться, но оружия нету.
Сдаваться надо. Надобно молить
Прощения, не то загопчут в прах...
Молить же ты пойдешь. Ступай к царю,
Иди! В ногах валяйся! Ты – невеста,
А он – жених. Меж вами нет препон!

М а р и я

Нет, батюшка, прости – я не пойду.

М е н ш и к о в

Пойдешь, коль я велю!

М а р и я

Я не невеста,

А государыня-невеста. Я –
Высочество и вовсе мне негоже
Бежать к величеству!..

М е н ш и к о в

Ах, сучья дочь!

(Дает ей пощечину.)

Вот государыне, а вот невесте!
Нет государыни, невесты нет!
И Меншикова больше нету! Нету!
Есть старый хрен, не нужный никому!
Давай кафтан! Пойду валиться в ноги
Величествам, высочествам, князьям,
Баронам, сукам, кобелям, псарям!..
Наверх, команда! Кораблекрушенье!
Все крысы разбежались с корабля!
Неси кафтан! Негоже капитану
Идти на дно в исподнем!

Входят генерал и два майора.

Г е н е р а л

Ваша светлость,

Дозвольте доложить!

М е н ш и к о в

Давай!

Г е н е р а л

Указом

Его величества объявлен вам
Арест!

Меншиков

Арест! Объявлен мне арест!
И ты, мышьяная возгря, такое
Мне смеешь объявлять! Ты кто таков?
Не я ль тебя из палочек слепил?
И мне – арест? Да я вас всех сейчас!..

*(В ярости кидается на генерала. Двое майоров его удерживают.
Он бьется в их руках. И вдруг неожиданно успокаивается.)*

Что ж, значит – кончилось, не превозмог!
Превозмогли меня!.. Пустите, эй!

Его отпускают.

Аресты надо объявлять по форме.
Подать мне саблю!

Слуга вносит и подает Меншикову саблю.

Смирно!.. Генерал,
Позвольте сдать вам саблю. Эта сабля
Разила шведов, турок и иных,
Преумножая славу русских войск
И утверждая русскую державу.
Теперь она уходит на покой,
Уходит, не запятнана позором...
Прощай!

(Целует саблю и отдает ее майору.)

Меня оставьте одного!

ИНТЕРМЕДИЯ 3

Куча бревен. Забор. Двое мастеровых, молодуха с младенцем

1-й мастеровой

Кого хоронят?

2-й мастеровой

Никого не хоронят.

Князя Меншикова в ссылку гонят...

Лезут на забор.

1-й мастеровой

Гляди-ка, гляди –

Вон он сам впереди!

А добра-то – телег сто или двести!

2-й мастеровой

И сидел бы на месте,

Мало ему было чести,

Мало добра даровано...

1-й мастеровой

Всё воровано.

Первый был в мире злодей.

А теперь вот не глядит на людей –

Стыдно собачьему сыну.

Дай-ка я камень кину!..

2-й мастеровой

Сиди!.. Кто-то ныне над нами будет?

1-й мастеровой

От нас не убудет,
Все обойдется.
Была бы шея – хомут найдется...

2-й мастеровой

А человек был важный,
Авантажный,
Не то что кажный –
И тебе генерал,
И адмирал...

1-й мастеровой

То-то он обмерял да обдирал.
А глядишь – самого ободрали...

Молодуха

Дочек его жалко.

1-й мастеровой

Нужны они тебе, что собаке палка.
Не нам их жалеть,
За них болеть...

2-й мастеровой

Ладно на заборе-то сидеть!
Стоит работа.
(Сходит с забора.)

1-й мастеровой

А мне поглазеть охота.

2-й мастеровой

Глазей.

Пойду к старосте, спрошу гвоздей.

(Уходит.)

Соскучившись, и 1-й мастеровой слезает с забора.

Молодуха

Говорят, теперь повсюду немцев поставят,

По-ихнему молиться заставят,

А то погонят воевать...

1-й мастеровой

Мне наплевать.

Как затеют войну,

Я отсюда мотану,

Погуляю по Дону –

Там чистое поле

Да вольная воля.

Молодуха

Хорошо тебе – один ты на белом свете.

А у меня сети –

Мужик да дети...

1-й мастеровой

Была б ты девкой, вместе бы с тобой утекли,

Чем здесь торчать на мели.

Взял бы тебя, ей-богу!..

Молодуха

Моя дорога

От печи до порога.

Некоторое время сидят молча.

Бабушка померла,
И словно как не жила –
Нету помину, не отыщешь следа.

1-й мастеровой

Да!
Живем – торопимся,
Помрем – не воротимся.
Лягем под образа,
Дохнем три раза –
И лапти кверху. Была бабка – нету бабки.
Пойду-ка поиграю в бабки...
Чего время терять!
Кликни, как будете вечерять.
(Уходит.)

Медленно смеркается.

Молодуха
(поет)

Ай, люлюшки-люлюшки,
Прилетели гулюшки,
Прилетели гулюшки
Под окошко к Ванюшке.
Баю-баю-баюшки,
Баю-баю-баюшки.

СЦЕНА XII

ЭПИЛОГ

Изба в Березове.
Меншиков и мужик.

Меншиков

Здорово, мужик!

Мужик

Здорово, ваша милость.

Меншиков

Ну, как живешь?

Мужик

Живем не торопясь:
Что кругло – то катаем, а что плоско –
Ворочаем.

Меншиков

Ты, вижу, балагур.

Мужик

С присловьем-то оно...

Меншиков

Ну да, ну да.

Ты знаешь, кто я?

Мужик

Слыхивал.

Меншиков

Ну кто?

Мужик

Князь Меншиков.

Меншиков

Вернее – бывший князь.

Мужик

Нам это все равно.

Меншиков

Ну вот, мужик,
Ты, говорят, по плотницкому делу?

Мужик

По плотницкому.

Меншиков

Ну а мне как раз
Помощник нужен. Церкву буду строить.

Мужик

Дай Господи. Без храма туго жить.

Меншиков

Мне здесь не жить, здесь только помереть.
Вот церкву выстрою – тогда помру.

Мужик

Обвыкнешь. Там обвык и тут обвыкнешь.

Меншиков

Нет, поздно мне... Послушай-ка, мужик,
Народ, поди, меня жалеет?

Мужик

Да.

Меншиков

Что говорят?

Мужик

Вознесся высоко,
А с высоты и падать нелегко.

Меншиков

Эх ты, мужик! Вознесся, говоришь!
Я был самым великим государем
Поставлен. Я ему помощник был
Во всех делах. И строил, и ломал,
И воевал. Себя не жалко мне,
А дела жалко мне, Петрова дела!

Мужик

Чего об деле горевать. Оно
Само пойдет, коль сделано толково.
Хотя бы мы с тобой – построим храм,
Потом помрем. А церква устоит.
А если обветшает – сам народ
Ее подправит.

Меншиков

Ишь, как обернул!
А ежели, к примеру, кто придет
И скажет так: вот Божий храм стоит,

Так это, скажет, я его построил,
И с нас с тобой заслугу всю долой?
Тогда что скажешь? Правда где?

Мужик

В народе.

Народ – он знает, кто чего построил.

Меншиков

Чего он знает! Ничего не знает!
Соху, да борону, да щей горшок.
А что еще?

Мужик

Все знает, а молчит.

Смиренен духом.

Меншиков

Ну а я – так нет!

Сам знаю – грешен. Да велик ли грех?
Коль было бы во всех одно смирение,
Все люди жили б розно, как зверье,
И тесто не всходило бы в опарах,
И брага не гуляла бы в ковшах,
И жизнь тогда не в жизнь.

Мужик

Оно конечно.

Да в меру надо солоду – не то
Из бочек днище вышибет.

Меншиков

Ишь ты!

Смиренник! Я таких-то вот знавал!
Гляди-ко у меня!

Мужик
Я, ваша милость,
Для разговору.

Меншиков
Ладно уж, ступай.
Жди – позову.

Мужик
Прощайте, ваша милость.
(Уходит.)

Меншиков
Каков народ недобрый на Руси!
Не любит нас!.. Тогда на переправе
В меня каменья начали метать.
Еще немного – до смерти б убили!..
Ну а за что любить меня? И я
Не часто жаловал, карал почаще.
Вот и смирил меня Господь. Под старость
Мне указал на суету сует.
И я смирился. Пусть узнают все,
Что Меншиков и в славе был велик,
И во смиренье тоже...

За стеной поет Мария:
Заметал снежок
За стежком стежок,
Белу нитку вьет,
Белый саван шьет.

У окна сидит
Красна девица,
Буйный вихрь гудит,
Клонит деревце...

Меншиков слушает. Потом входит Мария.

Меншиков

Голубка милая! Небось устала?

Мария

Нет, батюшка. Здесь дивно на дворе.
Снежок хрустит. И ветер веет вольный.
И бор шумит. Какой здесь славный бор!
А солнышко выглядывает редко,
Но от того оно еще милей.

Меншиков

Да я и сам как будто здоровей.
Гляди, какую избу отмахал, –
Чем не хоромы! Эдак топором
Помашешь целый день и словно кровь
Морозцем этим свежим пропитаешь.
Мне хорошо. Об вас одних скорблю,
За вас на мне вина.

Мария

Чего ж скорбеть?
Вот братец Саша, правда, тут поник.
Он, Саша, суетный – мужчина он.
А мне легко.

Меншиков

Бледна ты, вот беда.
И ветры здесь сырые дуют.

Мария

Ну,
А в Питербурхе и того сырей.

Меншиков

Там ветерок у нас морской, веселый,
Присоленный. А здесь тоска тоской.

Мария

Ой, бабушка, а нам уже пора
С тобой за чтение.

Меншиков

Так давай читать.

Что там?

Мария

Глава про Иова.

Меншиков

Добро.

Сядут за стол. Мария раскрывает книгу.

Мария

«Был человек... был человек в земле
Уц...»

Меншиков

Где она, земля такая?

Мария

«Имя

Его Иов. И был тот человек
Богобоязнен, справедлив, безгрешен.
И удалялся ото зла».

Меншиков

Постой.

Сегодня мысли у меня не те.
Не нынче, а когда-нибудь потом
С тобой мы это место дочитаем...
А нынче я гулять хочу! Гулять!
Покличь-ка слуг! Давай вина на стол!
Где этот офицерик? Как его –
Козлов, Овцын, Баранов?.. Пусть и он
Со мной гуляет!.. Ну, живей, живей!

Мария уходит.

Нет, Меншикова просто не сломаешь,
Не скрутишь в рог бараний! Он мастак
Гулять, сражаться, строить корабли,
Писать указы, наживать казну!
Пускай людишки эти поглядят,
Как Алексашка Меншиков гуляет!..

Молчание.

Э! нет!.. Не надо! Отгулял свое!
Не те здесь игры и не то веселье!..
Мария! Все обратно со стола!..

Долго в молчании глядит в окно.

Ишь ты – пурга! Какой проклятый край!
Одна тоска на десять тысяч верст!
Все топь, да лес – ни люда, ни жилья.
Тюремный замок, только что без стен.
Кричи, вопи, взывай – а кто услышит?

За стеной поет Мария:

У окна сидит
Красна девица,

Буйный вихрь гудит,
Клонит деревце.

Стонет деревце,
Пригибается,
Плачет девица,
Заливается...

М е н ш и к о в

Какая тьма! Какие холода!..
Нет ничего ужаснее паденья!

1959-1963

ЧАСОВОЙ И ЗВЕЗДА

Лучшие годы Давида Самойлова – семидесятые. Не потому, что в предыдущие и последующее десятилетия он писал «хуже». Во-первых, кому что нравится. Во-вторых же, как представить себе нашего поэта без стихов более ранних («Сороковые», «Старик Державин», «Дом-музей», «Шуберт Франц», «Перед снегом», «Названья зим», «Конец Пугачева», «Пестель, поэт и Анна», «Смерть поэта» и т. д.) и более поздних («Голоса за холмами», «За перевалом», «Памяти Антонины», «Играй, Игнат, греми, цимбал!..», «Мне выпало счастье быть русским поэтом», «Беатриче», «Убиение углицкое» и т. п.). И уж конечно, не потому, что семидесятые были мечены знаком внешнего благополучия.

Самойлов прекрасно знал цену этому времени – «тихому», «культурному», «мебельному» (по острой метафоре Владимира Маканина), времени, что позднее получило эпиграмматическую кличку «застой», времени, зажатому в «танковую раму» – Чехословакия в 1968 году, Афганистан в 1979. Постепенно открывающиеся нам теперь дневники и письма поэта полны упоминаниями о политических процессах, высылках и отъездах, цензурной дури, идеологическом зажиме, наступлении угрюмого хамства – и о сопутствующих всему этому «кухонных» интеллигентских разговорах с их странной смесью взвинченного самолюбия и поиска истины, одержимости и скептицизма, тоски по большой правде и тяги к «уютному существованию». Любил ли он это время? Коли судить

по резким (порой – на грани отчаяния) дневниковым заметкам – ненавидел, презирал, задыхался в нем. Но было и другое: поэт искал не только свой путь и свое место в эпохе, но и ее смысл. Он понимал время, а его боль, раздражение, печаль (как, впрочем, и надежда, и память о «большой истории», и умение видеть происходящее при свете вечности) фактурно отражали напряженную драму России семидесятых, неотрывную от всей ее истории.

Тема «понимания» (вовсе не равного полному «оправданию») с декларативной жесткостью заявлена в «Свободном стихе». При этом «историзм» выводится из, так сказать, «природной нормальности»; «понимание» мыслится естественным делом «обычного» человека:

Я рос соответственно времени.
В детстве был ребенком.
В юности юношей.
В зрелости зрелым.

Поэтому в тридцатые годы
я любил тридцатые годы,
в сороковые
любил сороковые.

Конечно, здесь есть изрядная доля иронии. Не случайно, для того чтобы сказать об историческом (и природном) детерминизме, о подчиненности человека истории, Самойлов выбирает «свободный стих» (вообще-то ему не слишком любезный). Конечно, он нарочито педалирует свой рационализм, ибо антитезой «пониманию» мыслится неназванное по имени «отчаяние». Если не хочешь сорваться и сгинуть (сойти с ума или – постоянный интеллигентский сюжет семидесятых – уехать за границу, откуда, по тогдашним понятиям, нет возврата), ищи смысл. Он тебя, скорее всего, не спасет, но хотя бы позволит встретить грядущее с достоинством:

В шестидесятые годы
я понимал шестидесятые годы.
И теперь понимаю,
что происходит
и что произойдет
из того, что происходит.

И знаю, что будет со мной,
когда придет не мое время.
И не страшусь.

Так ли уж все Самойлов «понимал»? Имею в виду, разумеется, не владение «конечной истиной» и не меру соответствия прогнозов поэта дальнейшему ходу российской истории, а лишь «внутреннюю установку». И дневники, и, что особенно важно, стихи свидетельствуют: поиск смысла для Самойлова в чем-то важнее результата. На всякий тезис сыщется антитезис. Надобно, видя «неполноту» того или иного спасительного «рецепта», сохранить собственную свободу, но при этом не превратить и ее в очередной «рецепт», не раствориться во «всеприятии», сохранить на каких-то последних рубежах свое право на неуступчивость и даже категоричность. Над этой неразрешимой «теоремой» билась – сознательно или бессознательно – большая часть русского просвещенного поколения семидесятых.

«Вдруг стало видимо далеко во все концы света» – открылись прежде неведомые интеллектуальные горизонты, обнаружилась возможность альтернативных культурно-поведенческих стратегий, с неизбежностью встали вопросы о будущем «размежевании», о цене «идеологий», способных превращаться в «исторические силы» (со всеми вытекающими отсюда последствиями, российский опыт подсказывал – катастрофическими, кровавыми), об отношениях интеллигенции с «властью» и «народом» (выяснилось, что у этих слов, столько лет бывших пустыми или однозначными,

есть какой-то – не для всех одинаковый – смысл). Процесс шел медленно и подспудно. И внутренне обреченная, но внешне крепкая советская власть была на месте: коммунистическое начальство, вынужденно позволяя некие «разговорчики» (публикации, дискуссии, актуализацию «хорошо забытых» имен и идей), бдительно пресекало «последние выводы». И информации (при некотором «помягчении» цензурной политики, самиздате, тамиздате и «чуждых голосах») все равно было чудовищно мало. И «групповая этика» сохраняла свои права («нельзя же спорить со «своими», хотя они вроде бы уже и «чужие»). «Недоговоренность» (тяжело отозвавшаяся сперва в разборках «третьей эмиграции», а затем в перестроечном неистовстве) задавалась как извне, так и изнутри. Она душила (и ее ненавидели), но она же ощущалась (отчасти бессознательно), как противоядие от нетерпимости, как залог «полноты высказывания», как верный тон, необходимый для того, чтобы выйти из пространства одномерной политики. Хотелось верить, что спокойное слово отчетливее и глубже слова громкого. Отсюда завороченность семидесятых «историей» (как было на самом деле), «культурным наследием» (не «генеральская линия» дозволенных классиков, а широкое поле, сулящее неожиданные встречи), «психологической многомерностью» (у каждого своя правда), Пушкиным, что об эту пору символизировал, прежде всего, широту и универсальность. Отсюда совершенно особое чувство к тем художникам, что умели говорить внятно, но не форсируя голоса, что стремились понять больное, но «свое» время, а стало быть не противопоставляли себя своей аудитории, мысля такую интеллигентной, а не «интеллигентской». В прозе эту тенденцию наиболее отчетливо воплощал Юрий Трифонов, в гуманитарных штудиях – Натан Эйдельман, в поэзии – Давид Самойлов, вкладывавший в шуточные строки «Последних каникул» совсем не шуточный смысл:

Читатель мой – сурок!
Он писем мне не пишет!..
Но, впрочем, пару строк,
В которых правду слышит,
Он знает назубок...

Читатель – «сурок», то есть существо затаившееся; прямых контактов с ним нет, да они не так уж и нужны – достаточно тайной связи, взаимопонимания, что позволяет выделить в стихотворном потоке самую суть. Ироническое самоумаление (всего-то «пара строк»!) не отменяет, но акцентирует особую весомость главного – слышит читатель не что-нибудь, а саму правду. И от нее не отступится. Самойлов не дает каких-либо характеристик своему читателю, и это умолчание кажется значимым. Поэт был накрепко приписан к своему поколению, сам отнюдь не чуждался такой связи (так в шестидесятые счастьем было «Большую повесть поколенья/Шептать, нащупывая звук»), но с годами все более чувствовал себя свободным от круга сверстников. В семидесятые Самойлов оказался нужен не только сверстникам, но и тем, кто был моложе поэта на пятнадцать, двадцать, а то и почти сорок лет. (Свидетельствует об этом и круг имен, что постоянно возникает в дневниках Самойлова, и статьи о нем критиков, входивших в литературу в семидесятых, и появление «учеников», увы, иногда соскальзывавших в эпигонство, и наплыв студентов на вечерах поэта.) Время отвергало авторитарность, но предполагало личный авторитет. Поиски личного способа достойного существования подразумевали и поиск «образца» – свободного и достойного человека с подлинным жизненным (историческим) опытом. Таким опытом мыслились либо лагерь, либо война. Самойлов не сидел, но воевал, и его фронтовой, солдатский, мужской опыт ощущался в самых, казалось бы, «мирных» стихах. А стихи «военные» оказывались необыкновенно нужными, вдруг открывавшими какое-то иное качество в «мебельном», застывшем, безнадежном времени.

Ключом к поэтическому мироощущению зрелого Самойлова видится своего рода диптих из книги «Залив» – «Звезда» и «Часовой» (кстати, соседствующий с цитированной выше апологией понимания – «Свободным стихом»). Формально стихи эти никак не объединены (при том, что Самойлов любил строить мини-циклы), но тесная мотивная связь и соседство в сборнике заставляет воспринимать их в конфликтном единстве. Политические обертоны «Часового» вполне прозрачны – стихотворение посвящено Л. К., за шифрующими литерами легко распознается друг поэта, один из неформальных лидеров интеллектуальной оппозиции (термины «диссидент» или «правозащитник» не кажутся здесь удачными) Лев Копелев – в конце семидесятых власть свирепо и настойчиво выпихивала его из страны. 12 ноября 1980 года Самойлов пишет в дневнике об отъезде Копелева: «Несмотря на обратный билет – навсегда. Несмотря на индульгенцию «Часового» – все же – капитуляция».

Стихи о часовом здесь названы «индульгенцией», то есть отпущением грехов. И это почти так, но только почти. Физическая слабость («Нельзя человека живого/Во всем уподобить кусту») понята и оправдана, но сквозь успокаивающую мягкую интонацию властно пробивается другая, связанная с темой «долга»:

Пусть тело, что стыло и дрогло
Задремлет – и вся недолга,
Забыв о величии долга,
Не помня себя и врага.

Слово «долг» недаром вынесено в рифму, недаром соотнесено с «и вся недолга», недаром как бы расплыто в звуковой плоти строфы. О «долге» может (и даже должно) забыть только тело. И только на время – за роздыхом в землянке неминуемо следует возвращение на пост. Об этом «Звезда», не следующая за «Часовым», а предшествующая ему. «Звезда» – норма, «Часовой» – уточнение к норме. В «Часовом» можно не говорить о возвращении на

пост не только потому, что всякому читателю ясны военные реалии, но и потому, что этот мотив отчетливо проговорен в «Звезде».

Когда дойдет звезда до ветки,
Когда вернутся из разведки
И в маскхалатах пробегут
На лыжах в тыл, придет мне смена,
Настанет, как обыкновенно,
Блаженный сон на сто минут.

Но я еще вернусь к рассвету
На пост. Звезду увижу эту.
Она как свет в окне жилья.
Не знаю, кто она такая,
Зачем она стоит, сверкая,
И на меня покой лия.

Если «Часовой» выдержан в заземленно бытовой (почти «теркинской») тональности, то стилистический рисунок «Звезды» куда сложнее: «сон на сто минут», но «блаженный»; слово «против» в строке «Против меня передовая» обретает странно архаическое ударение; на высокую поэтизацию работает и опять-таки «архаически» окрашенный деепричастный оборот концовки – «И на меня покой лия». Мягкие стилистические сдвиги «в сторону старины» превращают фронтовой эпизод в своего рода мистерию служения; заглавная неведомая («Я звездной карты не знаток») звезда становится символом, рождающим, как символу и положено, многомерные ассоциации. Слово «долг» не произнесено, но вспоминается оно не только благодаря сюжету: особая притягательность звезды заставляет вспомнить формулу Канта, где «звездное небо над нами» неотделимо от «нравственного закона внутри нас». С другой стороны, соседство мотивов «звезды» и «молодого счастья» («И я солдат двадцатилетний, / счастливый тем, что я есть я»)

неизбежно ассоциируется с первым пушкинским посланием к Чаадаеву. Позднее вокруг его главных строчек вырастет стихотворение «Пушкин по радио»:

Вокруг
Сновали бабы и солдаты,
Шел торг военный, небогатый,
И вшивый клокотал майдан.
Гремели на путях составы.
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман».

Подобно неведомой звезде, что глядит на «болота Волховского фронта» или мандельштамовской «музыке над нами» («Концерт на вокзале» прямо отзывается в «Пушкине по радио», открывающемся строкой «Возле разбитого вокзала»), пушкинские стихи о «звезде пленительного счастья», о единстве молодости, любви, долга и веры в «вольность» придают высший смысл бытию юного солдата. Понятно, что здесь Самойлов напоминает о своем, должно быть, самом известном, «знаковом» стихотворении:

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

«Это все очнулось» и в «Звезде» – «Пушкин по радио» делает более зримой вроде бы «далековатую связь этого стихотворения с «Сороковыми». В военной молодости «долг» и «счастье» сливаются, поэтому «возвращение к звезде» не отменяет блаженства передышки. Заметим, что как в «Сороковых», так и в «Пушкине по радио» возникает мотив случайной, едва ли не минутной, заведо-

мо не предполагающей продолжения, но счастливой любви. В обоих случаях чувство это подается с иронией, в ранних стихах – мягкой, в поздних – с сильной горечью, но ирония, как и реальный ужас войны, не могут отменить доминирующей темы молодого счастья:

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
(«Сороковые»)

С двумя девчонками шальными
Я познакомился. И с ними
Готов был завести роман.
Смеялись юные шалавы...
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман».
(«Пушкин по радио»)

Любовь коротка, как «блаженный сон на сто минут». «Все на свете понимаешь», если помнишь о «звезде». Холод поста нужен (именно что нужен!) не меньше, чем тепло землянки. Так «индугенция» оказывается далеко не полной – отъезд из СССР это не передышка, а капитуляция. В подлом, тихо душасщем мире семидесятых нет военной ясности, но ее надобно ощутить, как надобно найти в себе хоть частицу того солдата, что верил в звезду и оказался «декабристом без декабря».

Самойлов одновременно резко разводит войну и современность (тут уместно процитировать роман «Доктор Живаго», очень много значивший для нашего поэта: «И когда разгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы») и вносит «военные» критерии в оценку «как бы мирной» жизни. Да и жизни вообще.

Дело не сводится к прямой апологии мужества – одно из первых опубликованных стихотворений Самойлова посвящено его фронтовому другу Семену Андреевичу, который «один остался у пулемета». На протяжении всего творческого пути Самойлова в его стихах и поэмах возникают контрастирующие темы «отпуска» и «возвращения». Отпуск (передышка, простой) – это полное счастье. Возвращение чревато весьма серьезными проблемами. Видимо потому, что по-настоящему никуда вернуться нельзя, а война лишь подло меняет обличия, но не может кончиться.

Хорошо во временном пристанище. К примеру, в гостях у старика и старухи («Ночлег»):

Я спал, куда птицы пели,
Воображенье распалив.
Потом рассвет струился в щели,
А я был молод и счастлив.

Здесь война не названа, но сама ситуация, отсылающая к «Василию Теркину» (старик и старуха принимают молодого захожего человека), а также привычный биографический контекст заставляет прозревать в «молодом и счастливом» герое солдата. Вполне отчетливо мотив временного счастливого приюта звучит в двух стихотворениях о «любви на марше». За короткой любовью (не важно, поцелуй ли это в колдовскую ночь или несколькодневный роман, сопровождаемый музыкой Шопена) следует уход навсегда – в кровавое месиво:

Только слово: «До свиданья!» –
С легкой грустью произнес.
И короткое рыданье
С легкой грустью перенес.

И пошел, куда не зная,
С автоматом у плеча,
«Белоруссия родная!..» –
Громким голосом крича.
(«Полночь под Иван-Купала...»)

Я покинул этот город в полночь,
Собрался и отвалил бесшумно.
Спали пан Станислав Адамович
И Марыля Адамовичувна.

Перед Седлицем едва серело,
И не знал я, что еще увижу
Ребра искаленной сирены
И за Вислой снег, от крови рыжий.
(«Из стихов о Польше. 1944-й»)

Уход безогляден, грусть прощания легка (неслучайно в «Полночи...» слова с «легкой грустью» повторяются дважды), меж тем как на героинях лежит печать обреченности. В первом стихотворении этот мотив введен намеком (оставленная возлюбленная лишь «кроткая» и «некрасивая»), во втором – вполне определенно («чахоточная панна», «беспомощная и гордая», сливается с самой – вечно насилуемой – Польшей; неслучайно в финале возникает «искаленная сирена»). Такая – короткая, дарящая высшую радость и почти мгновенно исчезающая – любовь может вспыхивать и вне военного контекста, хотя у читателя возникает желание его примыслить:

Пять счастливых дней
Мы провели с Антониной.
Мы провели с Антониной
Пять счастливых дней.
Вскоре она умерла
В городе Екабпилсе,
Где мы с ней провели
Пять счастливых дней.
(«Памяти Антонины»)

Не только солдатам даны короткое счастье, неизбежность ухoda и – как в этих стихах – тяжкий груз вины. Смерть Антонины формально никак не связана с «пятью счастливыми днями», но воспринимается именно как расплата. Несмотря на то, что поэт,

явно помня о всех иных спасительных «постоях», ощущает не только раскаяние, но и загадочную надежду:

Может, простится мне,
Грешной моей душе,
За то, что пять дней
Мы провели с Антониной.
И были совсем счастливы.
И больше уже не видались.

В горчайшей строфе сквозит чуть приметная двусмыслица: «простится» то ли вопреки сути события (мгновенная любовь, расставание навсегда, смерть героини), то ли как раз благодаря ему – «были совсем счастливы». Счастье не знает длительности – в этом отношении любовь похожа на творчество. Они не знают законов, как не ведает их самойловский Моцарт:

Да! Расплачиваться надо
На миру
За веселье и отраду
На пиру,

За вино и за ошибки –
Дочиста!
Но зато дуэт для скрипки
И альты!
(«Дуэт для скрипки и альты»)

Но законы-то существуют – расплачиваться приходится. Ты можешь передохнуть – в тепле землянки, в нахлынувшем чувстве, в творческом прорыве – все равно тебя ждет пост. И даже не важно, насколько состоялось твое счастье. Не всякому выпадает участь Моцарта. Потому так ценит Самойлов творческий дар, потому так восхищается он теми, кто благословлен им свыше и умеет отдаться ему вполне: будь то Моцарт, «Шуберт Франц» или дирижирующий соловьями Ильдефонс-Константы Галчинский. Но

ведь и полнота любви («пять счастливых дней») тоже выпадает не каждому. Герой поэмы «Снегопад» в самый ответственный момент уснул, женщина, что его приютила, обогрела, поцеловала в лоб, утром отправилась по делам, оставив записку («Если захочешь, оставайся»), «И молодой солдат в печали, / Решал – уйти иль не уйти». И не важно, что решил (когда именно ушел). Счастье все равно было. Как и расставание с ним.

Да и меня в иное время
Печаль внезапно проняла
О том, что женщина ушла
И не появится в поэме.
Хотел бы я ее вернуть...

Не дано – только в памяти, только в стихах, но там уж – навсегда:

Я постарел, а ты все та же.
И ты в любом моем пейзаже –
Свет неба или свет воды.
И нет тебя, и всюду ты.

Это «ты» невозможно жестко прикрепить ни к героине «Снегопада», ни к реальному адресату цитированных строк. Это вечное «ты», «мимолетное виденье», которое не удержишь и не забудешь. А посещает оно того, «кто помнит: стужа, и окоп, / И ветер в бок, и пуля в лоб». Связь светоносного чувства и вроде бы мешающего ему долга манифестируется в поэме с легкой улыбкой: «Легко влюбились мы когда-то, / Вернувшись в тыл с передовой», но присутствует не только в этой авторской ремарке. Недаром Самойлов восклицает: «Всего важней здесь снегопад». Именно под снегом и из-за снега (сбой трамвайного движения) происходит встреча героев. Москва видится не только тыловым городом, но и лесом, а тут ассоциации могут вести как к недавнему опыту солдата (хотя, конечно, трамвайная остановка, где он простоял битый час, это не боевой пост), так и к сказке или главному русскому зимне-сказочному тексту – поэме Некрасова «Мороз, Красный нос».

«И вот солдат, как в белой чаше,/Полузасыпанный стоит/
И очарованный глядит». Так стояла в лесу некрасовская Дарья, на свидание с которой пришел воевода Мороз. Пришел и подарил ей тепло («И снится ей жаркое лето»), счастье любви (соединение с умершим мужем) и вечный покой, неотделимый от волшебной песни. Не во сне ли под снегопадом пригрезилось самойловскому солдату его короткое счастье? И что было бы, усни он еще крепче? И почему для того, чтобы ощутить тепло, так нужен холод? И почему этот холод не только страшит, но и притягивает, не только губит, но и последним счастьем одаривает? И как тут не вспомнить не только часового, получившего заслуженный роздых, но и звезду, которую хочет увидеть вновь двадцатилетний солдат. Мотивы, бликуя смысловыми оттенками и вступая в неподвиженные контакты, создают не жесткую систему, но колеблющееся символическое поле. Но сколь бы зыбко оно ни было, мы чувствуем: отпуск или постой, чужой уют, короткое (или только наметившееся) чувство, что не намерено конфликтовать с долгом, – это счастье. В какой-то момент кажется – единственно доступное. А другого и не нужно.

Что надобно солдату?
Натопленную хату,
Картошки котелок,
За печкой уголок.

И утром этот рай
Навеки покидая,
Услышать, как ему
Хозяйка молодая
Прошепчет, провожая:
– Солдат, не умирай!

Это из «Голосов за холмами» (начало 1980-х), но чувствовать так Самойлов стал много раньше. Уже герой поэмы «Ближние страны» (1954–1959) записывает в альбом немецкой красотки:

«Фройляйн Инге! Любите солдат,/Всех, кто будет у вас на постое». Всех – вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали. Всех – кто знает, что в короткой любви есть привкус подкупа («Инге нравится русская водка <...> Тетке нравится русская водка/И мясная тушенка в придачу»). Всех – для кого комнатенка в Лейпциге никогда не станет домом. Домом этот эквивалент рая будет для жениха фройляйн Инге – «К ней он шествует в трепете сладком/По Германии пешим порядком». И его прибытие на официальную помолвку (в присутствии русского солдата – любовника невесты; что ж: «Инге хочется личного счастья,/Ей милей ведевить, а не драма») – это чуть ли не единственный у Самойлова случай «счастливого возвращения домой». Конечно, в «Ближних странах» есть финальная главка «Рубежи»: воинский эшелон прибывает в Москву, во всех вагонах поют «Ты самая любимая», но обрывается текст не дома, а на подступах к нему: «Вылезай! Белорусский вокзал!» А дальше что?

Это невоевавшему «жениху из Потсдама», пародии на истинного странствующего, все равно, что происходило с его Инге. У солдат все иначе. В «Чайной» веселый гром свадьбы не отменяет боли от пропавшей любви – при этом нет счастья ни бедовой Варваре, что променяла фронтовика на тылового начальничка, ни самому этому начальничку. Чайная (еще один придорожный приют) одаривает временным теплом, но не заменяет отсутствующего дома. Ужасом веет от баллады «Солдат и Марта». Вариация классических стихов А. К. Толстого становится их отрицанием. Оставив трогательный цитатный зачин, Самойлов меняет метр, подчеркивая, насколько все стало иначе: у старого поэта речь шла об обретении навек, у автора печальной вариации (при всей ее умиротворенности – время почти затянуло старые раны) о роковом – после победном – расставании:

– Да, помню, как черной вдовою
Брела среди пасмурных улиц.

Я вас отпустила на волю,
Но вы же ко мне не вернулись...

Но вернуться нельзя не только к прежней любви (хотя «нежные трубы оркестра» играют довоенный марш) – невозможно просто возвращение домой. Об этом самоейловский «Блудный сын» – по-настоящему страшная баллада (недаром «время было накануне святок»), где отец не узнает вернувшегося с войны сына и едва его не убивает. Солдат, чудом спасшись, сделав вид, что ничего не случилось, так и не открывшись отцу, уходит – в никуда. Вождеденый и проклятый дом-оборотень исчезает:

С той межи, где мерзли две калеки,
Дом еще виднелся вдалеке.
И пошел солдат к одноколейке –
Восемь верст не страшно налегке.

Страшно другое. Сама попытка возвращения. И страх этот – давний и устойчивый. Потому Самойлов, автор всем памятных проникновенных стихов о детстве («Я – маленький, горло в ангине...», «Выезд») и мудрых воспоминаний о предвоенной эпохе мог воскликнуть:

Я б вас позвал с собой в мой старый дом...
(Шарманщики, петрушка – что за чудо!)
Но как припомню долгий путь оттуда –
Не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдем!...
(«Двор моего детства»)

Бог знает, чем теперь этот дом обернется. Уж лучше легкое богебно-цыганское кочевье, странное бытие отставника, перманентный пир – пусть бедный, но кипящий артистизмом и вольностью, попытка остановить мгновение «постоя», жить так, словно не существует угрюмая советская реальность. Этот короткий праздник свободы и его неизбежный конец был описан Самойловым на самом исходе семидесятых – в игровой и шутовой по внешне-

му рисунку (остроты, каламбуры, почти водевильный сюжет, эпиграмматические характеристики знакомцев), но глубинно горькой поэме «Юлий Кломпус». Праздник рушится (умирающий легкий герой разгоняет друзей и подруг), но на смену ему приходит не ожидаемая трагедия («Мы постояли. Ветер снежный/Пел свой задумчивый хорал./А где-то там, во тьме безбрежной,/Наш славный Юлий умирал»), а тоскливая пошлость:

Но он не умер.

ЭПИЛОГ

Вот этой повести итог.

Поднявшись по выздоровленьи,
Он видеть нас не пожелал...
Окончились ночные бденья.
Я скоро это осознал.

Удачно выдержавши конкурс,
Стал где-то кем-то Юлий Кломпус.

«Мирное время» довершает дело войны – не убивает прямо, но рассеивает великое поколение. Неопределенные местоимения ироничной поэмы странно перекликаются с неопределенными же, нарочито ускользающими от точности, а потому двусмысленными характеристиками уцелевших друзей-поэтов:

Третий стал, чем быть назначен,
А четвертый – тем, чем стал.

(«Пятеро»)

В стихах этих, прибавляющих дополнительную горечь к своему и без того горькому раннему «прообразу» («Перебирая наши даты...»), все же больше теплоты, чем в последней аттестации Кломпуса. Но ведь и Кломпуса жалко, ведь и его – вкупе с ушедшими пирами – не изъять из жизни (памяти) поэта. И не Кломпусово ли открытие, превратившее веселого и влюбчивого поэта в похвалива-

емого профессором-рогоносцем «кого-то», проступает в заключительных строках поэмы:

Послевоенная эпоха,
Быть может, нам была трудней,
Чем раскаленная опока
Смертельных и победных дней...

После обязанностей права
Хотели мы. Но – мысли здраво –
Обязанности выше прав.

Скажите, разве я не прав?

Все не так, но в то же время и «так». «Пушкинианская» тавтологическая рифма придает делу шуточный оборот, память о «пирах» и бесшабашной легкости не оставляет поэта, а обязанности все-таки выше прав. «Нельзя не сменять часового», но «я еще вернусь к рассвету». Любовь к цыганщине – высшему выражению воли и вольности – сохранилась у Самойлова навсегда – отсюда мощный цыганский цикл в «Голосах за холмами». Но в этом самом цикле мечта о поэтическом побеге накрепко сцеплена с общей тоской человеческого бытия. Да, «жаль, что меня не украли», да, «пока луна не погасла, / На свете будет цыганство», но только:

В поэзии нашей великой
Есть цыганская нота.
И звучит эта нота,
Когда уже жить неохота.

«Странно-туманно.
Расстались неожиданно.
На сердце рана,
И жизнь не желанна».
(«Цыгане»)

Самойлов слишком хорошо знал Пушкина, чтобы забыть, как кончается его поэма о «вольной луне» и «мучительных снах»:

«И всюду страсти роковые, /И от судеб защиты нет». Даже уподобившись цыгану, даже втянув в душу и стих всю боль и сласть хмельной скрипки, даже полностью отдавшись стихии игры (будь то чужая музыка или собственное стихотворство), не укроешься ни от века, ни от памяти, ни от себя:

Со мной играли дождь и снег,
Фугас и самолет.
Со мной играл Нечеловек
И сорок первый год.
.....
Ведь здесь последний мой привал,
Где ты тогда играл
И где я Анну целовал
И слезы проливал.

От свирепости века и собственных страстей невольные странствия не спасают. Страсти всевластны. Рисуя впечатляющую картину «мужицкой идиллии» (существующую так, будто бы никакой советской власти нет и в помине), Самойлов наделяет ее могучих и красивых героев маркированной фамилией – Цыгановы – и начинает со сцены усмирения коня. Конь (символ красоты, свободы, силы) навещает Цыганова перед смертью:

Приснился Орлик. И его купанье.
И круп коня, и грива, и дыханье,
И фырганье – все было полыханье.
Копь вынесся на берег и в огонь
Зари помчался, вырвавшись из рук
Хозяина. Навстречу два огня
Друг к другу мчались – солнца и коня.

Конь уводит хозяина за пределы земного бытия, и этот миг торжественно прекрасен, но не избавляет Цыганова от тяжелых предсмертных раздумий. Его многочисленные «Зачем?» тревожно освещают все предшествующее содержание фрагментарного эпоса. Была свободная и ясная жизнь – труд, семья, дружба, дети.

Был по-державински пышный и торжественный пир всего бытия. Была полная гармония с окружающим миром (не случайно «социальный контекст» поэтом убран, а психологические коллизии – вроде странной задумчивости хозяйки в главе «Гость у Цыгановых – притушены»). И все это теряет какое-либо значение перед лицом неминуемой смерти, абсолютной пустоты и свободы, куда устремляется некогда смиренный конь. И куда неудержимо несет тебя, принявшего и возлюбившего весь этот мир, прожившего жизнь красиво, достойно и спокойно, без жалоб и «проклятых вопросов» (они приходят лишь в последние часы). Величественная патриархальная идиллия, разом напоминающая о позднем Державине и Некрасове обречена концу так же, как эфемерное бытие вечного путешественника и героя любовника. В том же 1976 году, когда был завершен цыгановский эпос, Самойлов написал «Старого Дон-Жуана». Легкомысленная отповедь, с которой постаревший, облезлый, всеми брошенный Дон-Жуан обращается к злорадному вестнику смерти, странным образом перекликается с последними раздумьями естественно праведного (дом выстроил, сына вырастил) мужика, награжденного романтической фамилией:

Ч е р е п. Смерть принять – не шлюху
Обнимать. А ты, презренный,
Ничего не отдал духу,
Все ты отдал жизни тленной.
Д о н – Ж у а н. Я жизни тленной
Отдал все. И сей блаженный
Сон мне будет легче пуху.
Ни о чем жалеть не стоит,
Ни о чем не стоит помнить...

Дон-Жуан, может, ни о чем и не жалеет, но помнит-то (и с наслаждением) многое. Он любит «тленную жизнь», как любит ее неожиданно зафилософствовавший Цыганов:

«Неужто только ради красоты

Живет за поколеньем поколенье –
И лишь она не поддается тленью?
И лишь она бессмысленно играет
В беспечных проявленьях естества?..»

Приметим здесь неожиданные «артистические» мотивы – Цыганов мыслит не о продолжении рода, не об исполненном назначении, не о том, что, пользуясь речением из «Старого Дон-Жуана», «за углом, за поворотом», а о свободной в своей бессмысленности красоте. Той красоте, что сопутствует его кончине и не сулит никаких надежд:

И разлился по белу свету свет.
Ему глаза закрыла Цыганова,
А после села возле Цыганова
И прошептала:
– Жалко, Бога нет.

Жалко, но нет. А есть слепящий свет, что не знает смерти, и «тьма без времени и воли». Родство во всем противоположных Цыганова и Дон-Жуана лишь выявляется в смертный миг – существовало оно раньше и основывалось на безоглядном приятии жизни. Приземленно-крестьянском или артистически-вольном. Оба героя близки Самойлову, но не с одним из них он не сливается. Человек, обретающийся в реальной русской истории XX века, может, как сказано в «Ночном госте», «дойти до буколик» (высоко оценить «простую жизнь»), но не может не видеть, каков окружающий мир на деле, не может превратиться в крестьянина. И не только потому, что это будет похоже на бегство или капитуляцию, но и потому, что мысли о смерти и высшем смысле существования неотступно присутствуют в его сознании. И примерно по тем же причинам не может он идти стезей Дон-Жуана, легкость которого вплотную подходит к цинизму.

Необходим балланс «долга» (у Цыганова место долга занимает

вита́льный инстинкт и бессознательная включенность в традицию) и «роздыха». Нужен приют, из которого ты в назначенный срок выйдешь на пост. Почти маятниковый ритм «труда» и «пира», «служения» и «загула» организует поэтический мир Самойлова. И ни одна из составляющих не может одолеть другую. Это напряженная борьба, хотя поэт и стремился ее гармонизировать, примирить противоречия. Медиатором должно было служить само творчество (напомним, что художник, по Самойлову, не лучше, но счастливей других людей). Формула (поэтическая и задающая жизненную программу) была найдена уже в ранние шестидесятые:

И за полночь пиши, и спи за полдень,
И будь счастлив, и бормочи во сне!
Благодаренье Богу – ты свободен –
В России, в Болдине, в карантине...
(«Болдинская осень»)

Но в том-то и дело, что Болдино – это временный приют, это место, куда можно в назначенный час удрать. И не только от светской черни и житейских неурядиц, памфлетеров и приятелей, хандры и столичной безалаберности, но и от «долга». (Пушкин многожды вздыхал о деревне, но оставался в «свинском Петербурге». И не только из-за страсти Натальи Николаевны к балам. Но, к примеру, из-за архивов, без которых нельзя было исполнить назначение историка.)

Самойловским Болдино была сперва дача в Опалихе, затем – с 1976 и до смерти в 1990 году – дом в Пярну. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» оказался на получужой стороне – в Эстонии. Конечно, не эмиграция, откуда не возвращаются, но и не совсем Россия. Поэт очень остро чувствовал эту двойственность – «свой дом» обретал знакомые черты временного теплого пристанища. Российская (особенно столичная) интеллигенция вообще любила будущие независимые страны Балтии. Море, сосны, относительная чистота, взбитые сливки, комфортабельные бары, чу-

жая речь – почти свобода. На один-два каникулярных месяца. Здесь было хорошо гостить – так и гостил до поры до времени Самойлов.

Хорошо уехать в Таллин,
Что уже снежком завален
.....
Мне ведь много не надо,
Мой приезд почти бесцелен:
Побродить по ресторанам,
Постоять под снегопадом
И увидеть Яна с Элен,
Да, увидеть Элен с Яном.

Но эта прогулка в чужой рай подразумевает жесткое завершение, категоричность которого не колеблет мелодичная мягкость, блаженная бессмыслица милой (как бы шутливой) «Таллинской песенки»:

А однажды утром рано
Вновь отъехать от перрона
Прямо в сторону бурана,
Где уже не будет Элен,
Где уже не будет Яна.
Да, ни Элен и ни Яна...

Зимний Таллин, конечно, удивительно красив, но его белый покров (как позднее в «Снегопаде»), кроме прочего, напоминает о ждущей загостившегося отпускника «стороне бурана». Где не будет не только улыбающихся друзей, но и всей освобождающей каникулярной прелести. Перебравшись в Пярну, Самойлов словно бы захотел остановить мгновенье и прямо сказал об этом в программном стихотворении «Залив»:

Я сделал свой выбор. Я выбрал залив,
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов.

.....

Я сделал свой выбор. И стал я тяжел.
И здесь я залег словно каменный мол.
И слушаю голос залива
В предчувствии дивного дива.

Но остановленное мгновенье – это смерть. А жизнь в Пярну была жизнью. Как и жизнь в неизменно манящей стороне бурана. Уютный, маленький, полуигрушечный городок поэт сделает сценой для самой страшной и не по-самойловски надрывной поэмы «Сон о Ганнибале»: Пернов приютил опального царского арапа, но здесь-то и настигла его настоящая беда, здесь-то и потерял он сперва покой, а потом и человечность. Именно в Пярну Самойлов мучительно размышлял о предсмертной трагедии Пушкина и власти страстей над «всего достигшими», «поздними» классиками:

Что остается? Поздний Тютчев?
Казалось, жизнь ложится в масть.
Уже спокоен и невлюбчив.
И вдруг опять – стихи и страсть.

Именно в Пярну он все больше думал о смерти, о людской безжалостности, о могуществе тайных сил природы и судьбы. Здесь он сознательно стал жертвовать своей фирменной «гармонией». Здесь были написаны глубоко трагические, словно судорожные, рвущиеся неведомо куда «Пярнуские элегии»:

Снежная скатерть.
Мука без края.
Музыка насмерть.
Вьюга ночная.

«Музыка губит» – это о любимом «маленьком» Шуберте. Том самом, что «как поется, так поет». Идиллия не выстраивалась, хотя в сознании читательском (и тем более – литературском) Самой-

лов все более обретал черты мудреца-патриарха, все познавшего ироничного отшельника, снисходительного и величественного классика с милыми слабостями. Идиллия не могла выстроиться, ибо Самойлов помнил про свой «пост» – там, в стороне бурана.

Я по снегу уже доберусь
Из приморского края на Русь,
Где морозы звончей и синей.
И опять, может быть, научусь
Не бояться свободы своей.

(«Тот же вялый балтийский пейзаж...»)

Оставаясь на земле (в сколь угодно ласковом приюте), не отри-нешь земного. Звезда, на которую смотрит солдат, влюбленный, поэт, своим чарующим светом не только придает им мужество, а здешней жизни – смысл, но и обещает покой – вне времени и во-ли. Может быть, это таинственное обещание и позволяет держаться, возвращаться из отпуска, переносить тяготы, одним словом – жить. И, может быть, наши временные пристанища, наши отпуска и каникулы, наши светлые мгновенья предвещают тот – последний и до конца освобождающий – звездный покой. Пушкин в Болдине был счастлив, но после «Болдинской осени» Самойлов написал «Святогорский монастырь»: «Мертвым быть ему легко, / Ибо жить нигде не надо». А еще раньше вздохнул: «От великих наших печалей, / Звезды манят нас с небосклона». Впрочем, не только от печалей – от веселий тоже («Захотелось мудрым землянам»).

Самойлов знал цену уютному теплу и крепкому холоду (он не вполне шутил, замечая «Я люблю морозы наши. / Только шубу за-пасти»), дружеской пирушке и сосредоточенному одиночеству, каникулярному загулу и верности долгу, упрямому труду и случайной удаче, бешеной страсти и фривольным забавам. Он умел чувствовать прелесть противоположных состояний, веря, что, куда человек жив и человечен, все ему на потребу. Он любил мироздание, упорно искал смысл в истории, оправдывал конечность индивиду-

ального бытия природной гармонией и совершенством творений человеческого гения. Он понимал, что такое дар, и одно из самых горьких своих стихотворений, ни мало не покрывив душой, начал словами: «Мне выпало счастье быть русским поэтом». Эта правда не отменяла иной:

Мне выпало все. И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры в походе великом.

Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.

Можно долго спорить о том, только ли на Руси лучше быть «никем» («никому» и терять нечего). Наверно, не только. Но Самойлов жил Россией и свою глобальную усталость, свою боль от идущей вкривь и вкось жизни, свой гнев на себя самого (не исполнил долга, не выдержал великого похода) он естественно связывал с судьбой и сутью отечества. Усталость – очень русское понятие. В позднюю советскую пору – особенно актуальное. Если нет сил стоять на посту, а резервы веселого роздыха исчерпаны, нужен последний покой. Но не в кромешной тьме, куда уходит Дон-Жуан, и не в сияющей пустоте, где растворяется Цыганов, а в каком-то «четвертом измеренье», улучшенном подобии обжитой землянки, натопленной хаты, загородного дома – только без возвращений, без тревоги по оставленному, без страсти. Надо ли напоминать, что едва ли не самой читаемой книгой семидесятых годов был роман «Мастер и Маргарита» с его апологией запредельного безмолвного покоя, избавляющего и от земной суеты, и от творческого служения. Такой счастливой участью Самойлов одарил двух государей – Александра I в поэме «Струфиан» и императора Максимилиана в имитации чешской баллады. Выбор Максимилиана свободен – «добрый маленький старик» жил праведно (иначе почему же Господь готов избавить его от смерти) и сам предпочел отправиться в дорогу «вверх по лунному лучу». (Как тут не припомнить Бул-

гакова!) Максимилиана не касается царящая в стране суета, да и видится она в общем-то игрушечной. Александр «Струфиана» погружен в тяжелые раздумья о политике, будущем страны, недостойных наследниках и набравших силу бунтовщиках, он чувствует собственную вину, не знает, что делать, и мечтает об уходе, на который не может решиться (легенду о Федоре Кузьмиче в семидесятые не смаковал только ленивый – Самойлов ее элегантно высмеял). Тут-то и приходит избавление – не за что-то, а просто так. Прилетели пришельцы и случайно уволокли в поднебесье венценосного меланхолика – просто уставшего человека.

Конечно, в «трактате Кузьмича» Самойлов пародировал солженицынское «Письмо вождям» (только подсмеивался над якобы патриархально-утопическим проектом автор одновременно писавшихся «Цыгановых»). Конечно, Самойлов с симпатией рисует «лейб-гвардии бунтовщиков» (только ведь знает, чем их заваруха кончится). Но поэма все же не о них – не о тех, кто так или иначе остался на посту (занятно, что часовой, видевший приземление странного объекта, умер на месте), а о том, кто миготом от всего избавился. Ушел в бессрочный отпуск. И пусть дует сильный ветер в Таганроге, пусть рвется вперед история, пусть остаются нерешенными неразрешимые вопросы:

А неопознанный предмет,
Летел себе среди комет.

Самойлов умер в одночасье. На пороге совсем новых времен, наступление которых его серьезно тревожило. После его смерти некоторое время шли разговоры об организации в Пярну дома-музея. Не получилось. Жаль, конечно. Но ведь само собой на ум приходит: «Заходите, пожалуйста. Это/Стол поэта. Кушетка поэта». Ну и так далее. Родился в 1920 году в московской интеллигентной семье. Ранние гуманитарные интересы и склонность к стихам. Учился в ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. Цита-

та из «Сороковых», цитата из «Старика Державина», цитата из «Перебирая наши даты». Послевоенные трудности. Опыт переводчика. Знакомство с Ахматовой. Поздно напечатанные и не вполне расслышанные первые книги (еще несколько цитат). Широта культуры. Интерес к истории. Классические традиции. Обаятельный юмор. Оппозиционный подтекст. Подписанство. Неприятности. Дружеские связи. Триумф «Волны и камня». Любовь к Эстонии. Переезд в Пярну. Выступления в школах. Цитата из «Сна о Ганнибале» или элегий. Дети. «Беатриче». Мудрость, тепло, человечность. Все правильно. «Смерть поэта – последний раздел./Не толпитесь перед гардеробом...»

Остается поэзия. И звезда.

Не знаю, кто она такая,
Зачем она стоит, сверкая
И на меня покой лия.

Андрей Немзер

Содержание

РАННИЕ СТИХИ (1937–1958)

Плотники	7
Пастух в Чувашии	8
Охота на мамонта	9
Софья Палеолог	11
Прощание	12
Слово о Богородице и русских солдатах	13
«Баян спасает от тоски...»	15
В шесть часов вечера после войны	15
Стихи о солдатской любви	17
Дом у дороги	19
Дом на Седлецком шоссе	20
Муза	21
Рубеж	21
Атака	22
Бандитка	25
Германия	26
«Зачем кичимся мы и спорим...»	28
«Ты не торопи меня, не трогай...»	29
Желание	29
Марине Цветаевой	33
На Оби	36
Двое	37
Осень сорок первого	38
Семен Андреич	39
«Жаль мне тех, кто умирает дома...»	41
Тревога	42

Телеграфные столбы	43
Начало зимних дней	44
Апрель	44
Первый гром	45
Мост	45
«Город зимний, город дивный...»	45
Снежный лифт	46
«И так бывает – в день дождливый...»	47
Ночлег	47
Гончар	49
«Извечно покорны слепому труду...»	50
Крылья холопа	51
Стихи о царе Иване	
Мечта о море	52
Иван и холоп	53
Томление Курбского	55
Смерть Ивана	57
Дует ветер	59
«Я наконец услышал море...»	59
Цирк	60
Золушка	61
Сказка	63
«О, много ли надо земли...»	64
Элегия	65
Железная скворешня	67
<i>ВТОРОЙ ПЕРЕВАЛ (1958–1963)</i>	
Сороковые	71
Старик Державин	72
«Слава богу! Слава богу...»	73
Перебирая наши даты	74
Деревянный вагон	75
«Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал...»	76
Осень	77
Атлант	77
«Захотелось мудрым землянам...»	78
Вдохновенье	79
Слова	80

«Дождь пришел в городские кварталы...»	80
Соловиная улица	81
Старый город	82
Дворик Мицкевича	83
Над Невой	84
«Подставь ладонь под снегопад...»	84
Из детства	85
Карусель	86
Старик	87
Аленушка	88
Черный тополь	89
«Странно стариться...»	90
Ночная гроза	91
Красная осень	91
Таланты	92
Болдинская осень	93
Дом-музей	94
Белые стихи (<i>Рембо в Париже</i>)	96
Бертольд Шварц (<i>Монолог</i>)	97
Шуберт Франц	99
«Хочется мирного мира...»	100
«И снова будут дробить суставы...»	100
Старая Вильна	101

ДНИ (1963–1970)

«Давай поедem в город...»	105
Перед снегом	106
«Вода моя! Где тайники твои...»	107
Память	108
Фейерверк	108
Красота	110
«Расставанье, век спустя...»	111
«И всех, кого любил...»	112
Названья зим	112
«Получил письмо издалека...»	113
Рябина	113
«Была туманная весна...»	114

Апрельский лес	114
«Стройность чувств. Их свободные речи...»	115
«Дай выстрадать стихотворенья...»	116
В деревне	116
«Весь лес листвою переполнен...»	117
Голоса	118
Советчики	119
«Вдруг обоймут большие шумы леса...»	120
Выезд	121
Двор моего детства	122
Пустырь	122
Ночной сторож	123
Фотограф-любитель	125
Оправданье Гамлета	126
Химера самосохраненья...»	127
«Читая фантаста	128
Зрелость	129
Колыбельная вполголоса	130
На Дунае	130
Море	131
Сиглигет	132
Соловьи Ильдефонса-Константы	132
Ветренный вечер	133
Весенний гром	134
«Был ливень...»	135
Конец Пугачева	135
Пестель, поэт и Анна	137
Святогорский монастырь	140
Рождество Александра Блока	141
Смерть поэта	144
«Листвой наполнены деревья...»	146
«Я вышел ночью на Ордынку...»	147
С эстрады	147
«Я рано встал...»	148
Зима настала	149
«То осень птицы легче...»	149
«Вновь стою перед лицом событий...»	150
«Таллин — тайное обиталище...»	150

«Похожи — стремленьем к разлукам...»	151
«Будь счастлив, сын, мечтой о лете...»	152
«Скрежещет ветка о стекло...»	152
«Выстраивается столетье...»	153
Берег мертвых	153
Романтическая баллада	155

ВОЛНА И КАМЕНЬ (1970–1974)

«В воздухе есть напряжение...»	159
«Возвращенье от Анны...»	159
Пятеро	161
При дожде	161
«И осень, которая вдруг началась...»	162
«С постепенной утратой зренья...»	163
«Хочу, чтобы мои сыны...»	163
Заздравная песня	165
Купальщица	165
Рассвет	166
«Там дуб в богатырские трубы...»	166
«Не мысль, не слово...»	167
«Когда с досадой и печалью...»	167
Зимние птицы	168
Полночь под Иван-Купала	168
«Я ехал по холмам Богемии...»	169
«Березы, осины да елки...»	170
Березняк	170
Стихи и проза	171
«Тоски ледяной гребешок...»	172
Старый сад	173
«Кончался август...»	173
«... И тогда узнаешь вдруг...»	174
Подражание Феокриту	174
Свободный стих	175
Анна Ярославна	177
Солдат и Марта	179
Скоморошина	181
«В августе, когда заголубели окна...»	182
«Распутица. Разъезжено. Размято...»	183

«Неужели всю жизнь надо маяться...»	183
«Старушечье существование...»	184
Из стихов о Польше	
1939-й	184
1944-й	185
Балканские песни	
1. Песня о кузнеце	187
2. Прощание Юнака	188
3. Песня о построении Кладенца	189
4. Песня о походе	191
5. Песнь о друзьях Милоша	192
Поэт и гражданин	193

ВЕСТЬ (1974–1978)

«И ветра вольный горн...»	201
«Возвращаюсь к тебе, дорогая...»	201
«Мне снился сон жестокий...»	202
«Вдруг странный стих во мне родится...»	203
«Упущенных побед немало...»	203
«Не торопи пережитого...»	203
Подросток	204
«Выйти из дома при ветре...»	204
«А слово — не орудье мести...»	205
«Вот и все. Смежили очи гении...»	205
«Стихи читаю Соколова...»	205
Стихи о Дельвиге	206
Ночной гость	207
«Кто устоял в сей жизни трудной...»	211
Маркитант	211
Брейгель (<i>Картина</i>)	213
Позднее лето	214
«И вот однажды ночью...»	215
«Служенье памяти...»	216
«О поэтическом пространстве...»	217
«Россия одинока в мире...»	217
«Когда я усну наконец...»	218
«С утра худые сосняки...»	218

ЗАЛИВ (1978–1981)

«Повтори, воссоздай, возверни...»	221
«Мы не меняемся совсем...»	221
«Средь шумного бала...»	222
«Обратно крути киноленту...»	223
Часовой	225
Стансы	225
Два стихотворения	227
Погост	228
«Спи, Мария, спи...»	229
«Скрепляют болезни и смерти...»	230
Актрисе	230
«Зачем за жалкие слова...»	231
Залив	232
Приморский соловей	233
«Я люблю ощущение ушедших годов...»	234
«И снова все светло и брэнно...»	235
«О бедная моя...»	235
«Я смерть свою забуду...»	236
«Сперва сирень, потом жасмин...»	236
«Тебя мне память возвратила...»	237
«Пахло соломой в сарае...»	237
«Тот же вялый балтийский рассвет...»	238
Из пярнуских элегий	239
Осень	242

ГОЛОСА ЗА ХОЛМАМИ (1981–1985)

Голоса за холмами	245
«Тогда я был наивен...»	246
«Тяжел уже стал...»	246
«Перед тобой стоит туман...»	247
«Когда кругом цветут сады...»	247
«Сад — это вовсе не природа...»	248
«Запиши мне в жизнь кусок марта...»	248
«В деревьях около воды...»	249
«Купаться в ключевой воде...»	249
Гроза	250
Птицы	250

«А на рассвете дрозд поет...»	252
«Милая жизнь! Протеканье времен...»	253
Конец лета	253
«Сколько здесь явилось чар...»	254
«Всю ночь сегодня буря выла...»	254
Шарманщик	255
«Когда-нибудь я к вам приеду...»	256
«В какие-то новые дали...»	256
«Острая моя травина...»	257
Баллада	257
«А помнишь, ты была тогда...»	258
«А мы куда-то мчались...»	258
Цыгане	259
Романс	260
«Жизнь сплетает свой сюжет...»	262
«Да, мне повезло в этом мире...»	262
«Мне выпало счастье быть русским поэтом...»	263
«Рассчитавшись с жаждою и хламом...»	263
«Здесь, вдали, неизвестно – кто умер, кто жив...»	264
«Я устарел, как малый юс...»	264
Романс седьмого дня	264
«Отвези меня в Грузию...»	265
«Нет слова ужасней...»	266
«Что за жалкие эти уловки...»	266
Арсению Тарковскому	267
«Не мешай мне пить вино...»	267
«Не исповедь, не проповедь...»	268
«К чему не прислушайся – все перепев...»	268
«Я вдаль ушел...»	269
Дуэт для скрипки и альта	269
Сон	271
Рем и Ромул	272
Про Ванюшку	274

ПОЗДНИЕ СТИХИ (1985–1990)

БЕАТРИЧЕ

Беатриче	277
«Автобусная остановка «Лаури»...»	278

«Ждать не умею...»	279
«Желанье и совесть — две чаши весов...»	279
Дон Кихот	280
«Ты подарила мне вину...»	280
Страсть	281
«Вот в эту пору листопада...»	281
45-я Гайдна	282
«Не для меня вдевают серьги в ушки...»	282
Бабочка	283
«Ах, наверное, Анна Андревна...»	283
Идиллия на потом	284
Реплика Данте	284
Под утро	285
«Действительно ли, счастье — краткий миг...»	286
«Я вас измучил не разлукой...»	287
Она	287
«Устал. Но все равно свербишь...»	288
«Веселой радости общенья...»	288
Как я завидую тому...»	289
Фантазия	289
«В меня ты бросишь грешные слова...»	290
«Ты скажи, чем тебя я могу одарить?...»	290
«Ты не добра...»	291
«Простите, милые...»	291
На рассвете	292
«Жалость нежная пронзительней любви...»	292
Я написал стихи о нелюбви...»	293
«Последний проход Беатриче	293
РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ	
«Трудней всего выздоровленье памяти...»	294
«Грачи прилетели»	295
В ночном	296
«Знаю: дерево это в июне...»	297
«Слышно все...»	297
«А иногда в туманном освещеньи...»	298
«Овсяновки, малиновки, щеглы...»	298
Осень	299

После суровой зимы	300
«Мать ушла...»	301
Два голоса	302
«Когда бы спел я наконец...»	303
«Чудо – познаваемость Вселенной...»	303
«Несовпадение в пространстве...»	304
«Есть спор двух душ слиянных...»	304
«Меня ты не отпустишь...»	305
«Владеть всем тем, что нам дано...»	305
«Вознесение Аугуста Лима (<i>Местная быль</i>)	306

ПОСЛЕДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Смысл истории, значенье лиц...»	312
«Покаяньям публичным не верится...»	313
«В памяти угасла строчка...»	313
«Не кажется ли, что наивней...»	314
«Вспоминай про звезды неба...»	314
«Вот еще один ушел...»	315
«Январь в слезах, февраль в дожде...»	315
За городом	316
«Уйти, раствориться в России...»	317
«Писем напишу пяток...»	317

ПОЭМЫ

Чайная	321
Ближние страны (<i>Записки в стихах</i>)	331
Последние каникулы	368
Струфиан (<i>Недостоверная повесть</i>)	406
Снегопад	416
Блудный сын	424
Цыгановы	430
Старый Дон-Жуан	440
Возвращение	444
Сухое пламя	452
<i>Андрей Немзер</i> . Часовой и звезда	586

Литературно-художественное издание

Серия «Поэтическая библиотека»

Самойлов Давид Самойлович

«Мне выпало всё...»

Редактор

Геннадий Евграфов

Редактор издательства

Марина Линчевская

Разработка серии

Константин Журавлев

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Технический редактор

Вера Позднякова

Изд. лиц. № 0985 от 17.02.2000.

Подписано в печать 7.08.2000.

Формат 60x70/16. Бумага офсетная.

Гарнитура NewBaskervilleС. Печать офсетная.

Усл.печ.л. 30,42 + 0,39 вкл. Тираж 3000 экз.

Издательство «Время».

113326, Москва, ул. Пятницкая, 25.

Телефон: (095) 231-18-77.

Материалы предоставлены ФГУП «Полиграфические ресурсы».

101429, Москва, ул. Петровка, 26.

Отпечатано в ОАО ПО «Пресса-1» Зак.№2005
125866, ГСП, Москва, А-137, ул.»Правды»,24



Лишь на пороге пятидесяти лет понял я, что занимался половину прожитой жизни стихотворством, иногда — поэзией, а о подлинном занятии литературой имел лишь общие абстрактные понятия.

Между тем литература — это не стихотворство, даже не поэзия (это лишь ее части и формы выражения), даже не самовитое, пусть хоть точнейшее и тончайшее, раскрытие личности, а служение, жертва и постоянное обновление соборного духа, обновление его в форме личного опыта мысли и чувствования...

Дарование — даровано. Но нельзя всю жизнь тешиться дарованным. Дарованное, но не обновленное, ветшает.

Давид Самойлов

ISBN 5-94117-003-3



9 785941 170036 >